Цена свободная

23/I-14

ИНДЕКС 73274

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

Михаил ВОРФОЛОМЕЕВ.
Куст шиповника. Повесть.

Ирина ГОЛОВКИНА (РИМСКАЯ-КОРСАКОВА).
Побежденные. Роман. Книга 3-я.

Дело "Сибирской бригады"
(Сергея МАРКОВА, Леонида МАРТЫНОВА, Павла ВАСИЛЬЕВА и др.).
Из архивов ОГПУ–НКВД–КГБ.

Вадим КОЖИНОВ.
История Руси и русского слова.
От зарождения государства до Смутного времени
(конец VIII в. – начало XVII в.).

Михаил НАЗАРОВ.
Историософия Смутного времени.

Сергей НЕБОЛЬСИН.
Шолохов, Пушкин, Солженицын. Статья.

От поэзии "избяного космоса" к письмам из Сибири
(письма Николая КЛЮЕВА из Томска).

Умоляю Вас о помощи
(Женские судьбы в эпоху "Большого террора").
Из архивов ОГПУ–НКВД–КГБ.

Геннадий ШИМАНОВ.
За дверями "Русского клуба".

Наш современник, 1992, № 4, 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК №4 1992

ISSN 0027–8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№4 1992

В 1842 ГОДУ ВЫШЛО ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ "МЕРТВЫХ ДУШ".

8 ФЕВРАЛЯ 1852 ГОДА СКОНЧАЛСЯ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ.



"И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в святый ужас и в блистанье главы и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей..."

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей Российской Федерации
и трудовой коллектив редакции

№4 . 1992

ИПО
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
МОСКВА

Содержание

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Технический редактор Л. Л. Ежова Корректор М. В. Масленникова

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 928-32-18 (заместители главного редактора), 200-24-94 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-24-76 (отдел писем, корректоры), 921-43-59, 200-24-32 (бюро проверки, технический редактор), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 14. 01. 92 г. Подписано к печати 11. 03. 92 г. Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Высокая печать. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 20,75. Тираж 178 101 экз. Заказ 119

ИПО Союза писателей, 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда».
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

ПРОЗА



ВАСИЛИЙ БЕЛОВ



В КРОВНОМ РОДСТВЕ

РАССКАЗ

У Смирновых, жаркая и яростная, топилась большая печь. Как всегда, еще яростнее вопило радио на стене. Печь в общем-то уже дотапливалась и перестала трещать, синие языки огня полоскались под сводом совершенно бесшумно, и ничто больше не мешало неустанным, последнее время каким-то лихорадочно-торопливым голосам, поминутно сменяемым то долбежной музыкой, то песенным криком. Всю эту колотиловку, как говорит сосед Валентин (тракторист по прозвищу Пан-Зюзя), Марья терпела из-за колхозных объявлений. Она взялась было за кочергу, чтобы сгрудить угли в загнетку, как вдруг радио перестало бумкать.

Раздался щелчок.

«Вниманьё! Вниманьё!» — голос откашлялся. Репродуктор висел под самым потолком, и чтобы ничего не пропустить, Марья с неуклюжей поспешностью подковыляла от шестка к простенку. Тюричок громкоговорителя был вывернут до упора еще при живом внуке. «Говорит местной радиоузёл...»

Дальше образовалась тишина. Наверно, колхозный диктор, он же ветеринар Туляков, перепутал бумажки, по которым наладился говорить. Марья терпеливо ждала, зная, что эти бумажки приносили на радиоузел все по отдельности: сельсовет, почта, колхоз, маслозавод и сельпо. Наверно, Туляков разбирал их по степеням и перекладывал, решал, которую прочитать первую. «Ну, отопок, совсем запутался!» — вслух произнесла Марья и сразу же устыдилась. Обзывать ветеринара отопком при нём или прилюдно она никогда бы не стала, поскольку

БЕЛОВ Василий Иванович родился в 1932 г. Окончил Литературный институт. Автор повести «Привычное дело», романов «Кануны» и «Год великого перелома», книги «Лад. Очерки о народной эстетике», других произведений. Живет в Вологде.

Туляков никакой не отопок. И руки у него проворные. Как он обстригал копыта у соседской коровы! Железными ножницами. Вспомнилось и то дело, что у своей коровы рог завился и уже упирается прямо в лоб. Надо бы рог-то скорей опилить...

Марья ждала, что же объявит местное радио. Но глядела она не в динамик, а ниже, на фотографию внука, снятого около какой-то многоколесной машины. Валерик стоял вместе с двумя сослуживцами. Все трое в военных шляпах, внучек в самой средние. «Андели, ростиком-то поменьше, — подумала Марья. — А в плечах-то обеих, пожалуй, пошире. Весь в дедушка». Слезы копились под Марьиной переносицей. Но вот ветеринар Туляков заговорил наконец своим колхозным голосом. Первое объявление было такое:

— Всем бригадирам к девяти часам прибыть в контору с отчетами. Иметь на руках данные. Данные в устном виде приниматься не будут.

Дальше указ колхозного председателя гласил, кому куда ехать и чего на чем везти. Одному шоферу приказано ехать туда, другому трактористу — сюда, расписано досконально. Марье такое руководительство не больно-то нравилось: «Вишь как оне навострились-то, не надо и по домам ходить, наряжать людей на работу. Дадут бумажку, а Туляков её зачитает по радиву. Вот и весь наряд». В конце Туляков объявил: шофёру такому-то «ехать в колхоз «Прожектор» везти людей для сдачи крови», а трактористу такому-то привезти людей на тракторе из бригады такой-то.

Тракторист был сосед Валентин, и везти ему указано дочь Ангелину. Кого же еще кроме неё? Коч со своей новой старухой кровь сдавать не поедет.

Марья прослушала объявления еще раз. «Передача окончена», — сказал Туляков в выключил сам себя. Сразу затюкала по ушам колотиловка из Москвы. Марья заторопилась в куть к шестку и всплеснула руками: «Ох-ти мне, ведь всё прозевала!»

Печь протопилась, уголья подернулись пепельной бахромой, пойло для коровы в большом чугуне давно нагрелось, картошка в маленьком вся выкипела. Вот-вот дочка с фермы придёт, а ещё и чайник холодный.

— Марютка, чево оне говорят-то? — спросила из-за печки старуха.

Вот ведь, ушам-то девяносто с лишним годов, а всё чуют, на завтре ничего не оставят. Марье было некогда разговаривать:

— Лежи, мамка, лежи!

Включила чайник и скорей в хлев с коровьим пойлом. Когда вернулась, чайник уже шумел. Живёхонько заварила чаю, потом облила водой сосновое помело и замела в горячей печи. Поставила туда жариться молоко и постные с перловой крупой щи. В избе от запаленных сосновых лапок резко запахло. Марья закрыла печные вьюшки, полезла на печь, чтобы закрыть трубу:

— Мамка, вставать-то будешь ли? Сцяс девка придет, станем завтрекать.

— А куды Елюшка-то ушла?

Старуха звала внучку Ангелину Елюшкой, частенька путала её с Марьей. «Ежели уж сама себя со мной перепутала, дак чево тут и говорить», — с улыбкой подумала Марья. Вспомнилось, как однажды мать спросила её: «Марютка, дак которая старше-то, я али ты?» Когда убило Валерика, она долго не верила этому и говорила, что всё оне врут. Как и кто мог убить Валерика, ежели войны нету? Марье так хотелось вернть этим словам... Старуха отмахивалась своей иссохшей рукой: «Сиди! Офганистан. Какой ишшо, к лешому, Офганистан, вишь чево выдумали». Но когда сосед Валентин разъяснил что к чему, она затихла, заболела и собралась умирать. Чистая рубаха и платок в голубую горошину были припасены еще при Хрущёве. Нынче старуха распределила, кому что отдать: хорошие сарафаны и кофты достались городской, а те, что поплоше, — деревенской родне, остальное — соседкам.

Даже новой старухе Коча чего-то досталось. «Сапоги-ти резиновые кому? — подшучивала Мария над матерью. — В которых за мурашами-то ходишь». Бабка шуток не принимала. Сапоги велено было отдать Валентиновой жёнке.

Пока Марья выставляла на стол, старуха одна сбродила на сарай и сама поплескалась у рукомойника. А тут и Ангелина пришла с фермы. Скинула в сенях грязное, переоделась, но силосом от неё всё равно пахло. Марья не стала о том говорить, чтобы не расстраивать дочку. И так она вся «на нервах». Нету ей, бедной, счастья-то... Десятилетку еще не закончила, её уж в доярки сосватали: устроили молодёжную комсомольскую ферму. Дом для девчонок выстроили в колхозном центре, правда, из бруса. Радиолу им купили. Поработали оне с годик и все шасть кто куда. А уж сколько было про них в газетах-то писано, сколько наговорено на всяких собраниях! Разбежались, разъехались, а тут и Гелюшка замуж вышла. Да много ли она пожила с мужиком? Валерик вот успел родиться. Только он в школу ступил, а отца трактором задавило. Про второе-то замужество лучше бы и не вспоминать... Мало и русских-то слов знал второй Марьин зять — как пришёл, так и ушёл

Марья поставила на стол большую сковороду с яишницей:

— По радиву сказывают, в «Прожектор» велено ехать...

Дочь сказала, что ей уже звонили на ферму. Больше не обмолвилась ни единым словечком. Стояла у зеркала, держала во рту заколку. Много ли надо было догадки, чтобы узнать, что у неё на уме? Ясно, что собралась ехать. Да в кого уж такая молчунья-то? Хотелось Марье сказать, чтобы не ездила, но ничего не сказала про этот «Прожектор».

— Елюшка, а ты куды срядилася-то? — спросила старуха, когда позавтракали.

Геля опять молча ушла за перегородку и открыла сундук. Запахло чем-то городским.

— Да в контору сперва! — ответила Марья вместо дочери. — После в «Прожектор» поедет.

— Кренделями-то не торгуют тамотко?

— Торгуют, торгуют! Привезёт, ежели торгуют. А мне, Ангелина, привези-ко лепёшки от головы. Там оптека должна быть. Где кровь-ту сдают. Надинь белой-то свитер!

В заулке послышался подъехавший трактор. Хлопнули ворота в сенях. Дверь в избу распахнулась, и Пан-Зюзя в наглаженных брюках и в новой куртке ступил в избу:

— Привет!

— Здрастуй, здрастуй, проходи да хвастуй, — обрадовалась Марья. — Неужто в новых-то штанах да на грязной машине? Экой ты нонче богатой. Не бережёшь и одёжу. Ведь замараешь!

— На мой век штанов хватит, — сказал тракторист и подсел к бабке. — Правда ведь, баушка?

— Правда, правда, — старуха теперь всегда вставала на сторону чужих, считая, что свои её обижают.

— Батюшко-Валентинушко, я ковды умру, дак ты уж могилу-ту мне вырой.

— Баушка! Да я для тебя, это... Тебе глубоко ли надо?

— Место посуше выбери, — не расслышала бабка.

Валька сказал Марье, что на тракторе они поедут только до центра, а там пересядут на легковую:

— Елька, ты долго ли будешь марафет наводить? Я вот своей жёнке тоже говорю: не будешь губы красить — разведусь! Не крашеная баба мне не требуется.

— Ну дак чево, послушалася? — подхватила Марья.

— А как же! — Пан-Зюзя хлопнул по своему колену. — Это что за баба, ежели мужика не слушается? Особо когда я трезвой.

«Трезвой ты, Валя, мало когда бываешь», — мысленно произнесла Марья, а вслух спросила:

— Дак кого ищё кровь-то сдавать повезут?

— Парторгша — раз, медичка — два, — Валька начал загибать пальцы, — Туляков — три, двое конторских — четыре. Стало, пять. Елька шестая, да я грешной. Итого с шофёром будет нас восемь душ. А в тот раз возили, больше десяти гавриков набралось. За один раз с полведра нацедили! Летом комарам выпаиваем, зимой государству сдаём.

— И ты сдал?

— Чайный стакан!

— Дак её куды после-то? — удивляясь и охая, допытывалась Марья.

— Сразу везут в область, из области спецнарочным на самолёт и в Москву.

Марье хотелось молвить, что дурную-то кровь, вроде Валькиной, не надо бы и принимать, мол, какая кровь, такое из неё и лекарство.

Удержалась, ничего не сказала.

* * *

«Беларусь», уткнувшись железным рылом прямиком в изгородь, нетерпеливо чихал у крыльца. Геля отказалась забираться в кабину. По колесу залезла в тележку. Там уже торчал Коч, тоже в плаще и тоже с сумкой. Сказал, что срядился в центр, на почту и в магазин. «Держись за борт либо садись!» — крикнул Валентин из кабины и начал пятиться. Куда садиться? Мешки из-под комбикормов были грязные. Марья с крыльца кричала дочери, чтобы не забыла привезти лепёшек от головы, но Геля уже не слышала. Тележку трясло и мотало, Коч смешно перетаптывался у борта, чтобы устоять на ногах. «И сидеть негде, и стоять нет никакой силы-возможности! — сказал он. — Так, видно, и будем плясать до самой конторы. Во! Говорить и то опасно, того и гляди язык прикусишь. Возьми любого и кажного...»

— Дедушко, ты сумку-то положь, никуда она не девается,— посоветовала Геля.

— И правда вся, — согласился Коч.

Выехали на тракт. Трясти стало меньше. Валентин остановился, переключил скорость и дёрнул. Поехали скоро, Геля не успела посчитать полевые стога рядом с деревней. Маленькие стали, осели стожки после осенних дождей. Серые, будто в солдатских шинелях. На что ни посмотришь, всё нынче напоминает ей сына Валерия, даже сенные стога. Увидит ли человека в фуражке, сердце так сразу и ёкнет, услышит ли охотничий выстрел — снова Валера в глазах. Давно ли родился-то? Как вчера... И вот «погиб при исполнении интернационального долга».

Геля покосилась в сторону спутника: не заметил ли Коч её слезы? Осторожно достала платок, как бы невзначай промокнула около носа. Коч, вцепившись в борт, напряженно глядел вперёд. В лесу тракторный грохот звучал ещё сильнее, эхо отзывалось слева и справа. Геля закрыла глаза, пытаясь представить афганский тракт, и гром сыновней машины, и чужой, изнуряющий зной, когда вытекла и спеклась сыновняя кровь. Она кусала губы, мигала и сглатывала горловую судорогу. За что убили-то? Отец убит, мать говорит, потому что за Москву стоял, а сын-то за что стоял? Вспомнилось Геле, что и дедушко умер не дома: удивленно подумала о бабушке, которая шестьдесят лет живёт вдовой. И мать вдова, и она, Геля, тоже вдова. Так живут в доме три вдовы, одна одной несчастливее.

...Через двадцать минут трактор облепил жидкой глиной свои большие колеса, вылез из глубокой лужи и вырулил к центральной усадьбе. У конторы Валька остановился, сильно газанул и выскочил из кабины. Он подсобил Кочу выгрузиться, Геля обошлась без помощника.

— Вперед к развитому социализму! — гаркнул Валька и вбежал на конторское крыльцо, над которым висела вывеска с названием колхоза.

«Путь к коммунизму» образовался после войны, когда объединили в одну кучу сразу полтора десятка колхозов. С тех пор вывеску не раз обновляли. Вот и эта вся давно облупилась и выцвела. Она висела ещё в то время, когда Геля жила в центре, в общежитии, построенном для десятиклассниц, согласившихся остаться в колхозе, чтобы работать доярками. Райком выдал комсомольские путёвки, а колхоз вручил девушкам радиолу с пластинками. Господи, сколько лет пронеслось!

В комнате для специалистов, куда влетел Валька, было так накурено, но Геля, поздоровавшись, даже не успела разглядеть, кто там сидит. У всех праздничный вид, как Первого мая или в Октябрьскую. Она потихоньку выпросталась обратно. Зашла было в бухгалтерию, чтобы узнать, отчего молоко от индивидуальных сдатчиков зачисляют не первым сортом, но ни зоотехника, ни бухгалтерши на месте не оказалось. Пришлось опять заходить в дымокурню.

Петька — шофер с «уазика» — в новой куртке с молниями, открыв рот, слушал ветеринара. О чем они говорят? Геля плохо вникала в мужские, шофёрские и ветеринарные шуточки, не слушала ни Вальку, ни Тулякова. Кого ждали — неизвестно. Может, парторга Полину Михайловну? Или плановика-экономиста — приезжую девушку. Не было и медички. Сидела одна завпочтой Люся. Она тоже была донором, уже несколько лет ездила сдавать кровь. И всякий раз в новом наряде. Туляков развлекал её разговорами:

— Значит, встретились на базаре два приятеля, два армянина. Один закурил. Другой глядит, облизывается: «Тебе, говорит, хорошо, ты куришь, а мне нельзя, врач запретил». Тот ему говорит: «Я тебя научу, как быть». — «Как?» — «Мне тоже запретил. Я ему сто рублей сунул, он сразу и разрешил».

В эту минуту парторгша заглянула в дверь, объявила погрузку в Петькин «уазик». Гелю зажали между собой завпочтой и плановик, Полина Михайловна сидела спереди, а сзади, на откидных местах, устроились Туляков с Валентином.

— Эх, не так ты нас усадила, Полина Михайловна! — сказал Валька. — Надо было меня на Елькино место. Мне бы теплее было... Как в малиннике бы.

— Дак ты лезь, — согласилась парторгша, — там можно и вчетвером!

— Нет, мне четверых много, одну бы какую потолще, — сказал Валька, а Туляков уточнил:

— Тут все выше средней упитанности.

— Товарищи, товарищи, я сумку забыла!

Сумку подали с улицы. Петька завел машину.

— Запевай «Во саду при долине»! — крикнул Валька.

— Полина Михайловна, политический анекдот можно? — Туляков был партийный. — Я Горбачева не буду трогать, а про Брежнева...

— Валяй! — весело отозвалась парторгша.

— Какая в их разница? — возразил Валька.

— Есть разница! Значит, так...

Машина вдруг остановилась. Мотор ревел, даже надрывался мотор, а машина стояла. От конторы отъехали метров двести, не больше. Петька выскочил, присел, поглядел внизу да так и охнул: карданный вал одним концом лежал на земле. В машине стало тихо.

— Вылезай! Приехали! — приказал Петька.

— В чём дело? Сломалось чего? — спросила парторгша.

— Крестовина!

Все вылезли. Петька на одном переднем мосту развернулся, и

«уазик», волоча по земле задний кардан, подъехал обратно к правлению.

Началось обсуждение, что делать дальше. Полина Михайловна скорым шагом подошла к Пан-Зюзе:

— Валя, давай, дорогой, заводи! Поедем на тракторе.

— У меня и солярки на донышке,— начал сопротивляться Валька, но парторгша была решительна:

— Найдем солярки в «Прожекторе», заводи! Там ведь медики ждут, я к десяти обещала...

Валька с неохотой завел свой «Беларусь». Выглянул, проорал:

— Первые грузятся мужчины до тридцати лет!

— Это еще почему? — возмутилась девушка-плановик.

— А потому, что окончание на «у»,— объяснял Туляков всем присутствовавшим. — Вдруг рейтузы-то у кого возьмут да и лопнут в неположенном месте...

Завпочтой Люся, несмотря на туляковское предостережение, первая взгромоздилась на резиновое колесо.

* * *

Тоска подступила к сердцу при виде придорожных берез, когда проезжали мимо центральной фермы. В общежитии, где когда-то жила Геля с молодежной дояручной бригадой, двери выломаны, вместо окон черные дыры. Труба разобрана. Отсюда в морозную лунную ночь ушла Ангелина Смирнова со своим будущим мужем в деревню к матери и бабушке, сюда привозили её расписываться с отцом Валеры, здесь звучали и поздравления парторга с законным браком и звенела гармошка на Гелином вечере. Вспомнилось Геле, что и билет, и комсомольскую путёвку вручала ей когда-то Полина Михайловна. Это она тогда секретарствовала в райкоме комсомола. Позднее она же, будучи уже парторгом колхоза, с неделю уговаривала Гелю принять стадо в своей деревне...

Лучше бы не вспоминать ничего и всё забыть. Разве забудешь? После того, как мужа задавило трактором, Геля в отчаянном безрассудстве оставила сына дома с матерью и уехала сначала в райцентр, потом в областной город. Как жилось ей в общежитиях, никто кроме неё не знает. Чего только не нагляделась, чего не наслушалась! Драки да матюги, пьянка да бестолковщина, люди совсем другие. Женятся да и живут по десять годов отдельно: он в мужском общежитии, она в женском, а то и наоборот. Детей заводить боятся, ждут квартиру, но пока ждут, оба состарятся. Либо заболеет который-нибудь. Глядя на такие вот семьи, кто будет думать о белых-то платьях да дворцах бракосочетания? Вот и живут по-собачьи до сивых волос. Ездят туда и сюда, за одну ночь сходятся и расходятся. Ни стыда, ни сраму не чувствуют...

Так думала Геля. Вспоминала, что было с нею, когда жила в городе. Валькин трактор на ровных местах успевал не хуже «уазика». Женщины держались за передний борт, без умолку трещали о магазинных делах, Полина Михайловна напевала что-то себе под нос, с ухмылкой слушала Тулякова. Шофёр Петька тормошил девушку-плановика одним вопросом: о запасной крестовине.

— А вот еще вспомнил про Брежнева! — ветеринар опять вошел в раж. Геле не хотелось его слушать. Он потчевал сейчас как раз тем анекдотом, который она слышала от него на своём втором свадебном вечере, когда снова вернулась в деревню. Парень с Кавказа закончил ветеринарный техникум, его послали в колхоз отрабатывать, и Туляков не зря оказался рядом, когда расписывались. Может, и получилась бы у Гели новая жизнь, но сын Валерик в первый же день начал плакать, а потом обозлился и всё прятался по тёмным местам. Чего только Геля

ни делала, чтобы они полюбили друг друга! Только всё зря... Правда, новый Валерин отец и сам немногим отличался от пасынка. Случай был, приехала она в тот же «Прожектор». Уже не помнит зачем, вроде на профосмотр. Муж всё время мечтал о кассетном приёмнике. А здесь в сельпо стоял новенький рижский приемник. Загорелась, решила купить. Денег не хватило всего пятнадцать рублей, а в медпункте, точь-в-точь как сегодня, работала бригада из райбольницы, со всей округи съехались доноры. Она недолго думая сдала свою кровь. После сдачи требовали отдохнуть, поили бесплатным чаем, но Геля сразу же побежала покупать приёмник...

Туляков кричал на ветру:

— Значит, так. Приехал Брежнев в Китай. У самолета, у самого трапа, встреча. Главный китаец ему руку подал, называет свою фамилию: «Жуй-фуй!» — говорит. «Ешь сам», — сказал Брежнев. Китаец растерялся: «Товарищ Ешь-сам, а где же товарищ Брежнев? Он что, другим самолетом?»

Туляков рассмешил-таки женщин, они хохотали и лупили его по тощей спине. Девушка-экономист крепилась-крепилась да тоже и фыркнула.

«Как звать-то её? — подумала Геля, — вот, тоже приезжая. Сколько их нынче, приезжих? Почти все...»

Много лет Геля пыталась навсегда позабыть своё второе замужество. И забыла бы, кабы не люди, но люди почему-то всё помнят, что надо и что не надо. Тот же ветеринар Туляков знал всю подноготную доярки Ангелины Смирновой. Ещё и анекдот какой-нибудь выдумает... Гелю при встрече с ним каждый раз охватывало нехорошее чувство: вроде страх, вроде брезгливость. Отчего бы так? Ведь он не виноват был, что кричал на свадебном вечере: «Мы со всем Кавказом в кровном родстве!» Нет, ни при чём был Туляков, виновата одна она... Ни рижский приёмник, ни мотоцикл «Ява», купленный на мамины деньги, не скрепили новой семейной жизни. Весёлый и горячий кавказец предал её, мотоцикл продал и уехал... Ангелина Смирнова, доярка колхоза «Путь к коммунизму», во второй раз осталась вдовой.

Геля покраснела, стыдясь того, что она вспомнила. Никто не увидел краски стыда, потому что уже въезжали на усадьбу «Прожектора». Валентин круто и с треском развернул «Беларусь» у медпункта. Тележка остановилась недалеко от крыльца у поленницы берёзовых дров, все спустились на землю. Женщины начали отряхиваться и увязываться, мужчины принялись курить. «Уазик» с красным крестом стоял у крыльца. Петька-шофёр всем своим видом напомнил ветеринару анекдот про Чапаева, но рассказывать было некогда и не время, Полина Михайловна стояла на крыльце как на трибуне:

— Товарищи, значит, вот что. Как только сдадим, без задержки поезжайте обратно!

— А ты куда, Полина Михайловна? Мы без партии не сдвинемся с места, — дурачился Валька.— Назад без тебя ни шагу.

— Нет, мне ещё в район ехать! Машину какую-нибудь попутную подловлю, ежели медики не возьмут.

— Ну, гляди сама, дело хозяйское. Крови-то накопила? Всю станешь сдавать или оставишь сколько-нибудь?

— Погляжу, сколько у тебя останется.

— Я? До последней капли! — Валька встал по стойке смирно.— Служу сороке и вороне, готов к труду и обороне.

— Туляков, ты гляди за ним, останешься за старшего.

— А чего за мной Тулякову глядеть? — разозлился Валька, но парторгша уже исчезла в медпункте.

— За мной глядеть нечего... — не мог успокоиться тракторист. — За Туляковым за самим нужен глаз да глаз. Елька, хоть вы-то с Люськой не обижайте меня... — И Пан-Зюзя шутливо обнял сразу двоих.

Геля вывернулась из-под руки тракториста:

— Отстань! Только и знаешь языком трепать!

В медпункте имелось два отделения: родильное и амбулаторное. Родильное как всегда пустовало, сегодня там принимали кровь. В коридоре человек пять из местных ждали своей очереди. Геля зашла в амбулаторию. В прихожей стоял стол, покрытый красной клеёнкой. Электрический самовар, чайник, стаканы и две тарелки с пряниками стояли нетроганые. Желающих пить даровой чай почему-то не было. Девушка-фельдшерица, знакомая Геле, сказала, что цитрамону нет, давно кончился, и предложила другие таблетки. Геля заплатила за них и даже название забыла, и пока говорили с фельдшерицей насчёт зубного врача и про здешние новости, явился Петька. Торжественный и слегка перепуганный, поскольку кровь сдавал, наверное, впервые, он долго не разгибал голый локоть. Рукав рубашки был закатан, куртка не удержалась на Петьке.

— Чего, больно, что ли? — смеялась фельдшерица, а Геля накинула куртку на Петькины плечи. Снова горечь зародилась где-то в груди, поднялась и сдавила горло. (Петька был ровесник Валерию, но служил в Германии.) Дело шло: за Петькой пришел Туляков, а через какое-то время и сосед Валентин. Фельдшерица начала потчевать их чаем.

— Жареной-то воды и у нас в «Пути к коммунизму» полно,— притворясь недовольным, заявил Туляков. Налил стакан и взял из тарелки пряник.— Ангелина, ты иди, иди, не гляди. А то без тебя уедем...

Геля ушла в родильное отделение. Там командовали двое в белых халатах, мужчина и женщина. Геля сняла плащ и, стесняясь, встала у двери. Люся, завпочтой, совсем не спешила надевать кофту, гордилась, наверное, розовым шёлковым лифчиком. «Спокойно, сидите спокойно!» — говорил врач, но девушка-плановик никак не могла унять мелкую дрожь.

— Спокойно! — строго и властно повторил он. — Голова не кружится? Нет? Очень хорошо!

Это были те же самые слова, которые слышала Геля и в тот раз, только медики были другие. А так всё то же самое. Даже пятёрки и трёшники, выданные после сдачи, были такие же... Геля тихонько вышла на улицу.

— Тулякофф! — Полина Михайловна почему-то произнесла фамилию ветеринара на городской лад.— Где Тулякофф?

Но медики торопились, ей пришлось быстро усаживаться в машину.

— Никак она не встает на путь к коммунизму, ей всё райцентр подавай, — сказал Валька, когда машина с красным крестом увезла Полину Михайловну.

Валька не глушил трактор. Решили сразу же, как только женщины сходят в промтоварный, ехать домой. Геля сходила вначале в продовольственный: там и впрямь продавали хотя и твердокаменные, но баранки. Надо было сходить и на маслозавод, узнать, кто и как определяет молочную жирность, поглядеть прямо в глаза. Вечно занижается жирность, сколько из-за этого списано денег с колхоза. Пока Геля ходила ругаться с маслозаводом, Валька переехал от медпункта в другое место. Трактор тарахтел теперь у крайнего дома, вернее, около косой избёнки, в которой жила дальняя туляковская родственница. Геля дёрнула за верёвочку щеколды, вошла в тесные сенцы, нащупала скобу. «Так я и знала», — мелькнуло в уме, когда открыла двери.

За столом, теперь уже за медным самоваром, сидели Петька и сосед Валентин. Юркая бабушка в зеленом платочке и в синем переднике потчевала гостей рогульками. Геля поздоровалась.

— Проходи, матушка, проходи. Садись-ко да выпей цашечку! Какова матка-то?

— У её не то что матка, дак и баушка по лесу бегает! — ответил за Гелю Валька.

— Жива? Выпей цашечку-то.

Геля поблагодарила, но села далеко от стола. По всему было видно, что бутылка уже выпита и что Туляков убежал за второй.

— Счас поедем, — сказал Валька. — Вон только Тулякова дождемся. А где остальные? Я, значит, докўмент в карман, он меня спрашивает: как фамилия? Я говорю: «Птрутькин!» — «Как, как?» — «Птрутькин» * — говорю. «Распишись тут...» — Валька рассказывал Петьке, как ездил когда-то в город и угодил в милицию.— Расписываюсь я, значит, в протоколе. Пишу: «Череззаборногузадерищенский»... Он прочитал и говорит: «Не валяй дурака, такой фамилии нет»... Начал я с ним спорить...

«Хоть бы ты Петьку-то не поил», — хотела упрекнуть Вальку Геля, но не успела. Скрипнули двери, и запыхавшийся Туляков поставил на стол сразу две бутылки. Запритворялся:

— Ангелина? Давай! Сперва кувырнем по одной, потом домой!

— Череззаборногузадерищенский! — по слогам опять произнес Валька.— Туляков, а ты слыхал про такую фамилию?

— Через забор не слыхал. Крестная! — командовал Туляков.— Ну-к, подкинь рыжичков!

Геля бывала в этой избе и раньше. Даже ночёвывала, но никак не думала, что хозяйка родня Тулякову. Изба хоть и убогая, но чистая и с божницей. Оклеена спереди обоями, на кухне и за шкафом — газетами. Старинная горка с посудой (наверное, с бельём в нижних ящиках) занимала много места. Ещё был стол да лавки, да сундук у заборки. На переднем простенке висела рамочка с фотографиями, а под ней в ряд — генеральные секретари, начиная со Сталина. Черненко — самый большой. Все вырезаны из газет и кое-где пожелтели, наверное, оттого, что приклеены на картошку.

«Слава Богу, плясать негде», — подумала Геля. Знала она по опыту: пьяному ветеринару всегда подавай гармонь. Играл он неплохо, но в пьяном виде, не жить не быть, а надо ещё и плясать.

— Ну, крестная, за кого дёрнем? — Туляков ткнул пальцем в портреты вождей. Хыкнул.— За живого или за мертвого?

— Не знаю, батюшко, не знаю. Пей на здоровье.

— Давай за Сталина! — сказал Валька, держа в одной руке стопку, в другой половину луковицы.— Служу сороке и вороне, готов к труду и обороне.

— Я за ево не то что пить.... — Туляков не обошёлся без мата,— в один туалет не пойду.

«Теперь начнут языками лявзать, пролявзают до темна,— подумала Геля.— Пьют и не чокаются. Парень-то, Петька-то, ведь не пил раньше...»

Геле стало жаль Петьку — она видела, как перехватило у парня дыхание.

— Я Сталина не помню, — нюхая луковицу, сказал Валька, — только знаю, что цёны при ём не повышали, а наоборот, понижали. Порядок тоже при ём был, не то что сечашный бардак.

— Порядок был, сущая правда,— согласился ветеринар.— Только от такого порядка ты бы первый полез на стену. Ты сколько за свою жизнь тракторов угробил? При Сталине ты бы... Помню, пахал я на жерёбой кобыле. Подростком ещё, в семом классе учился. Она от натуги скинула. На меня акт составили и под суд. Ладно, годов не хватило, а то упекли бы. А потом указ выпустили. Помнишь, крестная, как и робятишков сажали?

---

* **Птрутька** — коровье молоко. В русском алфавите нет буквы, соответствующей этому звуку. Воспроизводится с помощью губ. *(Прим. автора).*

— Помню, как не помню.
— Телёнок на ферме сдохнет, телятнице принудиловка. А за корову и весь пятерик да на казенные нары...
— В тюрьму? — восхитился Пан-Зюзя.— Ничего себе! Это сколько бы тебе нынче дали, а, Туляков? За шесть-то коров, которых я в поскотину-то сволок? Ведь шесть коров сдохло, только на одном нашем дворе. Вон Елька соврать не даст.
— Семь, — хохотнул ветеринар.
— Я бы, Туляков, конечно, медаль бы тебе вручил...
— За што? — насторожился ветеринар.
— Ты как Мичурин открыл новый сорт животноводства. Для всей области научился волков разводить. Половину коров ты скормил волкам? Скормил. Дохлятина, а оне и без соли жрут да нахваливают. Остальные коровы у тебя половина со спидом...
— Лейкоз, а не спид, дурья твоя голова! Понимал бы.
— Без разницы. У тебя и быки со спидом, ты всех коров заразил. А вот самого тебя никакой спид не берёт. Почему? А потому, что весь ты проспиртовался, вроде меня. Давай за Никиту!
— Этого кукурузника я хорошо помню,— не стал возражать Туляков.— Весёлый был. Про ево и кино показывали: «Наш Никита Сергеевич».
— А ты вот скажи, почему вожди чуть ли не по сто годов живут? Ты этого не знаешь и вовек не узнаешь, хоть ты и специалист по животноводству.
— Никакого секрета нет. Питаются свежим. Витаминная пища.
— Нет, не то. У Лещова вон тоже была витаминная...
— Кажную осень к морю.
— Ещё скажи, что и пьют не до сыта? Ты всё не то говоришь. Оне потому долго живут, что повышен гемоглобин! А гемоглобин из крови. Вон зайди к врачихе, она тебе скажет, ежели мне не веришь. Елька, ты чего как не родная, давай к самовару ближе.
— Домой-то думаешь ехать или не думаешь? — заругалась Геля.
— Счас едем! — посулил Валька и спел:

Ты пошто и уговаривал,
Пошто и приходил,
Пинжаком полой окутывал,
Страшное говорил...

Геля знала, про что спел сейчас сосед Валентин. Ладно ещё, что при всех не назвал кавказской пленницей.

Она вспыхнула, однако никто этого не заметил. Мужики принимались за вторую бутылку.

Где они набрали талонов? Господи, до чего надоело! Все разговоры у них около одного, на уме одни матюги. Да еще вино. Как заведут, не видно конца... И Люси с девушкой нет, где они ходят?.. Надо бы давно ехать, но их нет, а мужики пьют.

Она снова вышла на улицу. Трактор по-прежнему тарахтел у избёнки. Уже дрожали над «Прожектором», нарождались едва заметные сумерки, осенний день не очень и долог. С огородов несло дымом, люди докапывали картошку. Геля спустилась к реке, села за баней на вкопанную скамью. Лужок на берегу был вытоптан в круг, наверно, плясали в Октябрьскую, у скамейки полно окурков. Геля подошла ближе к реке. Хотелось плакать. Вода стояла недвижимо, прозрачная и холодная. Листья кувшинок давно истлели. На дне, ясные и чистые, глядели на Гелю мелкие камушки. Стайка выросшей за лето сорожки преодолевала течение. Рыбки шевелили хвостиками, стремились вверх по течению. Куда они? И где зимовать будут, такие крохотные? Геля вспомнила, как любил сын делать осенний заезок. Ставил вёршу и как радовался, как сверкали глаза, когда приносил по утрам немудрёный улов. Крупную рыбу — бабушке на пирог, мелкую, вроде вот этих, отдаст

коту. Когда уходил в армию, передал Вальке-соседу и речной заезок, и обе вёрши. Была ли у него девчонка какая? Нет, наверно, нет. Никого у него не было, хотя и ездил на мотоцикле в кино, на центральную.

Темнело по-настоящему. Лампа над входом в медпункт горела и днём, но тогда было незаметно, сейчас она высвечивала крыльцо и дровяную поленницу. Вдали, у клуба, чуялись молодёжные голоса. Трактор все так же молотил у старушкиной изгороди.

...Когда Геля вернулась, то увидела, что в избе стало и вовсе тесно. Люся, завпочтой, и девушка-плановик сидели между пьяными мужиками, у обеих румянец во всю щеку.

— Ель? Счас едем! — вскинулся Валька почти совсем пьяный. Он прервал какой-то очередной рассказ. — Геля, садись!

Но и ветеринар Туляков тоже напрасно теснил в угол Петьку и толстую Люсю, чтобы освободить место. Геля не села за стол. Видела она, как Туляков словно бы невзначай взял Люсю за колено, и та... хоть бы что. А у самой муж дома и двое ребят. Валька настойчиво подавал стопку. Геля рассердилась вконец:

— Отстань к водяному! Не буду, сказала ведь. Поедем нонче или ночевать будешь в «Прожекторе»?
— Служу сороке и вороне, готов к труду и обороне! Счас едем.
— Геля, ты чево? Ты где ходишь-то? — Люся, завпочтой, красная, как после бани, потянулась с каким-то узорным старинным стаканом.— Вроде бы ты брезгуешь коллективом! Вот уж никак я не думала, что ты такая...

«Какая такая?» — хотела спросить Геля, но её уже не слушали. Взяла из рук Тулякова стакан с чаем. Присела на лавку, отхлебнула глоток — в стакане был пунш.

Она незаметно ушла к старушке на кухню. Бабушка шепотком заругала своего родственника, рассказала, сколько бутылок было «выждрано» в тот раз, сколько в этот. Геля отговорила её ставить самовар во второй раз. Там, на свету, мужики чему-то учили Петьку, Люся учила девушку, и все говорили, говорили, говорили, будто никогда не говаривали.

— У тебя сколько взяли? Стакан, да? Я ей заявил: не жаль, отдам хоть всю! За месяц накоплю хоп-хны. Лишь бы вином поили. А што? Нас вином поят? Поят. Им за это четыре сорта лекарства. Самых полезных, особо для стариков.
— Из крови? — Люся перепугалась.
— Из оленьих рогов! — бубнил тракторист. — Из крови тоже хорошее, а из рогов лучше. Туляков, ты почему из коровьих рогов лекарство не делаешь?

Геле стало так стыдно, так противно, что она взяла сумку и выбежала на улицу.

Темнота со всех сторон, снизу и сверху давила на центральную усадьбу «Прожектора». Валькин «Беларусь» молотил без передыху, хотя его совсем не было видно, казалось, что громыхает сама ноябрьская темнота.

«Брезгуешь коллективом», — звучали в ушах слова завпочтой. Геля почуяла, что из нутра откуда-то поднимается в ней новая, никогда не испытанная то ли боль, то ли решимость. Она даже ощутила, стоя в темноте на крыльце, как белеют щеки. Слёзы высыхали на них, но боль, обида на кого-то, а может быть, злость на пирующих копилась в душе: «Пьяницы, свою же кровь пропивают, и хоть бы им что. Господи, куда уж дальше-то? Как жить-то? Отца на войне убили, не помнит она и отцовского обличья, хоть часто снился во сне. Мужа трактором пьяного задавили, те же пьяницы. А кто сына-то пропил? За что Валерик-то кровь проливал да и в землю зарыт? «Со всем Кавказом в кровном родстве», — звучали в ушах давнишние слова Тулякова. С кем в кров-

ном родстве? С бабушкой Туляков, правда, в родстве, выпил у старухи последнюю бутылку, припасала, чтобы дрова привезли. И рыжики ополовинили, прикатили из «Пути к коммунизму». В кровном родстве с Брежневым, с Горбачевым тоже в кровном родстве...

Рыдала доярка Ангелина Смирнова в темени чужого колхоза, дрожала у холодной поленницы, а трактор тоже грохотал и дрожал в темноте, и фонари желтели как бы далеко-далеко в ночи, дробились и плавились от горьких Гелиных слёз.

И вдруг она распрямилась. Осушила глаза. Подошла к трактору, бросила сумку с баранками в кабину, на ощупь залезла туда сама. Огоньки приборов мерцали в глазах. Учили же в школе, где и что!..

«Пьяницы, всё на свете пропили! Сами себя пропили!» Геля искала тумблёр. Включила, но загорелась только одна фара, «кривой» был трактор. «Пропили...» Геля вцепилась в баранку. Она надавила левой ногой педаль сцепления, правой нажала ещё на что-то, включила какую-то скорость и... отпустила педаль. Машина рванулась, но не заглохла. Геля, удивляясь сама себе, вырулила на большую дорогу. Яркий, хотя и одноглазый свет вырывал из тьмы то магазин, то медпункт, то баню, то какой-то дом с палисадником. И дорога стелилась под этот свет...

* * *

Глубокой ночью, когда под шестком в первый раз прокикирикал петух, Марья, лёжа в постели, открыла глаза. Взглянула на часы: шел третий час ночи. Свет горел с вечера.

— Марютка, где у нас девка-та? — послышалось из-за печи. Бабка тоже проснулась.

— Не знаю, мамка. Уехала кровь сдавать, да по сю пору и нету. И коровы недоены.

— Кому кровь-ту сдают?

— Да государству, кому.

— А пошто её сдают-то? Не сказывают?

— По то и сдают. Спи с Богом.

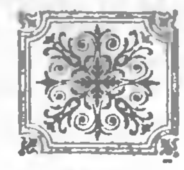
Обе помолчали, прислушиваясь. Тихо-тихо тикал в избе будильник.

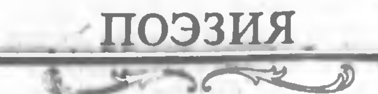
Петушок опять спел, хоть и не очень чисто, но задиристо. «Сиди, убогой! — зевая, промолвила Марья, — фезеушник детдомовской, а вишь, тоже поёт. Как настоящий, откуда что и взялось...» Марья называла фезеушниками инкубаторских цыплят, которых продавали от сельсовета.

Скоро надо было вставать и топить печь, а дочки всё ещё не было. Но, прислушиваясь сама к себе, Марья осталась добродушно-спокойной: сердце её всегда чуяло, ежели с Гелей было что-то неладно.

— Вот мне-то бы сдать кровь-ту да и умереть бы, — опять послышалось из-за печи, — я руки-ти и развязала бы вам с Елюшкой.

— Лежи давай! — рассмеялась Марья.— Кому твоя кровь нужна. Старая она, жидкая. Им ведь молоденькая нужна...





ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА



КОМУ ДАНО ОТНЫНЕ ВЕДАТЬ МЕДОМ

В сторону Украины

(ОТРЫВОК)

...И я тогда как бы ушла под воду,
отрезанная полосой туманов
от мира, где еще пылали страсти
и Гибель подымала дымный стяг.

Быть может, здесь найду успокоенье? —
не то чтобы на родине (туда
мне не дойти), а в медленном преддверье
ее, столь непохожем, столь убогом —
в сравненье с несравнимым...
                                        Но покой
не здесь ли, где размыты очертанья,
приглушены терзающие скрипки,
полупогашен свет, надеты маски,
разбавлено червонное вино
и словно бы приспущен флаг разлуки:
ведь с башни-ели

ГЛУШКОВА Татьяна Михайловна родилась в Киеве. Окончила Литературный институт им. Горького. Автор книг стихотворений «Белая улица», «Выход к морю», «Разлуки нет», «Снежная гроза». Широкую известность получили также ее литературно-критические и публицистические исследования. Член Союза писателей. Живет в Москве.

все-таки видна
в густом туманном мареве долина
обетованная — как Лукоморье,
где вещий дуб, где дряхлый кот бормочет,
круглится мальвы розовый чепец
и зреет мака легкая гремушка;
и то ли глечик, то ли сапожок
торчит над старым тыном разудало...

Там, в отдаленье, время не течет:
там все как встарь; как в Неземной Отчизне.
И сноп лучей дождем не обмолочен,
и виснет вишни красная серьга.

Ковром муравным заткано подворье.
Утиной лапкой по «гусиной лапке»
ступает облако атласных перьев,
свистит осока — белый утюжок
бултых! — поплыл уже по синю-морю
ладьей живою... Разрезает ряски
парчу... А рядом — лилия плывет.

И колокольный звон порою слышен:
рокочут беспорядочно жестянки,
катясь по головам далеких сосен;
басят шмели, и веретёна ос,
жужжа, вонзаются в горячий ветер, —
и груша глухо ухает в траву,
крутой румянец приурочив к Спасу.

Он при дверях!.. на выгоне!.. в венке
из васильков, в рубахе пестрядинной,
пропахшей золотою пылью нив,
и пастушок бежит за ним по лугу,
в кисельных берегах оставив стадо...

И ласточка высокая летит.

А только сумерки падут на землю —
качнется звездный ковш над остуженной
рекой, швыряя в небо быстрых рыб
и сыпля яркой чешуей на крыши.
Когда ж взовьется в ступе злая верба
дуплистая, взяв филина в дупло
фонарщиком — на случай, если тучи
склубились бы, — мы закрываем ставни;
нам весело средь этой круговерти:
прибоем дикий виноград колотит
и рвется в дом, грозя разбить стекло;
на чердаке зонты мышей летучих
топорщатся, и хроменькая поступь
слышна, и чьи-то жалостные охи,
и грохот стула венского... И вскрик...
Кто там упал? Как замирает сердце!
Но это так положено — чтоб вечер
пугал; чтобы наутро в палисаде
найти следы неведомые — меж
тяжелых георгин, сырой сирени,

устало отряхающей туман...
Как тишина напичкана шумами,
что были днем на привязи! Во тьме
какая жизнь мятежная теснится!
Страх перепутан с теплою дремотой.
В печи гудит стреноженный огонь,
взмывая гривой; проплывает хлеб
на рушнике, как на спине лебяжьей,
и запах меда залетает в сон...

Мне не найти тот рай, теперь безлюдный,
овеянный белесой лебедою,
укрытый лопухом от посторонних
очей...
Повитый повиликой рай.

Звезда Полынь теперь над ним застыла.
Так говорят газеты,
книгу книг
переписав.
От них — в липучей саже
щека, и лоб, и локоть у меня,
и мысли...
Боже ласковый, помилуй:
дай мне
не жить,
не помнить,
не хранить
в душе
вон тот лоскут
земли и неба...

А ты, мой домовой осиротелый,
какой порубкою бредешь, кряхтя?
Какое нерожденное дитя
тебя, дичась, заплаканно приветит?..

И ясно светит, сколь же ясно светит
по миру по всему стеклянный свет —
понеже
больше нет смертей и бед.

Третий Рим

В нашем Третьем Риме
(а Четвертому —
кто не знает? —
на земле не бывать!)
по воскресеньям
добрые нэпманы от демократии
кормят бесплатным обедом
нищих
ветеранов войны.
Той самой,
доисторической,
которую звали
Великой
Отечественной
войной,
поскольку было Отечество
и у живых,
и у мертвых.

Если подумать об этом —
об обеде из трех блюд,
с теплым мутным компотом
из сушеных,
уже безымянных

фруктов;
если подумать
о нищих спасителях Родины,
спешащих,
старчески волочащих
полвека тому
простреленные ноги, —
чтобы поспеть
к часу благоденья;
если подумать о том,
что, уходя
восвояси —
есть эти норы-своякси
в катакомбах-руинах Рима? —
что, уходя,
они —
Господи, слышишь ли это? —
благодарят
кормильцев, —

то уже ничего не рифмуется,
ничего не звучит
(даже пыльного марша
громовых духовых
не слыхать),
потому что смолкают музы,
когда умолкают
пушки.

Фроловская обитель в Киеве

А в глубине февральского двора
открылась клейкой зелени картина:
седой, как лунь, и свежий, как дитя,
в привольной чаще благостный пустынник
игрушечным топориком играл
и мастерил смолистое жилище.
Легка его опрятная работа:
лежало солнце на венцах точеных;
что крылышки, у ног белели щепки,
как будто скит в безлюдном Приднепровье
по щучьему веленью затаен.

Поскрипывали сосны, глянцевито
поскрипывала новая хвоя,
и звери выходили посмотреть
на это бело-розовое чудо...

Я помню: белка огненно плыла,
как лебедь золоченая, по глади
зеленых волн, и в веере травы
блестели влажно юные маслята,
румянились кусочки земляники,
сова круглила слепнущие очи,
вела волчица выводок волчат.
Под елкой, как пуховки, трое зайцев
гуськом сидели. Распевала сойка.
Пылал кипрей, синели колокольцы
и пестрой рыси был умилен взор.

Большой медведь — язычник забурелый —
и тот взирал безропотно на новь,
на плотницкое ладное уменье,
на кипень бороды, на взмах рубахи
и носом поводил: чем пахнет дело,
кому дано отныне ведать медом?
Но прятал, сколько мог, крутые когти.
А на ветру звенела связка пчел.

Всё, чем богаты, было на картине,
написанной аль фреско. И онучи
холстом белели, и сияло лыко
лаптей-лукошек. И горячий свет
вкруг головы отшельника сгущался.

Так на сырой стене монастыря
назло дождям и медленному снегу
художник терпеливый рисовал
возможное свое преображенье,
покой времен, рассветный берег веры,
недвижное, беспамятное счастье
родства с землей, разумного зверья
мохнатые и ласковые лапы,
ту лучезарность старости, которой
сподоблен разве ратник или пахарь,
узревший в поле дивный облик неба,
свершивший труд и ставший как дитя...

. . . .

Умолк трамвай на слякотном Подоле,
затеплился проржавленный фонарь,
и стало видно: в неводе каштана,
раскинувшего ввысь худые сети,
клубится снег, беззвучно бьются хлопья,
почти не просыпаясь на кресты
соборные...
И черные фигурки
от Боричева взвоза потекли.

Лампадный сумрак их сейчас упрячет,
как только надорвется жестяной
негромкий звон — последнее скляканье.
Рубиновое отразит стекло
их лица скорбные, их плюшевых жакетов
намокший лоск, их клетчатых платков
проволглость — и парок над стебельками
медовых свечек...
Но печали жизни
вольет в себя незримый снизу хор,
точась рыданьем, — и его «Помилуй!..»
столь истово, столь полно долгой боли,
что и не нужен перечень утрат:
помилуй, Господи, вечерний город,
помилуй всех — в землянках и руинах,
помилуй и руины, и обитель,
на ладан дышащую... «Да святится...»,
святится в небесах и *на земли*
как бы жалейкой выпетое имя
Того, кому отныне ведать медом...

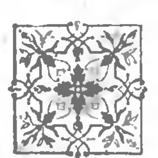
О бедность жизни!
Но стоит в глазах
зеленый рай, могучий купол бора,
та невидаль, бывальщина, мечта,
перед которой крестится приветно
всяк, приходящий на подворье Фрола,

2*

и кланяется прежде, чем уйти,
несяя в свою промерзшую лачугу,
как бел-грибок, утешную просфору —
крутого, тонкого замеса плоть.

. . . .

Уже невдолге громы ледохода,
и Благовещенья высокий луч,
и рев Днепра, как раненого вепря, —
а там и побегут по древним кручам, —
по Щёковой горе, вскипая цветом
и хороводясь, стан белых вишен
и яблонь коренастых; абрикос
взнесет свою румяную корону,
и колоннада Фроловской Ротонды,
облупленная, с обнаженной дранкой
в пробитом теле, римлянкою глянет,
купаясь в синеве. Из стран полудня
к нам натекает эта синь густая
с барашками: понеже вечен город...
Вот и война от нашего стола
ушла, насытясь, в будущие дали,
и тучный чернозем нам распахав.
И разве там, на взгорбии песчаном,
на Лысой, по ночам лютуют ветры
и правят тризну... Правда, музыкант
их впряг однажды... Крупы контрабасов
сжигает дрожь... В Купецком парке нынче
нам разыграют этот шабаш. Дети,
и те придут, поскольку он — бесплатный,
средь нищеты, вой спутанного ветра,
свист струнных метл и звездное круженье
в листве летящей бесов Приднепровья
неопалимых... Слава Богу, даром
тут спокон века музыку дают!






ИРИНА ГОЛОВКИНА (РИМСКАЯ-КОРСАКОВА)

ПОБЕЖДЕННЫЕ

РОМАН

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Отец Пети Валуева — бывший правовед — был отправлен в концентрационный лагерь. Через несколько дней пионервожатая на линейке, сделав Пете какое-то замечание, прибавила во всеуслышание:

— Не бери пример со своего отца.

Петя от злости вспыхнул до ушей.

— Вы права не имеете так говорить! Его отец не уголовник, — в ту же минуту задорно отчеканил Мика.

— Папу взяли как правоведа! Сейчас всех правоведов хватают, — в свою очередь крикнул Петя, и голос его оборвался.

Пионервожатая приняла вид крайнего изумления. Воспитательница, Анастасия Филипповна, поспешила к месту «чепе».

— Товарищи, мы где находимся? Мне кажется, мы в советской школе, — предостерегающим тоном сказала она. — Я убеждаюсь, что в семьях у наших школьников еще не вытравился антисоветский дух.

Наступила тишина. Все тридцать два подростка замерли на месте в своих красных галстуках и спортивках.

На другой день мать Пети пришла объясняться с воспитательницей. Та очень холодно выслушала опечаленную даму и ответила, что препирательства с пионервожатой не входят в ее обязанности, мальчики проявили очень большую несознательность, это пойдет, так сказать, по комсомольской линии.

С того дня Петя и Мика перестали являться на линейку. Подошел срок вступления в комсомол, но они не подали заявлений.

— Меня заставят отмежеваться от папы, а тебя от сестры! — повторял Петя, более всего опасаясь, чтобы Мика не покинул его в оппозиции.

Мика фыркнул:

— Франкфуртский парламент! Говорильня старых баб — это наше бюро комсомольское! Стану я унижаться перед ними! — И, не стесняясь, повторял эту фразу в классе.

Через несколько дней его вызвали в бюро:

— Имей в виду, Огарев, что мы не потерпим в наших рядах гнилого либерализма. Изволь переделаться, или нам не по пути.

Вечером он с возмущением говорил Пете:

— Мои слова о франкфуртском парламенте были сказаны только

Продолжение. Начало в №№ 1—3 за 1992 год.

при мальчиках, посторонних не было — стало быть, между ними завелись доносчики. Этот комсомол расчленил нас, поощряя ябедничество. Разве можно сейчас сказать, как в Александровском лицее: «Друзья, прекрасен наш союз!»?

Недавно он прочел статью, в которой молодежи рекомендовалось следовать примеру нескольких высокосознательных граждан, подвиги их описывались детально и с восторгом. Школьница-комсомолка часто бывала в доме своей одноклассницы и заметила, что родители ее настроены не по-советски. Она стала следить, а в доме этом ей доверяли. Оставшись как-то раз одна в чужой комнате, она воспользовалась случаем и проявила образец комсомольской морали — поспешно порылась на этажерке и вытащила давно запримеченные ею тетради с какими-то мемуарами. Этим она помогла органам гепеу разоблачить замаскировавшихся контрреволюционеров. Или другой пример: юноша-комсомолец, всецело захваченный идеей «бдительности», следил за соседом по комнате, он прочитывал его переписку и навел гепеу на след опасного контрреволюционера.

Таковы были подвиги, которые предлагались вниманию юношества как образцы гражданской доблести в эпоху строительства светлого будущего!

Кто же мог быть истинным идеалом Мики? Может быть, побежденные? Белогвардейцы из Крымской армии, из «Союза защиты Родины и свободы», или от Колчака? Их клеймили предателями и подлецами, Мика понимал очень хорошо лживость этих кличек, которые так щедро раздавались советской властью каждому идейному противнику. Он знал, сколько было среди белогвардейцев героев, двух-трех знал лично, он не мог не видеть их духовного превосходства. Но сословное чувство казалось ему оборотной стороной классовой «сознательности» пролетариата. А главное — среди них он не видел единства: все были разобщены, разбросаны, за каждым установлена тщательная слежка, и, что еще важнее, среди населения не было той прослойки, на которую могли бы опереться недавние герои. Готовности к борьбе он тоже не видел — все были слишком утомлены и замучены войной, репрессиями, разорением... Не было вождя, не было знамени, лозунга... Неужели ему предстоит серенький, будничный путь и никто не явится одушевить его? Старшие часто упрекали его, что он небрежно относится к учению, — стоило ли распинаться, когда он не знает, на что это нужно?

Временами ему начинало казаться, что идея придет, что он — накануне: какие-то силы вот-вот должны овладеть им... Странное это было чувство! Он сам доказывал себе несостоятельность таких надежд — откуда?.. Горизонт пуст — ни молний, ни зарниц, ни северного сияния! Темно. Все темно и беспросветно.

Долго ли еще протянется эта пустота?

Однажды к Мике прибежал, задыхаясь, Петя.

— Секретная организация, тайные собрания!.. Доверяю тебе как другу! Держи язык за зубами, — тараторил он.

Оказалось, что одновременно заболели гриппом мать и сестра Пети, и утром Мэри сказала ему:

— Сделай мне одолжение, Петя!.. Впрочем, ты, чего доброго, струсишь!..

Петя гордо выпрямился:

— Поосторожней оскорбляй! У меня свое достоинство все-таки есть!

Взгляд, который она на него бросила, был ужасен! Никто не умеет смотреть так презрительно, как пятнадцатилетние сестры на четырнадцатилетних братьев.

— Ты, Петя, всегда был глуп, таким и остался! Меня в классе все девчонки жалеют за то, что у меня младший брат: всем известно, как братья дразнят и мешают и как они невыносимы.

— Что я должен сделать? Говори, — угрюмо спросил Петя.

Она ответила, заплетая косу:

— Сбегай вот по этому адресу. Тебе откроет дама, вся в черном, — сестра Мария. Она ждет меня и маму. Я напишу, что ты мой брат, и она передаст тебе пакет, который ты отнесешь в тюремную больницу имени Газа... Да нет же! Не для папы! Глупости спрашиваешь: ведь ты отлично знаешь, что папа в «Медвежьей Горе». Смотри: я здесь нарисовала, как найти эту больницу. Только помни: ты никому не должен говорить об этой квартире — что и кого ты увидишь там. Мы ходим туда на тайные собрания. Смотри, молчи: а то и маму возьмут, как взяли папу. Это для арестованного священника. Понял?

Мальчик с изумлением смотрел на сестру, ошарашенный неожиданным открытием.

Когда он рассказал обо всем Мике, тот восхищенно воскликнул:

— Здорово! Твоя мать — молодец! Другая бы на ее месте, проводив мужа в лагерь, кудахтала, как курица: не ходи туда, не ходи сюда, будь осторожен! А она не прячет детей за печку. Тайные собрания! Это открытие!

— Несгибаемая римлянка! — воскликнул Петя в гордости за свою мать.

— И в самом деле римлянка, а вот моя Нина — только «ни».

— Что такое «ни»? — с недоумением спросил Петя.

— Дурак! Неужели не смекаешь? Советское сокращение! Ведь у них «замком по морде» — заместитель командира по морским делам, ну а у нас «ни» — испуганный интеллигент! Теперь это самый распространенный термин. Бежим, надо оправдать доверие. Я, конечно, с тобой.

Мика схватил пальто и, сделав несколько механических движений, пытаясь застегнуть отсутствующие пуговицы, бросился к двери.

Их приняли в маленькой тесной кухне. Оба с любопытством косились на даму в черном, пока она упаковывала передачу. Она была уже пожилая, с белыми волосами и благородной осанкой. Спросила, не было ли писем от Петиного отца, потом сказала:

— Передай матери, что мы всегда на вечерней молитве поминаем его имя, — и, взглянув на Мику, спросила: — Это Огарев? — Ясно стало, что ей известны все подробности жизни Валуевых.

Вручая передачу, она протянула Пете незапечатанный конверт.

— Твоя мать хотела иметь копию предсмертного письма расстрелянного Владыки — вот, я переписала для нее.

Петя взял, все так же озадаченно. Дама улыбнулась и сказала:

— Если хотите прочесть, можете это сделать. — И, закрывая двери, прибавила: — Спасибо, мальчики.

Оба Аякса переглянулись.

— Все ясно: тайная христианская община.

— Да, да, только не сектантская, если священник и митрополит.

— Конечно, нет — церковная, как во времена Нерона.

— Прочтем письмо?

— Прочтем.

Уселись на окно лестничной клетки.

«В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых, восхищался их героизмом, их святым одушевлением и глубоко сожалел, что дни мученичества уже миновали. Времена переменились — открывается возможность снова страдать за свою веру...»

Мальчики переглянулись: мученичество!.. Люди, которые осмеливаются не подчиняться директивам партии и остаются верными религиозным идеалам, люди, которые умирают за идею, — они, стало быть, есть!!!

То, что они прочли дальше, было уже не столь интересно и важно, — все, что было нужно для них, заключалось в этих нескольких строчках, которые словно приоткрыли перед ними новые дали.

С детства в душе Мики таилась готовность к воспитанию в себе религиозности. Как-то раз маленьким он расшалился и раскапризни-

чался, не слушаясь няни, ударил ее несколько раз кулачками; когда его, наконец, загнали в кроватку, он встал на колени перед образом, чтобы прочесть вечернюю молитву, но глаза его, поднявшиеся на образ, вдруг опустились... Несколько раз он пробовал и не мог поднять их на Лик Спасителя, точно встречал Чей-то строгий испытывающий взгляд. Постояв на коленях с опущенными глазами, он забрался под одеяло, присмиревший и растерянный... Ощущение было настолько сильное, что он пронес его через все детство и отрочество. Религиозного воспитания он почти не получал, молиться его учила только старая няня. Он рос несколько заброшенным — шла гражданская война, отца уже не было в живых, они безнадежно застряли в Черемухах, но жили не в большом барском доме, который был сожжен, а в мезонине, где прежде помещался садовник, жили втроем — он, Нина и няня. Он видел, что сестра чем-то пришиблена. Няня шепотом объясняла ему, что сестра его теперь вдова и тоскует по мужу и ребенку. Это набрасывало тень на всю их жизнь: не было гостей, смеха, удовольствий. Он играл один с собаками и лошадьми, животные принадлежали уже совхозу, организованному в имении, но ему было все равно, чьи они. Когда в 23-м году сельсоветы начали выселять последних помещиков с мест бывших владений, Нина стала собираться в Петроград. У Мики замелькала надежда, что теперь, когда он пойдет в школу и встретится с другими детьми, жизнь станет веселее — будут и товарищи, и шумные игры. Вышло не совсем так — в квартире, где они поселились, наводила террор сухая злая тетка, сестра не развеселилась и здесь, а дети в школе были не совсем такими, какими ему хотелось их видеть.

В школе вовсю велась яростная антирелигиозная пропаганда. И вот здесь обнаружилась странная вещь — проповедь безбожия, словно речная волна, билась о незыблемую скалу в душе мальчика и ничего не могла сделать. Кто-то невидимый, встретивший с образка его взгляд, был всегда рядом. Грубые кощунственные выходки безбожных кружков, организованных в школе, вызывали в нем отвращение. Церковного мира он в это время совсем не знал, полагая, что это все уже давно раздавлено. Теперь оказывалось, что это не так... Идея, которой можно было отдать жизнь, мелькнула пока еще издалека.

Оба мальчика по собственному уже побуждению сбегали еще раз на заинтересовавшую их квартиру. Дамы в черном не оказалось, открыла им девушка в платочке и дальше кухни не пустила. Они помялись у порога и ушли.

— Дураки у нас наверху сидят, — сказал Мика, — хотят покончить с религией, а сами устраивают гонения: ведь уже хорошо известно, что мученичество порождает последователей!

Через две недели праздновалось шестнадцатилетие Мэри. Со времени ареста мужа Ольга Никитична Валуева еще ни разу не устраивала торжества. Собралось несколько родных и знакомых; Мэри в школьном платье, с гладко зачесанными волосами вовсе не имела праздничного вида.

— Она сказала мне, что будет монахиней! — шепнул на ухо другу Петя. Мика с любопытством покосился на девушку. Как раз в это время Нина ласково тормошила Мэри, говоря:

— Что-то бледненькая, и прическа уж слишком скромная, а сюда хоть бы узкую полоску кружев.

Желая развлечь молодежь, Нина положила на стол карты «Почта амура». Мика взял их неохотно. Но внезапно его внимание привлекла одна фраза, он перечел ее раз, другой и перебросил карту Мэри, говоря: «Рубин». Девочка прочитала фразу, подняла голову и пристально посмотрела на него черными глазами. Этот взгляд весь вечер занимал мысли Нины: «Что мог Мика телеграфировать Мэри? Я рада была бы, чтоб он увлекся! Хоть капельку! По крайней мере, ногти бы свои привел в порядок, — да ведь не похоже!»

А под рубрикой «Рубин» стояло:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!

Через несколько дней после празднования дня рождения Петя опять ворвался к Мике. Из тюрьмы выпустили на один день иеромонаха отца Гурия Егорова, того, которому они относили передачу. Сейчас они пойдут на квартиру, где соберутся все, кто хочет проститься с ним, так как его отправляют в ссылку на Север. Необходима очень большая осторожность, чтобы гепеу не накрыло собрания.

Отправились к Валуевым, от них, присоединившись к Петиным сестре и маме, — на тайную квартиру. Пересиливая застенчивость, Мика отважился спросить Ольгу Никитичну по поводу заинтересовавшего его письма.

— Это письмо митрополита Вениамина, который расстрелян по обвинению в контрреволюции несколько лет тому назад, — ответила она, понижая голос. — Советская власть обычно расправляется со своими жертвами тайно на дне своих казематов, но с Владыкой им было слишком неудобно так поступить. Был организован публичный показательный суд, с некоторым подобием прежнего суда в зале бывшего Дворянского собрания. Муж сумел раздобыть мне билет благодаря своим прежним юридическим связям. Сколько было грубости и надругательства! Я раз не выдержала и крикнула со своего места: «Не издеваться!» — и несколько голосов крикнули со мной. Адвокаты боялись каждого своего слова. Я невольно вспоминала суды царского времени: Засулич была настоящей преступницей, а между тем какие пламенные речи лились в ее защиту, сколько было выражено сочувствия в публике! А теперь, когда собравшаяся у подъезда толпа закидала Владыку цветами, — в ту минуту, когда его усаживали обратно в «черного ворона», — тотчас откуда ни возьмись хлынули конные гепеу и увели под конвоем оцепленных людей! Я как-то сумела проскочить между мордами лошадей и ускользнула. Были и другие штучки: в день приговора залу до отказа набили агентами гепеу, которые, согласно приказу, разразились аплодисментами в ответ на объявленный приговор. Эта достойная выдумка должна была иллюстрировать народный восторг. Власти, очевидно, боялись, чтобы не повторились выкрики с мест, и приняли свои меры. Но вся площадь и вся Михайловская были в этот вечер переполнены народом, в глубоком молчании стоявшем в ожидании приговора, и эту толпу, остановившую движение транспорта, нельзя было ни выловить, ни оцепить... Был конец лета, и небо, помню, все пламенело от заката.

И через несколько минут она прибавила:

— В последние два-три года, с усилением власти Сталина, прекратились уже всякие высказывания и выкрики; молчание даже в очередях перед тюрьмами. Усиливающийся террор покончил со всеми изъявлениями гражданских чувств.

Мика молчал под впечатлением рассказа, в котором, кроме содержания, его поразила смелость этой женщины. Ведь он постоянно видел Ольгу Никитичну, он привык слышать ее разговоры: «Мальчики, идите пить чай», «Ты опять не вымыл руки, Петя», «Мика, возьми пирожок», — и почему-то в голове его уже сложилось убеждение, что если человек говорит такие фразы, то других, более интересных, от него уже ждать нечего.

Когда подошли к дому, где находилась таинственная квартира, Ольга Никитична запретила какие бы то ни было разговоры и велела подниматься поодиночке. Из уже знакомой им кухоньки их провели по узкому коридору в комнату, где Мика увидел освещенные образа, аналой и множество девушек и юношей, сидевших на стульях и просто на полу посреди библиотечных шкафов и стеллажей. Понемногу запол-

нился даже коридор; осторожные звонки и тихие шаги продолжались непрерывно, переговаривались только полушепотом.

Священник был в монашеской рясе, очень худ и бледен и напоминал древнехристианского пресвитера, который беседует со своей паствой в дни гонений: он просил не разъединяться, не отходить душевно, поддерживать друг друга, рассказывал о жизни в заточении... Потом все начали подходить к нему поочередно под благословение. В одиннадцать вечера он обязан был явиться обратно в гепеу, и теперь прощался с каждым двумя-тремя словами. Все тихо передвигались в молчании при колеблющемся свете лампад, получивший благословение направлялся тотчас к выходу. Картина эта окончательно воспламенила воображение Мики. Ему мерещились катакомбы во времена римских кесарей, а Петина мать представилась благородной матроной, женой опального патриция; она пришла на тайное христианское собрание со своей виллы на Тибре и привела с собой двух неофитов...

Когда пришла их очередь подойти к священнику, «римлянка» пропустила вперед Мэри, а сама встала за мальчиками и, положив одну руку на плечо сына, а другую на плечо Мики, сказала:

— Это новенькие. Их привела я.

Мика робко поднял глаза на священника.

— Даст тебе Господь по сердцу твоему! — произнес тот и благословил Мику.

Выходя с Петей, он спросил его: сказал ли ему отец Гурий что-нибудь?

— Он сказал слова Зосимы: «В миру пребудешь, как инок». А Мэри — «Да будешь ты сохранена лилией сада Гефсиманского!» Мама говорила о нем, что он даст себя четвертовать за свои идеалы.

— Таким буду и я, — сказал себе Мика и невольно поднял глаза на звездное небо.

В первые же годы после переворота, несмотря на притеснения и прямые гонения, устраиваемые советской властью на Православную Церковь, и даже, может быть, именно вследствие этих гонений, религиозная жизнь в Петербурге очень оживилась. Почти при каждой церкви образовалась своя небольшая ячейка глубоко верующих людей, которые ушли очень далеко от мертвой обрядовой церковности, готовы были преобразовать всю свою жизнь согласно требованиям религии и дойти, если нужно, до мученичества. И доходили. Гонения очистили церковную среду. Одно из ведущих мест заняла Александро-Невская Лавра: там, при Крестовой церкви, образовалось Александро-Невское братство. Это было движение молодежи «комсомольского» возраста. Руководили три священника: отец Иннокентий, отец Гурий и отец Лев. Гурий и Лев — родные братья, оба с университетским образованием, а Гурий — в миру Вячеслав Михайлович Егоров — успел, кроме того, окончить Духовную Академию, закрытую советской властью. В период империалистической войны оба брата (тогда еще не имевшие священного сана) пошли на фронт санитарами и собирали под огнем раненых, не желая ни проливать крови, ни держаться в стороне от происходившего. Приняв священство и монашество в самое трудное для Церкви время, оба встали во главе молодежи как духовные руководители объединения. Первое время братство сгруппировалось вокруг Крестовой церкви, на территории Лавры; оно включило в себя молодежь обоего пола, девушки в те дни носили белые косынки, которые очень скоро пришлось снять ради конспирации. Перед братством была поставлена задача воскресить дух древнехристианских общин. Члены братства полностью обслуживали Крестовую церковь — пели, читали, прибирали, ухаживали за больными, о которых удавалось узнать, носили передачи заключенным, собирались для совместного чтения святоотеческой литературы, соблюдали церковный устав — исповеди, посты, посещение богослужения; занимались Законом Божиим с детьми. Очень многие поступили студентами в Богословский институт — только что открытый вместо разгромленных академий. Одушевление было очень большое, но осторожности, как и следовало ожидать, слишком недостаточно. И Крестовая церковь очень скоро привлекла внимание гепеу. Осенью 1923 года был закрыт Богословский институт и разом арестованы все его руководители и профессора, а также все три священника и другие, наиболее выдающиеся члены братства, которое оказалось, таким образом, обезглавлено.

В течение первых нескольких дней опечаленная молодежь еще собиралась в Крестовой церкви, и многие в глубине души уже мечтали о мученичестве, а когда церковь закрыли, стали собираться на частных квартирах, украдкой осведомляя друг друга, на общие средства носили передачи арестованным «отцам». Собрания на квартирах бывали многолюдны — иногда до сорока человек, — и часто чей-либо запоздалый звонок заставлял тревожно настораживаться. Но предательство не гнездилось внутри братства, и гепеу не удавалось накрыть тайное собрание. Скоро в братстве образовался своего рода боевой штаб — в одной из квартир на Конной улице удалось устроить нечто вроде монашеского общежития: путем обменов и самоуплотнений удалось заселить всю квартиру братчицами из числа бессемейных девушек и женщин, все числились на советской службе — учительница, бухгалтер, библиотекарь, медсестра... По документальным данным это была типичная коммунальная квартира. В каждой комнате жило по две девушки, центральная комната служила монашеской трапезной, туда были собраны образа, уставленные наподобие иконостасов, а посредине стоял длинный стол. Стены этой комнаты были сплошь уставлены стеллажами с книгами, принадлежащими арестованным отцам. Здесь совершали трапезы, читали молитвенное правило утром и вечером и принимали приходящих.

Из недр братства вышла героическая пара — священник Федор Андреев и его жена Наташа. Когда стало известно о ссылках огромного числа священников, Андреев заявил о своем желании принять священный сан. Молодая жена дала согласие, зная, на что идет, а сама в это время уже ждала ребенка. Вскоре Андреев был арестован и погиб, выпущенный из заточения за три дня до смерти, вслед за этим пропала в ссылке его жена.

Священники появлялись и исчезали молниеносно, но братство не распадалось. Живучесть его была поразительна: на десятый год после первого разгрома оно еще продолжало подпольное существование.

Такова была организация, в которую жажда подвига привела Мику. Со дня собрания на Конной улице он весь отдался братству. По субботам и воскресеньям отправлялся на Неву в Киновию, где братство в тот период опекало и обслуживало небольшую церковочку, и не пропускал ни одного братского собрания.

Старые-старые иконы с их потемневшими, застывшими ликами, золотые нимбы и овеянные ладаном песнопения, красота старинных уставных служб — все это было тесно связано с прошлым его Родины, это было гонимо — стало быть, очищено от всего подкупленного и насильственного. Это одно не изменилось, не распалось, осужденное на смерть, — не умерло.

Перед Пасхой он решил пересмотреть отношения с сестрой: все члены братства говели, и Мика понимал, что прежде чем приступить к Таинству, должен помириться с Ниной. Это было нелегко: он очень давно не входил с Ниной в искренний, задушевный тон.

Несколько дней он собирался с духом, наконец в Страстную Среду — канун Причастия — постучался к сестре.

— Нина! — и вспыхнул яркой краской, но не опустил глаз, — я

иногда... часто... всегда почти... был с тобой груб и несправедлив. Завтра я иду к Причастию — прости меня!

— Мика, милый! — воскликнула пораженная Нина. — Как неожиданно! Я тебя прощаю, конечно, прощаю! Я и сама виновата, — и слезы хлынули из ее глаз. — Мика, ты не знаешь, как ты мне дорог, ведь тебе было только несколько дней от роду, когда умерла наша мама. Прости и ты меня: у тебя не было счастливого детства! Папа мог бы меня упрекнуть. Не вырывайся, дай хоть раз все сказать! Мика, ты осуждал меня, но... этот человек — Сергей Петрович — он в самом деле любит меня. Я скоро поеду к нему на месяц, и мы зарегистрируемся. Для тебя ведь это очень важно — ну вот, ты можешь не краснеть за меня больше, милый Мика!

Он высвободился из ее объятий, чтобы взглянуть ей в глаза.

— Ты замуж выходишь?

— Да, Мика.

— Это хорошо, а то я все время думал, что как только мне минет шестнадцать лет, я войду к вам и ударю его по лицу. Тогда волей-неволей он примет мой вызов.

— Мика, да ты рехнулся! Ведь я же не девушка! Даже в прежнее время честь вдовы не опекалась так, как честь девушки, а теперь все спуталось: венчаются уже немногие, а советская бумажонка о браке так мало значит! Бога ради, брось эти мысли, я хочу, чтобы вы были друзьями. Он теперь в ссылке, его можно только жалеть.

— Если он с тобой повенчается, я с ним помирюсь, конечно. А что мое детство было несчастливое, не ты виновата. Да и лучше, что несчастливое,— не избаловался, по крайней мере. Я долгих объяснений не люблю: нежным я никогда не стану, а грубым постараюсь не быть, хотя поручиться за себя трудно. А теперь все!

И он убежал, больше всего опасаясь как-нибудь расчувствоваться.

Глава вторая

В последнее время у Нины появился поклонник — уже пожилой музыковед-теоретик, восхищавшийся ее голосом и глазами. Он несколько раз провожал ее с концертов, покупал ей цветы и шоколад. В Капелле кто-то рассказывал, что на одной из платформ по Московской дороге, в полуверсте от путей, с наступлением сумерек заливаются в кустах соловьи. Несколько молодых сопрано заявили, что поедут их послушать; присоединились два-три тенора — и собралась компания молодежи. Позвали и Нину. Пожилой теоретик оказался тут как тут и заявил, что поедет тоже. Нине было совершенно ясно, что старый плут едет ради нее и что все это отлично понимают. Предполагалось, очевидно, что после слушания соловьев разойдутся парами по лесистым окрестностям в ожидании утреннего поезда, и объятия теоретика предназначались ей. Она ни словом, ни жестом не показала, что поняла намерения относительно себя, однако и не отказалась от поездки.

На следующий день, в разговоре с Олегом, Нина сказала:

— Я хотела предупредить: в субботу вечером у нас в Капелле организуется поездка за город. Может быть, я не вернусь до утра — не беспокойтесь, если меня не будет.

— Вот как?! И мужчины едут?

— Одним дамам было бы несколько рискованно... разумеется, и мужчины — наши тенора, — самым невинным тоном ответила она.

— Скажите, а кто этот господин, несколько семитского типа, который был у вас на днях? Это тоже артист Капеллы? — спросил Олег.

Она слегка смутилась.

— Да, это музыковед-теоретик, из тех, что заседают в президиуме в знаменательные даты и произносят вступительное слово, — и прибавила для чего-то: — Сергей не выносил людей этого сорта.

— А он случайно не едет?

«Однако ты становишься слишком проницателен, мой милый», — подумала Нина и спросила:

— А вас почему интересует это?

— Мне показалось, что он посматривает на вас, как кот на сливки. Очевидно, соловьиные трели его мало интересуют, иначе, я полагаю, вы бы не согласились ехать.

Нина невольно прикусила язычок.

Этот разговор показал ей, что она уже успела несколько отклониться от стрелки барометра, которая показывала хороший тон в прежнем светском обществе. Весь этот вечер она продумала над тем, как могло случиться, что она была уже на волоске от такого неразумного шага и едва не скомпрометировала себя в своем самом близком семейном кругу!

Она вынула из сумочки фотографию Сергея Петровича и долго всматривалась в его лицо, как будто ища у него защиты против себя самой.

«Неизвестно откуда взявшийся, понатершийся по клубам краснобай, болтает о музыке, но не владеет ни одним инструментом, подкомунивающий делец! И я могла унизиться до того, что едва не изменила Сергею!.. Олег, милый мальчик, деликатнейшим образом удержал меня! Скорее к Сергею! Прижмусь к его груди, после стольких лет почувствую себя опять любимой, молодой женой!»

На другой день она решительно отказалась от поездки, а проходя мимо теоретика, не ответила на его поклон.

Судьба как будто ждала ее решения: в этот же день Наталья Павловна вызвала ее к телефону и сообщила ей, что рояль продан за четыре тысячи. Решено: осенью она едет на Обь.

В сентябре ожидалась свадьба Олега и Аси. Надежда Спиридоновна была в ужасе:

— Ниночка, ни в коем случае не позволяй Олегу Андреевичу поселяться у нас с молодой женой. Знаешь ведь, года не пройдет — и уже ребенок, который не даст нам спать. Начнется вяканье по ночам, в кухне нашей развесят пеленки. Я без ужаса подумать не могу! Обещай, Нина, что ты как квартуполномоченная будешь против. У него собственной площади нет, и настаивать он права не имеет. Слышишь, Нина?

— Успокойтесь, тетя, Олег не из таких, чтобы настаивать. К тому же у Натальи Павловны и Аси хватит для него места. — И раздосадованная Нина захлопнула перед носом тетки дверь.

Когда Олег привел Асю с официальным визитом, Надежда Спиридоновна, запрятав подальше свои опасения, проявила весь свой светский такт: она с очень милой улыбкой великосветской дамы поцеловала Асю в лоб. Правда, в эту минуту вид у нее на одно мгновение стал такой, будто она прикоснулась к лягушке. «Очевидно, вообразила себе будущего младенца, — подумала Нина. — Для нее Ася — фабрика вякающих существ».

Тем не менее Надежда Спиридоновна очень мило участвовала в разговоре и даже поинтересовалась, у какой портнихи шьют Асе подвенечное платье, и посоветовала сделать его со шлейфом, далее она осведомилась о фамилии и происхождении шаферов и, услышав фамилии Краснокутского и Фроловского, удовлетворенно улыбнулась.

Когда молодая пара вышла, Надежда Спиридоновна сказала:

— А она очень мила, хорошенькая и держится вполне пристойно. Что значит, однако, порода! Надо будет подарить им что-нибудь к свадьбе. — И более к вопросу о браке Олега она не возвращалась.

Нина ничего не говорила тетке о предстоящей поездке к Сергею Петровичу, не желая волновать ее преждевременно. Но в один августовский вечер, когда она, возвращаясь домой, размышляла как раз

о том, что пора заговорить с теткой, Надежда Спиридоновна вышла к ней взволнованная, с красными глазами:

— Нина, Ниночка, это что ж такое? Я вдруг от Аннушки в кухне узнаю, что ты едешь куда-то в Томскую губернию на целый месяц. Как же так?

— Извините, тетя. Я как раз сегодня хотела поговорить с вами и сама бы рассказала вам все, — сказала Нина.

— Тебе не стыдно, Ninon? Из-за мужчины скакать в такую даль?! Все отлично понимают, что ты едешь ради этого господина — ведь всем известно, что он там. Аннушка говорила при мне, не стесняясь. Боже мой, какой стыд!

Нина вся вспыхнула от обиды:

— Почему стыд, тетя? Отчего же, если еду к мужу в изгнание я, это стыд?

— К мужу? Как — к мужу?

— Я выхожу за Сергея замуж.

Надежда Спиридоновна широко открыла глаза, минуту она постояла молча, потом ушла к себе. Неизвестно, какие чувства волновали ее, пока она сидела у себя. Очень скоро она опять постучалась к Нине. «Сейчас заговорит о вякающих младенцах», — подумала Нина, открывая дверь. Но Надежда Спиридоновна сказала:

— Поздравляю тебя, душечка! Вот тебе в подарок браслет. Видишь, на нем надпись: Dieu te garde[1]. Это наш семейный браслет: мой дед — твой прадед — подарил мне его к моему совершеннолетию. Желаю тебе счастья! — она вдруг всхлипнула и обняла Нину; седая голова в старомодных шпильках прижалась к ее плечу.

— Ты ведь дочь моего единственного брата, кому же и благословить-то тебя, как не мне? — прибавила она совсем другим — старческим, размягченным голосом.

День отъезда приближался; две недели должно было занять путешествие туда и обратно и только две недели — для пребывания на месте!

За дни, которые оставались до отъезда, Нина еще больше оценила семью, которая ей становилась теперь родной: Наталья Павловна снаряжала ее, как могла бы мать снаряжать дочь-невесту, она даже подарила ей два нарядных гарнитура.

Накануне отъезда, роясь в зеркальном шкафу, Нина наткнулась на младенческую распашонку. Несколько минут она задумчиво созерцала ее, потом окликнула Олега:

— Вот, возьмите! Это крестильная рубашечка, в которой крестили уже шесть поколений мальчиков в семье у Дашковых, в том числе и вас, и моего малютку. Теперь вещица эта по праву принадлежит вам, а у меня если и будут еще дети, то ведь уже не Дашковы. Я хочу отдать вам еще одну фамильную реликвию, Софья Николаевна подарила ее мне на свадьбу. Я уже давно попродавала все мои bijoux[2], но эту берегла на черный день, все думала: если высылать будут... тогда пригодится. Вот, возьмите, — и она протянула ему бархатный футляр. — Нет, нет, не отказывайтесь! Эта драгоценность принадлежала вашей матери и вашей бабушке и должна быть у вас! Пусть это будет ваш свадебный подарок Асе.

В футляре оказались чудесные старинные серьги с длинными жемчужными подвесками. Олег горячо благодарил.

Вечером к Нине забежала попрощаться Марина.

— Хочешь, я возьму к себе на этот месяц Мику? — спросила она.

— Спасибо. Наталья Павловна тоже предлагала мне, но Мика

[1] Храни тебя Бог *(франц.)*.
[2] драгоценности *(франц.)*.

не захотел никуда переезжать. Олег обещал присматривать за ним, а моя Аннушка — готовить ему и Олегу. Я почти спокойна.

Марина обняла ее:

— До свидания, моя дорогая! Я на вокзал не приеду, не хочу видеть тех двоих... ты понимаешь. Желаю тебе хоть на этот месяц любви и радости... Но смотри, будь благоразумна, теперь пришел мой черед сказать тебе — не попадись! Могу уверить, что аборт — вещь весьма неприятная! Я ведь люблю тебя всей душой, хоть вы все и считаете меня эгоисткой.

Когда вечером следующего дня Нина появилась на перроне в сопровождении Олега и Мики, тащивших каждый по чемодану, Наталья Павловна, мадам и Ася были уже там. Мика со дня объяснения с сестрой держался с ней подчеркнуто холодно, как будто желая показать, что разговор, происшедший между ними, не должен повторяться и что никакое подобие сентиментальности не входит в число его многочисленных пороков. Но на вокзале, когда все провожающие уже выходили из вагонов, он в последнюю минуту прыгнул на подножку и быстро обнял сестру, а выскочил уже на ходу. Когда Нина подошла к окну и еще раз взглянула на провожающих, она увидела, что Наталья Павловна осеняет ее крестным знамением.

«Кажется, кончается мое одиночество! — подумала Нина. — Теперь у меня есть муж, есть мать, есть мой Мика и Олег с этой прелестной девушкой — большая, любимая семья!»

На столике купе лежали принесенные Асей розы и, благоухая, обещали счастье — короткое и печальное, но прекрасное!

Глава третья

ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ

22 августа. Наконец-то я дома! Я провела месяц отпуска на кумысе в доме отдыха «Степной маяк», в нескольких верстах от Оренбурга. Место красивое — холмы, покрытые степной травой, в долинах — березовые перелески. Пейзаж украшают табуны, которые еще остались кое-где и которых раньше было великое множество. Дом отдыха в виде нескольких маленьких коттеджей раскинулся на большом холме, в центре столовая и красный уголок (ненавистное мне место, куда я ни разу не показала носа). Среди отдыхающих ни одного приятного лица — сплошь «хозяева жизни». Я очень много гуляла одна, а находясь на территории курорта, утыкалась носом в книгу, чтобы не слушать плоских шуток и идиотского смеха и не видеть грубого флирта, от которого тошно делается. Распущенность дошла уже до того, что обратила на себя внимание медицинского персонала — отпечатали от имени главного врача строгое запрещение отлучаться по ночам: это-де тормозит выздоровление отдыхающих и, таким образом, без пользы пропадают затраченные на их выздоровление государственные средства. В одну ночь я была испугана внезапным светом фонаря, наведенного на мою постель дежурным врачом, который в сопровождении медсестры обходил палаты, проверяя, все ли на месте. Он сказал при этом: «Пока первая, которая на своей постели». Пригрозили, что будут списывать с лечения тех, кто блуждает по ночам. Отдыхающие в большинстве были с закрытой формой tbc[3]. Одну меня нашли здоровой. Замечательно, что я всегда и везде представляю собой исключение: дворян высылают, меня премируют; все больны, я здорова; все развращены, я целомудренна. Зато я всегда, везде одинока. Никто не попробовал за мной поухаживать, как будто на лбу у меня красовалась надпись: «жизнеопасно». Я пользовалась большой симпатией только у официанток —

[3] туберкулеза *(сокр. лат.)*.

простых девушек из местных крестьянок, они даже прозвали меня «наша умница». Первое время я радовалась возможности отдохнуть на всем готовом и гулять по живописным холмам, но очень скоро вся эта обстановка так опротивела мне, что я дождаться не могла конца отпуска: стосковалась по своей комнате и тишине, и... Как только выйду на работу, узнаю у Лели, все ли благополучно.

23 августа. Не понимаю, каким образом, рассказывая о курорте, я забыла описать картину, которая интересна даже с исторической точки зрения: курортная столовая представляла собой отдельный павильон, и каждый раз, когда мы — отдыхающие — выходили после наших завтраков и обедов, около дверей в два ряда стояли местные крестьяне — русские крестьяне: мужчины, женщины, дети, девушки и парни и... просили хлеба! Я не поверила бы, если бы узнала это из рассказов, но не могу не верить собственным глазам! Случись такая вещь в царское время в одной из губерний после неурожайного года — какой бы поднялся протест в обществе, какая шумиха! Студенческие сходки, добровольные пожертвования, благотворительные базары, бесплатные столовые... Но советской власти все сходит с рук, все разрешается — это, видите ли, колхозы насаждаются, это так называемый «крестьянский саботаж» — вот и все! Слишком дорого обходятся твои опыты, проклятая власть!

24 августа. Была на работе, встретили меня очень радушно. Старая санитарка сказала: «Ну, теперь все пойдет правильно». Забегала в рентгеновский кабинет к Леле — Олег цел и невредим; свадьба будет в первых числах сентября. Лелей в кабинете все очень довольны и уверяют, что всячески будут стараться провести ее со временем в штат.

24 августа, вечер. Я рада, что не возненавидела Асю. Был момент, когда злоба закипала во мне, но Ася меня обезоружила в то утро, когда прибежала ко мне вся взволнованная, вся раскрытая, и не побоялась заговорить прямо. В ней очень много сердечного обаяния, против которого невозможно устоять. Ненависть мутила бы мне душу.

25 августа. Новая волна террора! Я узнала от Юлии Ивановны, что 1 августа выслана в северные лагеря плеяда ученых: Платонов, Тарле, Болдырев и еще многие, многие. Юлия Ивановна, которая близка с семьей Платоновых, сама была на вокзале и видела, как цвет нашей мысли провели к поезду между двумя шеренгами вооруженных гепеу. Такая картина впервые поразила наше общество еще в 22-м году — я сама провожала тогда пароход, на котором высылали за пределы России философов: Лосского, Бердяева, Лапшина и несколько талантливейших ученых, от которых соввласть пожелала освободиться! С тех пор это повторяется из года в год, с тою только разницей, что высылают теперь в лагеря, а не за пределы страны. Во всем таком большом прекрасном мире как будто все спокойно, а между тем в России планомерно истребляют лучших людей. В XIX веке гении сплетались у нас в созвездия: «Могучая кучка», «Современник», «Передвижники», «Символисты», труппа Станиславского, — каждое имя в этих созвездиях — наша слава, и вот теперь... теперь подрываются самые корни культурных растений, а Европа равнодушно созерцает это!

26 августа. Пошла навестить Бологовских, пошла, конечно, с тайной надеждой на встречу с ним, и не ошиблась. Он показался мне очень усталым и бледным; впрочем, мне теперь все кажутся такими после курортных красных лиц. Лучше мне было вовсе не видеть его, потому что я опять вся растравленная! Ася была такая хорошенькая, такая резвая, легкая, щебечущая; он глаз с нее не сводил.

27 августа. Нина Александровна на днях уезжает на Обь к высланному Бологовскому — своему жениху. По рассказам Аси у меня составилось впечатление, что это очень изысканный и умный человек. Княгине выпал на долю романтичный и красивый жребий — ехать к ссыльному, а я вот слишком много думаю о подвигах и жертвах, зато они все идут мимо! Такова судьба!

28 августа. Княгиня уезжает послезавтра. Я решила, что пойду провожать на вокзал. Я попала в круг аристократии и должна признаться, что эти звонкие старинные фамилии, утонченность манер, грассирующий говор и французские фразы — все это теперь, в ореоле террора и нужды, импонирует мне. В сущности, это чужой мне круг: мы скромные, мелкопоместные дворяне — трудовая интеллигенция. В прежнее время наша семья никогда не искала связи с высокими мира сего. Но если русскую интеллигенцию, и в первую очередь дворянскую, так оплевывают и так терзают, если аристократию уже почти всю извели, а слова «паж», «лицеист», «камергер», «гвардеец», «сенатор» звучат почти как приговор — моя симпатия на стороне гонимых, как и всегда! В их лице гибнет класс, который дал России слишком много великих имен для того, чтобы не простить тех нескольких, которые были не на высоте, и я отстаиваю честь этого знамени! Не говорю уже о том, что мне посчастливилось встретить в их среде людей с исключительными душевными качествами, не говорю о человеке, которого люблю.

1 сентября. Дежурство в больнице помешало мне быть вчера на вокзале. Сегодня, когда я возвращалась домой, я увидела Олега и Асю у нас на лестнице — в квартире им сказали, что я скоро вернусь, и они дожидались меня, сидя на окне. Они пришли, чтобы пригласить меня на свою свадьбу! Улыбнулась и сказала, что буду; хотела усадить их пить чай, но они торопились еще к кому-то. Прощаясь со мной, он сказал: «Мы сегодня были в загсе, можете поздравить Асю с получением высокоаристократической фамилии!» И только услышав ироническую ноту в его голосе и увидев его усмешку, я поняла, в чем дело: ведь ее записали Казариновой! Загс для них, конечно, пустая формальность, которая нужна только потому, что без нее теперь не венчают. Свадьба назначена в день именин Натальи Павловны.

3 сентября. Была у Бологовских. Меня тянет туда, как к месту казни! Нашла всех в предсвадебных хлопотах. Олега не было. Наталья Павловна отдает Асе свою чудесную спальню: гарнитур — парные кровати, изящнейший туалет, гардероб с раздвижными дверцами, ширмы с амурчиками и веночками... В комнате этой, говорят, все осталось неизменным еще со времени ее жизни с мужем. Теперь все это она отдает внучке, вплоть до прелестного туалетного прибора гараховского стекла с пудреницей и вазочками, а сама переходит в библиотеку, где помещалась француженка, в та, в свою очередь, переселяется в проходную, кажется, в бывшую диванную, где до сих пор спала Ася. Я нашла всех взволнованными этим переселением. Ася даже плакала, повторяя, что ни за что не хочет лишать бабушку ее удобств и привычек. Она с очаровательным видом уверяла, что отлично устроится с мужем в проходной, где ему можно раздвигать на ночь дедушкину походную кровать. Француженка в азарте кричала, что слышать этого не может; Наталья Павловна убеждала очень мягко: «Это мой свадебный подарок вам обоим, я хочу, чтобы тебе было уютно и спокойно и чтобы у тебя все было, как должно быть у молодой дамы! А я отлично устроюсь в библиотеке».

7 сентября. Завтра моя Голгофа! Я верю, что ничем себя не выдам; знаю, что у меня хватит сил, я уже себя знаю.

8 сентября. Совершилось; этот день кончился, они вдвоем сейчас, а я... вот, сижу за дневником... Расскажу все подряд.

Я пошла к ним пораньше, чтобы помочь в хлопотах и, по просьбе Натальи Павловны, присутствовать в качестве подружки при одевании Аси. Наталья Павловна продала для этой свадьбы бриллиантовую брошку и, по-видимому, хочет, чтобы все было как можно лучше и был

соблюден весь ритуал. Когда я пришла, обеденный стол был уже раздвинут, к нему приставлен ломберный и самоварный, и все это вакрыто огромной старинной белой скатертью. Я стала помогать перетирать хрусталь и расставлять бокалы. Прибежала Леля с корзиной серебра и рюмок, за которыми Наталья Павловна посылала ее к своим друзьям Фроловским, т. к. десертное серебро и бокалы частично были уже давно распроданы и теперь их не хватало; стол накрывали на 25 персон — в прежнее время накрывали бы, наверное, на сто! Старый слуга явился во фраке и белых перчатках, приглашенный прислуживать за столом; я сразу подумала, что он будет самый парадный из всех мужчин, т. к. ни у кого из этих пажей и лицеистов фраков теперь, конечно, нет. Все время раздавались звонки — это доставляли корзины из цветочных магазинов; от Нины Александровны принес чудесную корзину ее брат — славный мальчик лет 14 с живыми умными глазами; он застенчиво помялся на пороге и почти тотчас убежал, сколько ни уговаривала его Наталья Павловна. Я смотрела на карточки, прикрепленные к корзинам: все известные русские фамилии; меня удивила только одна: «супруги Рабинович». Кто эти евреи? Мадам Нелидова велела дочери разбросать на кроватях нарезанные левкои. Леля убежала в спальню, но через минуту вернулась и, пританцовывая, показала медведя с оторванным ухом, которого нашла под подушкой на новом ложе Аси. Дамы дружно рассмеялись.

— Хороша наша невеста! С медведем собралась спать, как маленькая девочка! Перед мужем не стыдно будет? — сказала Асе Нелидова. Ася вдруг сделалась розовая-розовая... Мне даже жаль ее стало — я бы на ее месте, наверное, сгорела со стыда! Не знаю, смогла ли бы я перенести свадьбу — все время быть в центре внимания, да еще при такой специфической настроенности окружающих... При первом, самом отдаленном намеке или любопытном взгляде со стыда умрешь! Вслед за этим Леля и я стали одевать Асю (девицы, как полагается по обычаю). Свадебное платье перешито из парижского кружевного платья Натальи Павловны и сделано в талию со шлейфом, с вакрытым воротом. В этом платье и в фате с флер д'оранжем, бледная, с опущенными ресницами, она была похожа на лилию. Когда Наталья Павловна стала ее благословлять, она встала на колени и смотрела снизу вверх взглядом испуганной овечки. Нелидова и француженка даже прослезились.

14 сентября. Сегодня ко мне приходила Анастасия Алексеевна, как всегда, ныла и охала. Она поступила было на постоянную работу в детское отделение больницы имени Раухфуса, но в одно из первых же дежурств, укладывая детей спать, перекрестила каждого перед сном. Санитарка видела и сообщила кому следует. Раздули историю, вызывали в местком, крыли на общем собрании и, конечно, уволили за «вредную идеологию». С такой характеристикой ей уже никуда не поступить. Уж не знаю, как рассматривать ее поступок: как идейность или как глупость? Вернее второе. Идейность не вяжется с образом Анастасии Алексеевны: шпик-супруг, у которого она клянчит деньги, ее манера прибедняться в разговорах со мной... даже в религиозности ее есть что-то ханжеское, убогое. Недавно в их больнице умер видный профессор, хоронили его с помпой — с речами и с оркестром, и вот она вздумала меня уверять, что профессор этот «недоволен» тем, как его погребали: будто бы ей это известно по некоторым признакам... эдакая чепуха! Бог с ней! Я невысоко ее ставлю и не могу отделаться от чувства тайной неприязни по отношению к ней, хоть она и оказала мне услугу огромную, неповторимую. Ходит она ко мне, конечно, не из любви, о которой так много говорит, а чтобы попользоваться кое-чем — это ясно. Накормила ее и подарила ей старый шерстяной платок — она жаловалась, что зябнет. От нее пахнет сыростью, чем-то обветшалым, я долго проветривала комнату после того, как она ушла. Жалкое существо!

18 сентября. Пошла к Бологовским навестить двух старых дам, которые теперь остались одни. Молодые супруги уехали на десять дней в Новгород — смотреть старину. Наталья Павловна не вышла: на свадьбе она переутомилась и теперь чувствует себя опять хуже. Француженка дала мне прочесть письмо от Аси. Ася пишет, что им очень хорошо, они осматривают соборы, катаются по Волхову на шлюпке, живут в рыбачьей деревушке на сеновале, где «гораздо лучше, чем в самом роскошном палаццо на Canal Grande».

Француженка таяла от этого письма, она говорила:

— Chèrs enfants, ils sont tellement amoureux, tous les deux! [4]

Но меня в этом письме возмущают целые абзацы. Что такое эти шалости в сене? Ему 30 лет, человек столько пережил — и вдруг все забыто для игр аркадских пастушков! А она? Не стесняясь, описывает, как сидит на нем верхом и ползает по сеновалу раздетая... Что ж они, дети или котята? Я думала, она оплакивает свое девичество, и ожидала найти в письме грусть, а она, оказывается, очень довольна! Я совсем разочаровалась в обоих и больше думать о них не хочу. Пусть хоть амурчиков с крылышками изображают! Мне все равно! И над чем умиляется эта глупая француженка? Наталья Павловна, наверное, не дала бы другим такого компрометирующего письма.

20 сентября. Вчера вечером я ложилась спать и, заплетая косу, вадумалась. И вдруг поймала себя на мысли, что в этом барахтанье на сене вместе с любимым человеком есть, наверное, очень большая прелесть, которую я с моей суровостью даже понять не могу, потому что всегда чужда смеха и шалостей. Я поняла, что где-то в самой глубине души завидую Асе. Только отсюда все мое негодование. Только потому, что я завидую, я осуждаю там, где любовно улыбаются другие.

Я это ясно поняла!

Глава четвертая

До Томска Нина доехала без приключений. В Томске она села на пароход, который по Томи и Оби доставил ее до селения Калпашево. С этого места начались мытарства. Она знала теперь только то, что ей надо добираться до мыса Могильного, а оттуда уже до поселка Клюквенка. На ее настойчивые расспросы, далеко ли до мыса Могильного и как туда добраться, ей указали на баржу, стоявшую на якоре, и объяснили, что через час придет буксир и потянет эту баржу к мысу. Нина села на берегу. Вспомнив советы Олега, она сняла шляпу и повязалась по-бабьи — платочком, а на ноги надела русские сапоги, которыми ее снабдила Аннушка. Понемногу стали собираться пассажиры — простолюдины с корзинками и мешками, все грызли кедровые орехи. Не менее чем через два часа появился маленький буксир с командой из трех матросов в засаленных гимнастерках:

— А ну, садись, которые на Чайну!

Нина вскочила было, но снова села.

— Гражданочка, ты, что ли, Могильный спрашивала? Что ж не садишься? — крикнула ей приветливая круглолицая бабенка.

Выяснилось, что Могильный мыс не на Оби, а на ее притоке Чайне. Все оказалось гораздо дальше, чем предполагала сначала Нина.

Двинулись и ехали по крайней мере часов пять. Была уже черная ночь, когда баржа подошла к мысу с печальным названием. Кроме Нины вышла всего одна только женщина. Предстояло вскарабкаться на крутой берег; под ногами была глина, в которой увязали ноги; облеп-

---

[4] Милые детки, они так любят друг друга! *(франц.)*.

ленные сапоги Нины стали пудовыми. В довершение начал накрапывать дождь, а в темноте послышались какие-то странные охи и вздохи. Спутница объяснила Нине, что они в самом центре коровьего стада. В детстве и юношестве для Нины не было слова страшнее «корова»; впоследствии ей пришлось познакомиться с более серьезными опасностями, но все-таки слово «корова» до сих пор сохраняло для нее грозный оттенок, напоминавший слово «гепеу». Сжав губы, она старалась не отставать от своей спутницы. Та несколько раз озиралась на Нину.

— Не здешняя, чай?

— Не здешняя.

— Откеителева же ты?

— Из Ленинграда.

— Чего ж так далеко заехала?

— У меня здесь в Клюквенке муж.

— Во как! Подневольный, значит? В этой Клюквенке все подневольные. Добром туда никто не поедет, в эту самую Клюквенку-то, не-ет!

— Это очень плохое место? — спросила Нина.

— А вот сама увидишь, родимая, сама увидишь. Чего хорошего-то! Вот и этот Могильный: он и зовется-то так потому, что первые поселенцы все до одного тут повымерли. Года этак три тому назад привезли сюда ссыльных; тут тогда еще ничего не было — один бор шумел. Ну и полегли они здесь, сердечные! На косточках их нынешний поселок вырос. Вон тамотко могилки ихние. Мы туда и ходить боимся. Неотмоленные, неотпетые они там позарыты, ровно собаки брошены. Во как!

Наступило молчание.

— Детей-то у тебя сколько же? — спросила женщина, и Нина инстинктивно почувствовала, что ответить «детей у меня нет» — значит, разом отвратить нарастающую к себе симпатию.

— Двое, — ответила она, думая про сына и про Мику. — Два мальчика.

— Сколько ж годочков-то?

— Один школьник, а второй маленький.

— На кого же оставила?

— Соседка у меня добрая, да брат мужа остался, обещались приглядеть.

Женщина, казалось, удовлетворилась; потом опять начались нескончаемые вопросы.

Вскарабкались, наконец. Замелькали тут и там огоньки несчастливого поселения. Решено было, что Нина пойдет вместе с женщиной и переночует у нее. В избе встретили их приветливо, напоили чаем с шанежками. Нина заснула как убитая, закрываясь овчиной на перине, постланной на полу.

За утренним чаем она собрала необходимые сведения: до поселка Клюквенка 30 верст; идти одной по проселку через тайгу — опасно, но сегодня понедельник, а по понедельникам комендант, который живет в Могильном, как раз выезжает в Клюквенку, чтобы производить перекличку среди ссыльных. Она может ехать с комендантом, если он разрешит; комендант, кстати, не то чтобы слишком злой, и хорошо бы ей выпросить у него дорогой освобождение от работ на день-два для своего муженька, не то она его почти не увидит — мужское население часто угоняют далеко в тайгу, и они не всегда возвращаются даже на ночь. В понедельник, однако, все должны быть на месте, потому — перекличка! Все как будто выходило довольно «складно». Препятствие впереди выставлялось только одно: комендантская собака!

— Дюже злая псина у коменданта! Ни единого человека не подпускает! Скачет по двору без цепи, а с языка — пена! Волк матерый, да и только! А кличка ей — Демон! Пуще всего берегись, Лександровна, этого Демона! Нипочем заест, — таковы были напутствия.

Нина только усмехнулась — сколько уже было сделано, что останавливаться не приходилось, — хоть и страшно, а надо идти!

Гостеприимные хозяева сунули ей пакетик пельменей, чтобы задобрить опасного врага. Нина заспешила выходить, опасаясь, чтобы комендант не уехал прежде, чем она придет.

По пути местные жители, показывая ей, какими закоулками пройти к коменданту, все, словно по уговору, твердили о собаке, понижая голос до таинственного шепота, и это неприятно действовало на нервы.

Вот и резиденция — длинное деревянное здание, обнесенное частоколом, с погребом и конюшней; а вот и прославленный Цербер!

Злобный хриплый лай, ощетинившаяся шерсть, глаза навыкате, высунутый язык — все соответствовало описаниям. У калитки не было ни дневального, ни звонка, ни хотя бы колотушки — установка коменданта сводилась, по-видимому, к тому, что проникнуть в его резиденцию может только тот, кто не побоится упасть с перегрызенным горлом.

Нина перекрестилась и отворила калитку.

— Собачка, собачка милая! Ну, не сердись же, моя хорошая! Вот тебе, — и она швырнула подачку. Пельмени исчезли в горле собаки, и она тотчас же снова набросилась на Нину, успевшую за это время сделать всего лишь шаг по направлению к неприветливому жилью.

— Вот тебе еще! Кушай, моя хорошая! — лепетала она, дрожа. Ася как-то раз уверяла, что собаки очень чутки к интонации, и теперь Нина старалась всячески подлизаться к собаке. Пельмени с загадочной быстротой снова исчезли в горле животного, и Нина успела сделать опять только шаг.

— Демончик, Демончик, Демаша, кушай, родной мой! — опять залепетала она. — Ах ты, обжора! Голодом тебя, что ли, морят, чтобы ты был злой? — Она прошла только полпути от калитки до крыльца, а в пакете уже оставались две жалкие пельмени; во дворе же по-прежнему не было видно никого, даже к окнам никто не подходил, несмотря на то, что этот дикий лай, казалось, мог разбудить мертвого.

«Ну кончено! Сейчас она на меня кинется и разорвет в клочки»! — думала Нина, бросая пельменю и держа в руках самую последнюю.

В эту минуту на деревянной веранде показалась чья-то громоздкая фигура.

— Возьмите вашу собаку! Сейчас же остановите собаку! — завопила Нина, дрожа, как осиновый лист. Но вышедший человек, заложив руки в карманы, равнодушно созерцал происходившее, по-видимому, не собираясь вмешиваться.

— Сейчас же телеграфирую в Кремль, что комендант травит собаками лиц, командированных к нему из Центра! — опять завопила Нина, окончательно теряя голову. Она бросила последнюю пельменю и закрыла глаза.

Кто-то схватил собаку за ошейник.

— Проходите в дом, гражданочка, проходите быстрее.

В комнате Нина почти упала на стул.

— Что вы так кричите, гражданочка? Коли вы командированы, предъявите о том удостоверение, а зачем скандалить попусту? Мы вас и без скандала выслушаем.

Нина окинула взглядом невозмутимого вельможу, облаченного в форму гепеу. Вот он — «грядущий хам», генерал-губернатор нового режима, «не очень злой»!

— Кому же, скажите, предъявлю я удостоверение, когда во дворе никого, кроме собаки? Я держала бумагу наготове и со страху выронила... Как смеете вы так обращаться с публикой?

— Осмелюсь вам доложить, гражданочка, что мы знать не можем, какая, извиняюсь, персона вступает на наш двор. От этих ссыльных другой нам и защиты нет, окромя собаки. Они со своими жало-

бами мне ни сна, ни покоя не дадут. Вчера еще камнем стекло разбили ночью. Мне по моему званию никак без собаки не обойтись.

— А! Так вы ею ссыльных травите! Если бы правительство пожелало отдать кого-нибудь на растерзание вашей собаке, то и оговорено было бы в приговоре! — воскликнула Нина, но тут же подумала: нельзя, однако, обострять отношения! Придется переходить в дружеский тон.

И прибавила спокойнее:

— Оставим это. Поговорим.

Комендант сел, неуклюже расставив ноги.

— Изложите поживей ваше дельце, гражданочка. Мне уже седлают лошадь.

— Вам, товарищ, предлагают оказать мне содействие. Я заслуженная артистка РСФСР и прибыла сюда из Ленинграда дать несколько концертов в вашем районном центре. Должна признаться, что согласилась я на это только при условии, что мне разрешат повидаться с моим «фактическим» мужем, который находится в Клюквенке. В настоящий момент он на положении ссыльного, но дело это пересматривается, и он должен быть в ближайшее же время освобожден. Так вот, я прошу вас доставить меня в Клюквенку и отдать там распоряжение освободить его на несколько дней от работ. Для известной артистки, приехавшей издалека, вы, товарищ, я полагаю, сделаете соответствующее распоряжение согласно предписанию из Центра.

— Извиняюсь, гражданочка! Я этого предписания не видел и не знаю, кто бы это в Ленинграде мог приказывать мне. Для знаменитой артистки я готов и постараться, если захочу, но начальствует надо мной только районный центр — Калпашево то есть. Коли бы вы мне от наркома самого бумагу привезли, оно бы еще куда ни шло. А других командиров я над собой не знаю. Вот оно как, гражданочка.

Нина почувствовала всю хрупкость своих позиций. Ни в каком случае не следовало дать почувствовать это коменданту — спасение было только в самоуверенности.

Она положила на стол союзную книжку, в которой стояло: «Солистка Гос. Капеллы» — единственный документ из числа тех, которыми она располагала, могущий произвести хоть некоторое впечатление.

— Вы напрасно обижаетесь — это не «приказ». Вас просят оказать содействие два учреждения — ленинградская Госкапелла и Филармония. Если желаете проверить мои слова, свяжитесь с ними по телефону и запросите по поводу меня.

Авось не станет проверять!

На ее счастье, комендант сказал:

— Хлопотно будет, да и особой нужды не вижу. Ежели желаете в Клюквенку ехать, пожалуй, поедем. Я пропуск вам дам. Ну а насчет освобождения от повинности — уж это вы, гражданочка, оставьте.

В эту минуту в соседней комнате чей-то звонкий женский голос запел:

В продолжении трех лет
я ношу его портрет.
Я ношу его портрет,
может, зря, а может, нет!

— Кто это поет? — спросила Нина и сделала вид, что прислушивается.

Комендант усмехнулся:

— Дочка!

— Прекрасный голос! Послушайте, товарищ комендант, у нее прекрасный голос! Уж я-то кое-что понимаю! Вы учите ее?

— Нет, гражданочка! Где учить-то? У нас здесь музыкальных школ не имеется.

— Жаль. А в Калпашеве?

— Не знаю, гражданочка, не справлялся.

Нина сказала небрежно:

— Когда я буду там выступать, я соберу сведения и нащупаю, каковы педагоги, чтобы указать вам наилучшего. А то пусть в Ленинград приезжает — я устрою в Консерваторию. Ну, да мы поговорим об этом позднее, после того, как я ее прослушаю, чтобы определить, каковы способности.

— Что ж, это можно. Вот вы какая любезная дамочка оказались, а начали с крику. Я со своей стороны тоже готов вас уважить: пожалуй, и освобождение от работы подпишу. Вы со мной ехать решаете или попозже?

— С вами.

— Да ведь я верхом, гражданочка.

— Я могу и верхом, если дадите лошадь.

Комендант посмотрел на нее, выпучив глаза. Когда к крыльцу подвели лошадь, Нина невольно вспомнила красавицу Лакмэ и себя в амазонке... Дмитрий и Олег бросались, бывало, к ней, протягивая ладонь, на которую она ставила свою ножку, вскакивая на седло. Она взглянула на свои ноги в сапогах, облепленных глиной...

Поехали, и почти тотчас же по обе стороны дороги встала непроходимая тайга. Две угрюмые фигуры, украшенные значками гепеу, следовали за ними, оба вооруженные.

Комендант, однако, и в самом деле оказался добродушным и даже несколько раз спрашивал Нину, не желательно ли ей остановиться для какой-либо надобности. Раз он даже сделал попытку занять ее разговором:

— Видите вы эту дорогу, гражданочка? Она выводит на речку. Мне довелось раз ехать берегом этой речки, с отрядом, по служебному заданию. Что же я увидел на этой, извиняюсь за выражение, звериной тропе? Келийка маленькая стоит, а в ней отшельник; завидел нас да бегом в чащу! Едем дальше — опять келийка, и не одна, а, почитай, целый скит. Спешил я в тот день, не до них было. Ну а этак через недельку привел отряд — переловлю, думаю. Неподходящее дело, чтобы у нас в Союзе неизвестно какие люди скрывались по лесам. Оцепил я большую площадь да стал сжимать кольцо, вот как на волков другой раз охотятся; собаки с нами были. Да только никого мы не поймали: уж предуведомили они, видать, друг друга. Полагаю я, гражданочка, что то были не монахи — нет! Те бы не оставили насиженные кельи. Это были лица, которые знали, что их ожидает, ежели попадутся! Люди с прошлым — колчаковцы али чехи, али другие какие белогвардейцы. Да вот не пришлось выловить, а уж была бы мне за это благодарность в приказе — надо полагать, шпалу лишнюю получил бы. По усам текло, в рот не попало... Эх!

Нина воздержалась от выражения сочувствия.

Отвыкнув от верховой езды, она очень устала и, когда после трехчасового пути приехали наконец в Клюквенку, она едва встала на ноги, чувствуя ломоту и боль в бедрах.

Селение протянулось по обе стороны грязной немощеной дороги — убогие домики, напоминающие украинские мазанки; зеленая темнеющая полоса тайги, и над всем этим серое, уже вечернее небо.

Едва только Нина успела слезть с лошади, как ее окружила орава ребятишек, к которым подбегали все новые и новые.

— А вы к кому? А вы откуда? А вы к нам зачем? Вы кто?

Видно было, что появление незнакомого лица — событие весьма достопримечательное в этом селении отверженных. Дети были почти в лохмотьях. За детьми стали появляться и взрослые:

— Вы из Москвы? Или ленинградская? Ах, к высланному! Скажите, не знаете ли вы в Ленинграде Ширяевых? Скажите, а как там жизнь? Неужели еще продолжаются высылки? Что, отменили наконец,

карточки? Скажите, вы надолго? Нельзя ли будет через вас передать в прокуратуру просьбу о пересмотре дела? Ах, если бы вы знали, как несправедливо поступили с нами!.. Да вы к кому?

И вдруг опять визг детей:

— Вот идут мужчины высланные! Их ведут из тайги! Они на отметку! Бежимте, мы вам покажем, где комендатура! А мы вперед побежим, мы первые скажем! Мы вперед!

Бросив свои вещи на землю около лошади, Нина, прыгая через лужи, помчалась за детьми.

Тесная прокуренная комната была уже вся до отказу набита людьми, когда, повторяя фамилию Сергея Петровича, Нина протиснулась, наконец, к нему. Они только схватили друг друга за руки, зная, что на них устремлены десятки глаз. Час по крайней мере пришлось им выстоять в этой давке, осыпая друг друга нетерпеливыми расспросами, а когда, наконец, покончили с отметкой, пришлось еще с час ожидать коменданта у выхода; комендант дал Сергею Петровичу освобождение на неделю. В поселке уже зажигали огни, когда они через всю длину единственной улицы подошли к мазанке Сергея Петровича. Она была самая крайняя, вся осевшая, кривобокая; вместо трубы на крыше был прилажен продырявленный чугунок, глиняная печь занимала половину площади. Чтобы сварить ужин и вскипятить чайник, пришлось прежде пилить дрова, топить печь и идти к колодцу. Ужинать сели только в одиннадцать часов. Несмотря на то, что оба были страшно утомлены, проговорили почти до рассвета: Сергей Петрович, устроив Нину как можно удобнее на лежанке, сидел с ней рядом. Сначала говорила Нина, рассказывая во всех подробностях все, что произошло без него в семье; особенно долго и подробно рассказывала она про Олега — сообщать по этому поводу что-либо в письмах было немыслимо, а между тем всем хотелось, чтобы Сергей Петрович имел самое точное представление о новом родственнике.

— Что же могу рассказать тебе я? — заговорил Сергей Петрович, когда пришла его очередь. — Произвол и хамство удручающие! На работу загоняют в тайгу, но это меньшее из зол: ты ведь знаешь, как я люблю природу — это еще от старых дворянских усадеб. Если бы мне пришлось отрабатывать эти же часы в заводских цехах, я бы, кажется, не вынес! Природа оздоровляет, вливает силы. Я ведь ее люблю во всякое время года, даже в туман и в дождь. Вставать иногда приходится до зари, и я в таких случаях заранее радуюсь, что предстоит переход, во время которого можно будет наблюдать красоту утра в лесу. Ранней весной тайга была прекрасна; в июне замучила «мошка» — набивается в нос, в рот, в уши; все тело от нее зудит немилосердно; измучились, пока не приспособились мазаться керосином. В тайге мы по большей части собираем смолу: пристраиваем к соснам особые дренажи, в которые собирается смола, а потом ходим и сливаем в бидоны, их нам привешивают на грудь. На участках расходимся по двое, но оружия нам не дают: боятся, чтобы мы не сбежали! Если когда-нибудь нарвемся на крупного зверя — прости-прощай! «А вы, — говорят, — стучите по бидонам, медведь и убежит». Никогда этого не делаю — предпочитаю лесную тишину. Мы здесь как негры на плантациях; спасибо, что не бьют, но обращение самое грубое, и денег не дают, только паек, самый нищенский. Вот здесь против моего окна льняное поле, туда каждый день гоняют дергать лен художницу, жену некоего лицеиста; он взят в концлагерь, а она выслана сюда с тремя детьми, дети постоянно болеют. В тайгу ее по этому случаю не гоняют — милостивое исключение! — а вот на лен можно. Норма ей не по силам, приходится приводить на помощь двух старших девочек десяти и восьми лет. Лицеисты со времен Пушкина ежегодно собирались отмечать свою дату — это стало священной традицией, на которую не посягал никто, но советская власть сочла лицейскую годовщину контрреволюцией! Так муж этой женщины и попал в лагерь.

Наш районный центр — Калпашево. Это дрянной и грязный городишко, но мы вздыхаем о нем, как Данте о Флоренции. Там телеграф, медицинская помощь, магазины; быть может, есть возможность играть на скрипке в кино или преподавать скрипку, а ведь здесь я, в конце концов, разучусь и руки загрубеют. Говорят, комендант переводил туда некоторых ссыльных, если из Калпашева приходило требование на работу по специальности. Но для того, чтобы устроить перевод, необходимо сначала попасть туда и договориться с каким-либо учреждением, чтобы прислало вызов, а как туда попасть?

— Сергей, это надо устроить теперь же, пока я здесь, и даже, знаешь ли, за эту неделю, пока ты свободен. Необходимо попытаться, иначе ты пропадешь: или заблудишься в тайге, или заболеешь, и уж во всяком случае — разучишься играть. Зимой здесь будет ужасно! Не очень-то ваша ссылка отличается от лагеря, как посмотришь!

— Здесь, кстати, есть барак, где за колючей проволокой живут осужденные на лагерь. Те, конечно, все время под конвоем. Нас иногда прикомандировывают к ним, когда ходим за зону; иногда работаем отдельно, а бывают дни, что вовсе не работаем. Большинство высланных здесь хуторяне, осужденные за кулачество. Есть и интеллигенция. Я подружился с одним евреем: интересный человек! Собой непривлекателен: неопрятный, бородатый, с крючковатым носом... но удивительно одухотворенный и умный. По образованию он — философ, ученик Лосского, поклонник Канта. В последнее время работал педагогом. Что еще оставалось делать в советское время? Сюда попал за то, что на вопрос одного десятиклассника: «Есть ли Бог?», ответил: «Да, дети, есть!» А было это при всем классе. Религиозная пропаганда. В обычное время Яков Семенович молчалив, а поговоришь на задушевную тему, и язык у него развязывается. Он не сионист и еврейскую религию критикует безжалостно, скорее он — антропософ. Я иногда боюсь перебить его вопросом, так захватывающе интересны его сентенции. Я его тебе представлю. Жаль его — одинок, стар, заброшен, для себя ничего сделать не умеет; у него болят ноги, и на всех переходах он плетется позади всех, через силу; слышала бы ты, какими словечками угощают его конвойные! Я еще симпатизирую одному юноше: славное открытое лицо, совсем простой, но чувствуется одаренность — играет на баяне по слуху деревенские песни. И голос прекрасный. Зовут его Родион Ильин. Взят, знаешь, за что? Отбывал он службу в армии, а когда вернулся, дом свой нашел снесенным, а отец оказался в заточении. Они — хуторяне. Он возмутился и давай кричать: при царе таких дел не водилось, чтобы нарочно разорять крестьян! Кричал, кричал, ну и попал сюда. Еще совсем юный — двадцать два года; приятно, что в нем хамства нет — невежественный, но не испорченный, и застенчивость еще сохранилась. Он у меня почти каждый вечер. По вечерам мы с ним часто концертируем в избе-читальне, которая здесь заменяет и клуб, и филармонию. Он имеет колоссальный успех. Скрипка моя не выдерживает конкуренции с его баяном.

На следующий день Нина увидела новых друзей своего мужа: все были званы на ужин. Нина поставила на стол привезенную с собой копченую треску, напекла картошки и печенья из черемуховой муки — местное лакомство. Это примитивное угощение вызвало самый искренний восторг у несчастных клюквенцев, пробавлявшихся обычно пшенной похлебкой.

— Родион, пой! — командовал Сергей Петрович. — Он у меня с голоса все песни «Садко» выучил. Моментально перенимает все, что я ему намурлыкаю. Пой «Дубравушку» и «Дно синя моря». Вот, послушай, Нина, как у него получается.

Юноша взялся за баян.

— При Нине Александровне боязно, потому они певица ленинградская...

— Вздор! Моя Нина отлично понимает, что ты не учился. Валяй, а потом мы исполним вдвоем «Не искушай!»: я переложил это, Нина, для скрипки и баяна. Оригинальное сочетание, не правда ли?

— Голос хорош — прекрасный лирический тенор! — сказала Нина, выслушав песни «Садко». — Но я хочу услышать его теперь в его собственном репертуаре: пусть споет, что разучил сам.

— Вот мчится тройка удалая по Волге-матушке зимой, — залился ободрившийся баянист, и Нина заслушалась.

Играли на скрипке и на баяне, вместе и порознь; Нина пела одна и с мужчинами, и конца музыке не было.

Художница сидела на стуле, обхватив обеими руками колени.

— Вчера, когда я опять до одурения дергала лен, я задумала пастель, которую назову «Русь советская и Русь праведная»! Будут два лика, составляющие как бы два проявления одного лица: лицо Медузы и лицо русской девушки в боярском кокошнике — прекрасное лицо, в ореоле святости, с глазами мученицы. И это будет моя месть за наши разбитые жизни.

— Прекрасная идея, Лилия Викторовна! Только зачем месть? Месть не может быть творческим началом! Я против мести, и потом... не надо кокошника — это придает излишнюю тенденциозность, — сказал Сергей Петрович.

Родион дергал его за ватник:

— Сергей Петрович, а что такое «медуза»? Потом забудете, коли сейчас не расскажете. Давеча обещали рассказать, что такое «самум», и забыли.

— Расскажу, подожди: вот когда начнутся зимние вечера с метелями и в тайгу перестанут гонять, — времени у нас будет слишком много, — тогда наговоримся. А теперь — пой.

Родион тронул баян:

Есть одна хорошая песня у соловушки,
Песня панихидная по моей головушке!

Спев песню, Родион стал расталкивать задремавшего Якова Семеновича:

— Товарищ жид, дорогой вы наш, не дремлите! Вы мочите усы в вине.

Еврей зашевелился и забормотал:

— Человечество определило себе слишком узкие границы! Надо быть слепым или безумным, чтобы одну из ступеней развития принимать за всю полноту жизни! Мы должны выявить подлинный образ человека, отыскать новое выражение! Друзья мои, восхождению нет конца.

Родиону бормотание старика показалось скучным.

— Товарищ Яша! Да вы бы лучше поздравили Сергея Петровича и Нину Александровну — они у нас заневестились, в загс собираются.

Старик повернулся к молодой паре и пробормотал:

— Поручено каждому найти путь к лучшей сфере, но вздыхает вечные времена душа мужчины о нежной женственности.

Глава пятая

В третий день пребывания Нины в Клюквенке комендант снова приехал туда. Выяснилось, что на следующее утро в Калпашево отправляется оказия: несколько заключенных и два-три прикомандированных к ним ссыльных, сопровождаемые конвоем под командой младшего коменданта. Среди них — Родион, которого вызвало колпашевское гепеу — после годового ожидания получен ответ на его жалобу, адресованную в Москву. Нине удалось уговорить коменданта прикомандировать и Сергея Петровича к отправляющемуся отряду с обещанием вернуться с ним же. Десять пачек папирос «Сафо», привезенные для Сергея Петровича, перешли к коменданту.

У здания комендатуры уже стояли заключенные, построенные в три ряда; ссыльных выстроили позади. Младший комендант вышел несколько вперед и зачитал выписку из приказа о правилах поведения в дороге. Оканчивалась она словами:

— Шаг вправо, шаг влево считаю побегом. Стреляю без предупреждения.

— Это что еще за угрозы? — возмущенно шепнула Нина.

— Положено по уставу: зачитывают перед каждым переходом. Твой Олег, наверное, помнит эту формулу наизусть, — ответил Сергей Петрович.

— Какое злое лицо у этого младшего коменданта! — шепнула опять Нина, — «мой» хоть и хам, а добродушный.

Как только вышли за зону, она подошла к младшему коменданту и предложила ему закурить.

— Товарищ комендант, разрешите мне идти в строю под руку с мужем?

Он кивнул, забирая себе всю пачку папирос.

Переход продолжался двое суток, шли медленней обыкновенного: мужчины, равняясь по слабым, нарочно замедляли шаг, несмотря на понукание конвоя. Пришлось пройти 60 верст лесами до самой Оби, и уже там, в виду Калпашева, переправиться на другую сторону паромом.

На пристани в Калпашеве комендант опять зачитал приказ, согласно которому ссыльные отпускались из отряда для выполнения своих частных дел с обязательством быть на пристани к семи часам вечера.

— Неявка в указанное время будет рассматриваться как побег, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Получив свободу, Нина и Сергей Петрович поднялись на высокий красноватый берег по сорока размытым глиняным ступеням, и здесь перед ними открылись пустые, заросшие травой улицы и низкие деревянные лачуги глухого городка.

— Вот моя Флоренция! — печально сказал Сергей Петрович.

С загсом дело устроилось сравнительно быстро; расставшись с фамилией, которая принесла ей столько горя, Нина вздохнула:

— Ну, теперь я хоть не «сиятельство»! И то слава Богу!

— Хрен редьки не слаще! — ответил на это Сергей Петрович и прибавил, беря ее под руку: — А теперь ты у меня попалась! Я потребую с тебя сына; отсрочки не дам: довольно уже мы потеряли времени.

— Ах, вот что! Если б я только знала... — шутливо возмутилась Нина.

— Ты бы не записалась? Мы с тобой поменялись ролями! По-видимому, ты давно колыбельных не пела. Я сыграю тебе моцартовскую, когда вернемся. Уж пожертвуй мне одну зиму. Может быть, Ася составит тебе компанию.

К ним подошла девочка, предлагая осенние цветы.

— Вот, получай свадебный букет, а будет все-таки по-моему!

— Но ты забываешь, Сережа, что я должна работать и что без моего пения...

— Кажется, мы начинаем ссориться, едва выйдя из загса. Может быть, вернуться и развестись?

С музыкальной школой не посчастливилось: сколько ни запрашивали и в райисполкоме, и на почте — никто не мог дать никаких сведений. Оба уже отчаялись, когда вдруг увидели человека с виолончелью на другой стороне улицы; бросились догонять. Виолончелист оказался тоже ссыльным, скитавшимся без работы; он играл иногда в единственном кино под аккомпанемент плохонького пианино. Музыкальной школы, по его словам, в городе вовсе не было; тем не менее, он очень обрадовался неожиданной встрече, появление скрипача дало бы возможность составить трио. На всякий случай обменялись адресами, но уже ясно было, что план с переводом на работу в Калпашево рушится,

тем более что в общеобразовательной школе они узнали о существовании циркуляра не вербовать в школьные преподаватели репрессированных лиц.

Когда в семь часов вечера собирались на пристани, Родион, узнав, что перевод в Калпашево срывается, призиался:

— Сергей Петрович, видать, дурной я человек — что бы за вас огорчиться, а я радехонек: без вас мне тоска смертная в Клюквенке, сопьюсь запросто.

— Глупый мальчик! Это так понятно! И для меня в Клюквенке ты — родная душа. А спиться я тебе не дам.

— Сергей Петрович! Я такого человека, как вы, отродясь не видывал! И во сне не мерещилось, что бывают такие. Не знаете вы, что они для меня значат, Нина Александровна!

— Не говори «они». Называй имя и отчество, — прикрикнул Сергей Петрович.

Но юноше хотелось выговорить свою мысль, и он пропустил мимо ушей поправку.

— Мне бы должно благословить ссылку за встречу с вами, да я бы, может, и благословил, только вот мать у меня на старости лет одна по чужим избам, бедная, мотается. Ну, и заропщешь другой раз.

Сергей Петрович пожал ему руку.

— Что сказали тебе об отце?

— Сказали: без права переписки; коли помрет — известим. А обвинен, мол, и ты, и тятька твой правильно: кулаки вы, и поблажки вам никакой не будет. А какие же мы кулаки, когда без чужой помощи всю жисть хозяевали? Ну, да я не унываю, Сергей Петрович: везде есть хорошие люди.

Ночевали третий раз под открытым небом, на пристани по ту сторону Оби. С реки дул ледяной ветер; посреди ночи Нина, дрожа от холода, постучалась в хижину паромщика, умоляя впустить ее погреться. И несколько часов провела на печке в обществе детей и теленка, который, не тратя даром времени, пережевывал в темноте уроненную ею косыночку; когда Нина, уходя на пристань, хватилась косынки, нашлось лишь несколько клочков. На заре построились для перехода. День выдался ясный, солнечный; туман расходился золотистой дымкой. Шли бодрым шагом, чтобы согреться. Родион все время запевал то одну, то другую песню; никто, однако, ему не подтягивал. На одном из поворотов дороги, оглядывая лес, который весь золотился в преломлявшихся сквозь прозрачный туман утренних косых лучах, Нина воскликнула:

— Ах, какая рябина! Горит! Огненная! — и указала на молодое деревце несколько подаль от дороги. В одну минуту Родион выбежал из строя, подскочил к рябине и схватил ветку. Грянул выстрел, и схваченная ветка откачнулась обратно... Крик ужаса вырвался у людей, и вся партия разом остановилась, — юноша, как сноп, повалился на землю. Нина окаменела, не верилось, что все происходящее — правда. Сергей Петрович и еще один мужчина бросились к упавшему.

— Назад! — рявкнул комендант. — На прицел! — крикнул он конвою. Четыре револьверных дула тотчас устремились на двух мужчин. Те даже не обернулись.

— Жив? Отвечай! Жив? Что с тобой? Где рана? — повторял Сергей Петрович и дрожащими руками начал расстегивать на упавшем ватник.

Второй мужчина, стоя под дулом, сказал:

— Товарищ комендант, я — врач: разрешите мне исполнить мою обязанность. — И, хотя револьверные дула остались в прежнем положении, припал ухом к груди юноши, держа его неподвижную руку в своей. Все замерли.

— Кончено, — сказал он и встал с колен. Наступила тишина. Мужчины поснимали шапки.

Сергей Петрович тоже поднялся и с бешенством крикнул коменданту:

— Вы не имели права стрелять! Мы все видели, что это не побег!

— Молчать! — крикнул злобный голос. — Сомкнуть строй! Стреляю в каждого, кто не будет повиноваться!

Нина бросилась к мужу:

— Сережа, молчи! Ты — безумец! Разве ты не видишь: это звери, не люди! Они убьют и тебя... Молчи! — шептала она, вся дрожа, и втащила его в ряды. Кто-то поднял и протянул уроненную им шапку, Нина нахлобучила ее ему на голову.

— Шагом марш! — крикнул комендант.

— А как же он?.. Вы его бросите... — срываясь, пролепетал один женский голос.

— Вперед! — пролаяла повторная команда. Люди двинулись в полном молчании с угрюмыми лицами; конвойные еще держали револьверы наготове. Комендант пошел сбоку, оглядывая строй.

— Гражданка! Вы! Вы! Выйти из строя!

— Я сопровождаю партию с разрешения старшего коменданта, — отважилась выговорить Нина.

— Знаю, что с разрешения. По дороге вам идти не запрещено, а из строя извольте выйти.

Нина и Сергей Петрович молча взглянули друг на друга; он пожал и выпустил ее руку. Лица стали как будто еще сумрачней; за весь переход никто не сказал ни слова, только шаги звучали по лесу.

Комендант сделал остановку в Могильном и ходил к своему начальнику, очевидно, с докладом о происшедшем. Вернувшись, он отдал приказ ночевать в Могильном и увел отряд в здание комендатуры. Нина, не зная, куда деваться, прошла в тот дом, где ночевала по прибытии. Усталая и потрясенная, она не скоро заснула и с трудом поднялась, когда встававшая к корове хозяйка разбудила ее на рассвете. Кутаясь на ходу в ватник, она побежала к комендатуре и в сырой мгле утра увидела отряд выходящим из ворот.

Она не посмела вмешаться в ряды и пошла сзади; сапоги натерли ей ноги, и она с тоской думала о предстоящем дне пути. Только в полдень, во время остановки, когда она подошла ближе к партии, она обнаружила, что Сергея Петровича, а также молодого доктора не было среди других. Страшно испуганная и растерянная, она хотела повернуть назад, но побоялась быть застигнутой сумерками в тайге и, следуя за отрядом, все-таки дошла до Клюквенки. Когда она переступила порог своей мазанки и опустилась на деревянную скамью, ею овладело отчаяние.

— Господи, что же это? Что я теперь должна делать? Его, наверное, перебросят в концентрационный лагерь... я его не увижу больше!

Клюквенка показалась ей теперь насиженным мирным местом... Как хорошо было еще несколько дней назад, когда они пели и играли вот в этой самой комнатушке, и вот что теперь!.. Она озябла и проголодалась — волей-неволей пришлось растапливать печь, варить картофель и кипятить воду. Поужинав в полном одиночестве, она устроила себе постель на лежанке и накрылась всем, что было теплого, трясясь в нервном ознобе. Страшно будет провести одной ночь: хата на краю, за ней пустое поле, а за полем тайга, которая глухо шумит. Вокруг — ни души. Пошел дождь, но она не могла заснуть даже под этот равномерный, убаюкивающий звук. То ей чудились шаги за дверьми, и она, замирая, прислушивалась, не зная сама, чего ждет и чего боится, то чудился вой волков. Детский суеверный страх все больше овладевал ею: наводили ужас темные углы пустой хаты — они, казалось, жили угрюмой, таинственной жизнью, и там, в глубине, в паутине, роились и прятались призраки. Скоро над ней начала протекать крыша; сначала падали отдельные редкие капли, потом забарабанило частой дробью; она не шевелилась — страшно было выйти за освещенный круг.

Однако течь скоро стала настолько сильной, что волей-неволей пришлось вылезти, чтобы сохранить сухими теплые вещи, которыми она была накрыта. Когда она встала и осветила дальние углы, то увидела, что течью захвачен еще один угол и могут промокнуть ноты и скрипка. Сердце ее больно сжалось при взгляде на скрипку: «Я сыграю тебе Моцарта!» — вспомнилось ей. Пришлось переносить все вещи в единственный сухой угол. Весь остаток ночи она просидела, поджав ноги, на скамье, слушая дробь дождя и шелест тараканов, к величайшему ее ужасу перебравшихся из мокрых углов поближе к ней. Ноги ее скоро совсем онемели, но она боялась опустить их на пол и не решалась переменить положение, окруженная армией насекомых.

О Господи! Долго ли еще будет тянуться эта ночь? Она, кажется, никогда не кончится! Надо отговорить Асю от брака с Олегом: он не сегодня-завтра попадет в такую же ссылку, а она окажется с ребенком в таком же медвежьем углу.

Забрезжило, наконец. Она решилась встать и взялась за топор, чтобы подогреть себе воду в чугунке. Топор не слушался непривычных рук, дело не ладилось, слезы досады наворачивались на глаза.

Дверь отворилась — на пороге показалась баба в ватнике и в сапогах и остановилась у притолоки, подперев красную щеку рукой.

— Что вам? — спросила Нина.

— Ничаво, ничаво, родимая. Поглядеть на тебя пришла. Уж не прогневайся.

Нина подивилась и занялась снова дровами и чугуном. Когда она снова взглянула на дверь, баб было уже две, и обе глядели на нее, подперев щеки руками. Нина налила себе чай, поставила чашку на подоконник и села, досадуя на непрошеных посетительниц и стараясь уяснить, в чем кроется неожиданный интерес к ее особе. Должно быть, слух, что она только что зарегистрировалась с ссыльным, уже докатился — в представлении этих баб она была молодой девушкой, у которой сорвалась брачная ночь! Вот именно это и возбуждало их любопытство. Она повернулась: баб было уже три, и все перешептывались, кивая на нее. Нервы Нины не выдержали: она ударила рукой по подоконнику и вскочила:

— Да что же это здесь — театр, что ли? Бессовестные! Сердце-то у вас есть?

Бабы испугались и, может быть, даже пристыдились. Все три разом выбежали вон. Нина захлопнула за ними дверь.

Она повязала платок, влезла ногами в сырые сапоги и вышла на холодный туман. Шла и думала, что сделала величайшую глупость, приехав сюда. «А впрочем, глупость эта, может быть, самое большое и лучшее, что мне довелось сделать!»

Приближаясь после пятичасового пути к логовищу коменданта, она купила дешевого студня. Повторилась прежняя, уже знакомая ей история, с тою только разницей, что после третьей подачки собака уже не скалила зубы, угрожая наброситься, а стояла, выжидая следующего куска и глядя на Нину умными глазами. Нина протянула еще кусок, и собака, вильнув хвостом, взяла его из ее рук.

— Демон, Демончик, хороший Демаша! — завела уже привычную песню Нина и, все еще робея, направилась к крыльцу, а Демон побежал рядом. Встречаясь с умным и внимательным взглядом животного, Нина невольно сравнила этот взгляд и своеобразное благородство собачьей морды с лицом хозяина дома — сравнение было не в пользу человека.

— Здравствуйте, товарищ комендант! — стараясь говорить как можно приветливее, сказала Нина, собирая всю свою волю на предстоящий тяжелый разговор. — Вот решила заглянуть к вам, чтобы прослушать вашу дочку, а также выяснить одно недоразумение. Вы позволите мне войти?

Рука, похожая на медвежью лапу, неуклюже протянулась к ней:

— Просим, просим, товарищ артистка!.. Садитесь. Не желаете ли пивца холодного? Дочка уж мне житья не дает: когда же твоя знаменитая певица меня послушает?

Нина поспешила мило улыбнуться:

— Это очень понятно, товарищ комендант. Я с большим удовольствием займусь с ней; я сегодня не тороплюсь. Но прежде я хотела бы переговорить с вами по поводу вчерашнего инцидента. Ваш помощник, очевидно, уже представил вам рапорт?

— Вы это о чем, гражданочка?

Он до сих пор еще не потрудился узнать имя и отчество Нины.

— Ваш помощник стрелял в ссыльного. Я шла с этой партией согласно вашему разрешению и была невольной свидетельницей.

Спазма сжала горло Нины. Комендант уже не смотрел на нее притворно-ласковым взглядом.

— Так, так, гражданочка, точно. Что ж дальше? Подчиненный мой действовал согласно инструкции. Над нами ведь тоже начальствуют, доложу я вам. Когда ссыльные находятся в пути, большого числа конвойных мы предоставить не можем, и существуют особые правила поведения, о которых мы предупреждаем конвоируемых. Эти правила были зачитаны. По всей вероятности, и вы их слышали. Никакого упущения по службе не было — могу вас уверить! Нам с вами говорить-то об этом не для чего. Ну, разумеется, вы человек непривычный: вам оно... страшновато показалось. Забудьте думать, гражданочка; забудьте — вот и вся недолга! Мой вам совет: от ссыльных лучше держитесь подальше; особенно пятьдесят восьмых — неспокойный народ! Должен я вам сказать — с уголовниками куда легче: свои ребята! А эти пятьдесят восьмые нас, советских людей, презирают и всё в лес смотрят.

Глухое, больное возмущение, накипавшее в Нине, комком давило ей в грудь и сжимало виски до дурноты. Упущения по службе не было! Ему все равно, что погиб талантливый, милый, жизнерадостный юноша! Важно, что соблюдены все правила, при которых разрешается безнаказанно стрелять в человека.

Она сделала усилие, чтобы овладеть собой, и сказала спокойно:

— Я не собираюсь обвинять вашего помощника в нарушении правил: это меня не касается. Я хотела узнать, за что вы задержали двух других из этого отряда? Один из них мой муж, ради которого я так далеко приехала. Могу вас уверить, что ровно ни в чем не провинился. Я здесь могу пробыть считанные дни, поэтому решаюсь обратиться к вам с просьбой освободить его как можно скорей.

И опять ей перехватило голос.

— Подождите, подождите, гражданочка: дайте я справлюсь в рапорте — я не упомнил фамилии. Минуточку.

Он вышел из комнаты и вернулся с листом бумаги и с очками на носу, придававшими ему несколько комический вид.

— Как фамилия вашего супруга, гражданочка?

— Бологовский, Сергей Петрович.

— Так, так; совершенно верно; Бологовский под арестом: «Пытался возмутить против конвоя...» — видите ли, какая штука! Это вам не фунт изюма, гражданочка! Вы извините: я попросту.

— Это ничего, что попросту. Я тоже с вами буду говорить попросту. Товарищ комендант, вы информированы неправильно! Снимите показание с меня, допросите всех шедших в партии, и вам станет ясно!

— Я не собирался заваривать дела и чинить допрос по всей форме, гражданочка; домашним образом думал справиться. Тут, чего доброго, нагореть может, ежели пойдет по законной линии. Число конвойных я, видите ли, выделил недостаточное и в Калпашеве людей отпускал только по моей мягкости — одолевали меня с просьбами: кому к доктору, кому просьбу подать, кому устроить вызов по специальности... Ну, и соглашался; вот и вас прикомандировал, а по всей строгости оно бы

не следовало, да где уж, думаю, вам одной по тайге шататься... Ну, а начальство может косо на это поглядеть: мирволит, скажет!

Невольно шире открылись глаза Нины: так этот держиморда опасался обвинений не в самоуправстве или жестокости, а напротив — в мягкосердечии и гуманности! Хороши же были типики, сидящие над ним, уже кончившие школу палачей! Но так или иначе, а огласки этот великолепный администратор не желал! Нина тотчас это учла и очень дипломатично сказала:

— Могу вам обещать, что если мне случится говорить о происшедшем в Томске, я приложу все усилия, чтобы не повредить вам.

— А с кем вы там говорить намерены?

— Я знакома кое с кем в Томске,— храбро солгала Нина.— Я отнюдь не желаю бегать по учреждениям, но придется, по-видимому, выручать мужа, если вы не пожелаете его выпускать.

— А вы меня, гражданочка, уж не припугнуть ли желаете? Из этого, доложу я вам, ничего не выйдет: я в партии с семнадцатого года, старый чекист, и заслуги мои всем хорошо известны; партийных взысканий не имел, стою твердо — не подкопаетесь.

— Припугивать вас я не собираюсь, но если вы не хотите дать делу законный ход, тогда прикажите выпустить задержанных, а что значит «кончить домашним образом» — я не понимаю! Ведь вы должны же будете отчитываться перед Томском в гибели ссыльного и в аресте двух других?

— Никак нет, гражданочка! Ссыльных у нас тысячи, и они вверены мне бесконтрольно. У нас в тайге и на дорогах задаром, без следа, пропадают люди самые полноправные, а не то что высланные! Конечно, когда идет судебный процесс, за каждого из подсудимых тюремный персонал отвечает своею головой, но у меня здесь или осужденные, или административно-высланные. Таких тысячи в каждом из здешних районов. Где тут отчитываться в каждом? Погиб и погиб — довольно, что знаю я. Для знаменитой артистки я всегда готов стараться! Засадил я тех двоих за нарушение дорожной дисциплины; вот завтра выберу времечко и допрошу. Тогда сам увижу, что мне с ними делать. На моем участке я могу распоряжаться, как сам нахожу нужным,— запомните, гражданочка! Хоть повесить, ежели заблагорассудится; но я, имейте в виду, не суров.

Нина поднялась и взяла рукой забрызганную грязью юбку, как взяла бы шлейф, спускаясь с эстрады.

— Я вас поняла, товарищ комендант. Благоволите теперь провести меня к вашей дочери.

Два часа она просидела с кривляющейся, намазанной, завитой девицей, пробуя ее голос, исправляя постановку, прививая навыки. И когда, наконец, вышла — чувствовала головокружение от усталости и нервного перенапряжения, а надо было до сумерек пройти опять тридцать верст! Великолепный хам не догадался предложить ей хоть какой-нибудь вид транспорта. Утешая себя, что эта дорога сравнительно людная, благодаря постоянному сообщению между Могильным и Клюквенкой, и встреча со зверем или с бродягой маловероятна, она вышла из поселка и потащилась по грязи в злосчастную Клюквенку.

Она шла уже часа три, время от времени присаживаясь на камень и съедая кусок хлеба, которым запаслась, чтобы не ослабеть в дороге. Затянутый холодной осенней дымкой лес хмуро молчал. Она шла, не глядя по сторонам и стараясь не думать, что идет одна через тайгу. Натертые ноги мучительно ныли. Вдруг она увидела неподвижную мужскую фигуру впереди на повороте.

Со времени травмы, пережитой ею в Черемухах десять лет назад, каждая незнакомая мужская фигура, встреченная в уединенном месте, внушала ей опасения. Этот постоянный страх портил ей все прогулки, когда она попадала за город. Теперь при одном взгляде на стоявшего впереди человека сердце у нее отчаянно заколотилось.

Она увидела, что прохожий решительно направился к ней. В эту минуту взгляд ее остановился на большой палке, валявшейся на дороге, и она быстро схватила ее.

Человек подходил все ближе и ближе, и вдруг она узнала эту неуклюжую бородатую фигуру — философ Яша! Слава Богу!

— Нина Александровна! — сказал старый еврей, подходя неуверенной, шаркающей походкой,— ну, как это вы ушли одна? Ну, сказали бы мне. Я, правда, стар и плохой защитник, но таки лучше, чем никто! Не бросайте палку: через час будет темно — почем знать?.. Идемте скорей.

Они пошли рядом. Он не решился предложить Нине руку, видимо, не был уверен, что русская дворянка примет ее. Выслушав про Сергея Петровича, сказал:

— Немножко утешу вас, Нина Александровна! В вашей мазанке сейчас чинят крышу. Несколько женщин из здешних крестьянок подняли гвалт, что у вас заболочена вся хата; у одной из них муж плотник; она потащила его чинить, потом подговорили еще одного и обещали, что все будет готово к вечеру.

Он внимательно взглянул на расстроенное лицо своей спутницы.

— Нина Александровна, вы верующая?

— Я понимаю ход ваших мыслей, Яков Семенович. Отвечу вам правду — нет, давно нет! Всенощное бдение в институте, причащение с другими девочками — все это поэтическое воспоминание, и — только! Христос, который учил человечество милосердию, или бессилен и, стало быть, не Бог, или не милосерд вовсе!

— Страшные слова вы произносите, Нина Александровна. У вас такая тонкая душа, а о Спасителе вы, простите, рассуждаете по-обывательски плоско. Если бы наградой за веру и праведную жизнь служило процветание здесь, на земле, в земных формах,— все вокруг были бы верующие, но грош цена была бы этой вере! Из века в век заботливо выращивают наш дух светлые Учителя, и скорби на этом долгом пути к вечности служат нам искуплением и очищением. Есть люди, которые благословляют их,— они начинают интуитивно постигать неисповедимость Божественных путей. Вы, Нина Александровна, может быть, и сами с любовью и умилением оглянетесь когда-нибудь на нынешний день и этот крестный путь в Могильное, который дал вам выявить на деле вашу любовь и верность. Цените ниспосланные вам минуты, которые глубоко и неразрывно, нитями родства потустороннего, связывают вас с любимым человеком.

— Яков Семенович, вы христианин?

— Не знаю... Вернее будет сказать — антропософ, постигающий Христа. Родился в иудействе — я сын виленского раввина. Я мальчиком был, когда мне в руки случайно попало Евангелие и, когда я стал вчитываться в строчку за строчкой, вырос из них передо мной образ Христа и завладел навсегда моими мыслями. Я понял роковую ошибку моего несчастного народа, я понял, насколько христианство человечнее, светлее и шире нашего узкого иудейства,— я многое понял тогда. Помню, что делалось со мной, когда, спрятавшись за шкафом, в углу моей бедной комнаты, я читал: «Сия есть Кровь Моя Нового Завета, Еже за вы проливаемая...» Наступила Страстная; занятия в гимназии были прерваны, и вот потихоньку, как вор, побежал я — еврей — в христианскую церковь, не в нашу гимназическую, нет — разве я бы посмел туда явиться? — в монастырское подворье на окраине. Шла литургия, и когда я робко переступил порог храма, я услышал голос из алтаря: «Пийте от нея вси: сия есть Кровь Моя...» — те как раз слова, которые переворачивали мое сознание. Я слушал, слушал... и, знаете ли, что я сделал? Я подошел с другими к Чаше, движимый самым горячим желанием. Я несколько раз делал так, не зная сначала, что это недопустимо. Много было после пережито тяжелого: и страшный протест окружавшей меня среды узкого провинциального еврейства, и косность

ваших священников, и порочность вашего христианского мира — все это обрушилось на меня еще в ранней юности и едва не затушило отблески дальних сияний, которые нашли место в моей душе. Но дивный Образ, раскрывшийся однажды моему воображению, укреплял мой дух. Крестился я много позднее — уже когда окончил университет. Крещение давало мне права гражданства наравне с русскими, а я не хотел ни перед своей совестью, ни перед людьми, чтобы вера моя перепутывалась с вопросами житейских благ, и лишь когда окончание университета дало мне право и жить и работать в Петербурге, я принял крещение. Здесь выплыли новые трудности: священники, к которым я обращался, после бесед со мной отказывались меня крестить, находя, что я, выйдя из иудейства, заблудился в безднах теософии и по существу моих воззрений не христианин. Среди них были очень образованные, и они соглашались, что в русской интеллигенции есть множество лиц, отстоящих по своим воззрениям еще далее меня от Православия в самой его сути, но крестить заново обращенного с такими воззрениями, тем не менее, отказывались. И все-таки, великая Церковь ваша, обладая таким сокровищем, как Евхаристия, осенена благодатью, как бы ни были погрешны отдельные представители. И эта благодать сошла на меня. Я вошел в лоно Церкви. Один из священников обратился за разрешением вопроса к епископу, и тот меня понял! Больше того: мое самовольное причащение он рассмотрел не как грех, а как особое призвание. Он согласился меня крестить и сказал при этом: «Храните символ Веры и не порывайте с Причащением; тогда, исполняя по мере сил заповеди Господни, вы пребудете в Церкви. На исповеди кайтесь в том, что вам укажет совесть, но не вступайте в богословские прения». Всю жизнь я с благодарностью вспоминаю этого человека. Я — близорукий — страшился упрека в материальной заинтересованности при переходе в Православие, и даже помыслить тогда не мог, что моя вера повлечет за собой, напротив, гонение и исповедничество, а Христос в Своем милосердии послал мне жребий, о котором я не смел мечтать! Кто бы мог это предвидеть в те годы? Вот теперь я в ссылке, одинокий, больной и уже старый; у меня нет ни угла, ни семьи, но поверьте мне, Нина Александровна, что я счастлив и что мне в самом деле ничего, совсем ничего не нужно! Долгое время горем моим была потеря моей библиотеки — книги были моею страстью, и на них я тратил все мои средства; за годы петербургской жизни мне удалось собрать огромную библиотеку религиозно-философского содержания. Ее опечатали при аресте, и случайно мне стало известно — от соседей по квартире, — что книги были погружены в огромный грязный грузовик, который умчал их прямо на свалку, — это говорил соседям лично увозивший книги шофер. Теперь и эта боль отошла: не осталось ничего, кроме радости идти за Распятым Учителем. Эту радость уже никто не может у меня отнять. Вы, Нина Александровна, еще молоды и хороши собой — да пошлет вам Господь счастье с избранным вами человеком, но не падайте духом и не унывайте в дни печалей. Они не так страшны, как кажутся сначала: как раз в их гуще и толще нас посещают новые и самые дивные радости. Где крест, там они вьются вереницами.

Молодая женщина молчала, озадаченная и удивленная.

— Не отвечайте мне ничего, а только запомните мои слова, сохраните их в своем сердце. Быть может, когда-нибудь они найдут в вас отклик. Мы сами не знаем минуты, когда в нас просыпается тайное, лучшее, внутреннее.— И он прибавил с улыбкой: — Странно, не правда ли, что вы — христианка по рождению — выслушиваете о Христе от еврея? Случается и так!

— Нет, Яков Семенович. Я этого не думала... Спасибо за хорошие слова и за участие. Мой муж и я, мы оба вас так уважаем... Я сейчас вспомнила своего брата... вот бы вам поговорить с ним — вы бы друг друга поняли, а я...

Она заговорила о библиотеке своего отца, которой завладела тетка, и о некоторых уникальных изданиях, хранящихся в ней, и за этими разговорами дорога прошла незаметно.

Когда, уже в сумерках, они подошли, наконец, к Клюквенке и Нина вошла в свою хижину, починка и в самом деле была закончена, пол подметен и даже печь вытоплена; а чугун полон печеной картошки, аккуратно закрытой вышитым полотенцем; очевидно, женщины предполагали, что она вернется из Могильного с мужем, и решили обеспечить молодым счастливый вечер. Нина была тронута неожиданной заботой, однако, она так устала, что не могла есть, а тотчас улеглась на лавке и в этот раз проспала всю ночь как убитая. День не принес ей ничего нового. К вечеру она опять затопила печь, вскипятила чайник и села у огня, настороженно прислушиваясь: может быть, и в самом деле отпустит после допроса! Стук в оконную раму заставил ее вздрогнуть, но это оказался всего только десятник, который обегал ссыльных, вызывая на перекличку к коменданту, как обычно в понедельник. Она села, и ей стало еще грустнее после минутной надежды.

Поднялся ветер и завыл в трубе, нагоняя тоску; ей опять делалось жутко; неужели начнут повторяться все ужасы предшествующей ночи? Черные тараканы начинали опять выходить из своих углов, а свеча, колеблясь неровным светом, уже рисовала устрашающие тени на закоптелом потолке, когда ей показалось, что кто-то шарит рукой за дверью.

— Кто? — спросила она, вскакивая, но не снимая крючка, и дрожа.

— Нина! Открой! Это я!

Она выскочила под дождь и бросилась на шею мужу.

Пароход издавал протяжные гудки в знак того, что не придет больше — не придет до весны! Этот прощальный сигнал всегда звучит на Оби, как только шуга — ледяное крошево — появляется на могучих волнах. Затерянные в лесных селеньях ссыльные с грустью вслушиваются в этот заунывный гудок. Стоя на борту парохода, покидавшего Калпашево, Нина всматривалась в полосу тайги на противоположном берегу и вытирала слезы.

В Томске, прежде чем пересесть на поезд, она несколько дней обивала пороги некоторых учреждений. Этот город, обросший сетью лагерей и тысячами учреждений по управлению лагерями и тюрьмами, стал ей невыносим. Она побывала по крайней мере в десяти присутственных местах и не могла найти конца и начала этой сети. Ее безжалостно гоняли с места на место. По сравнению с агентами, которых она видела здесь, хамоватый комендант казался ей теперь очень человечным — он давал себе труд выслушивать ее и питал наивное уважение к званию заслуженной артистки, самовольно присвоенному ею. В Томске она оказалась совершенно бессильна перед привычной черствостью персонала и хаосом канцелярий. Единственно, чего она достигла,— это частного обещания директора одной музыкальной школы, где она дала бесплатный концерт, попытаться вытребовать скрипача Бологовского на педагогическую работу, как только школа получит расширение штатов. Успех этого предприятия был весьма сомнителен.

В последних числах сентября Нина покинула Томск.

Глава шестая

Дни, проведенные с Асей на берегу Ильменя, показались Олегу райским блаженством: очарования любви, ранней осени и седой старины как будто соединились, чтобы закрыть от него безотрадные думы. Он отлично знал, что гепеу может найти его на Ильмене так же легко, как в Петербурге, и, тем не менее, закрывая по вечерам двери своего «палаццо», он ни разу не подумал о том, что среди ночи может раздаться

стук в эти двери. Лишь изредка в мыслях его мелькало — «на мой закат печальный... улыбкою прощальной...»

Их окружали крестьяне-рыбаки, занятые полевыми работами и рыбной ловлей. Ася была прелестна, и все заботы и опасения таяли в лучах ее любви. Он был свободен от службы, где приходилось все время быть начеку и взвешивать каждое слово. Наскучившая пошлость задающей тон партийной среды, дешевая агитка, преследующая в новом обществе каждый шаг человека, и газеты, которые действовали на него как змеиное жало,— сюда не долетали.

Но как только они сели в поезд, сразу словно попали в орбиту Ленинграда. В сердце ожили и зашевелились тревожные ожидания.

Первый вечер дома прошел, однако, очень оживленно и даже весело: Ася за чаем щебетала без умолку и была очаровательна, нисколько не меньше, чем в деревне; Наталья Павловна и мадам были с ним очень ласковы, и он чувствовал себя все таким же счастливым.

В шесть утра, когда он стал одеваться, Ася пошевелилась и открыла глаза.

— Дай мне мой халатик, я приготовлю тебе завтрак, — сонным голосом отозвалась она.

Он стал убеждать ее, что все сделает сам, а она пусть сладко спит до восьми и пьет кофе, как прежде, с бабушкой и мадам. Педантичная заботливость оказалась не в характере Аси: не возражая, она потянулась, улыбнулась и с самым безмятежным видом закинула руки за голову, тотчас же забыв про завтрак. Он стал покрывать поцелуями эти плечи и локотки и в первое же свое деловое утро убежал, не позавтракав.

По-видимому, он еще находился до сих пор во власти благоприятного течения: на работе все складывалось благополучно, Моисей Гершелевич встретил его милой начальственной улыбкой, сослуживцы приветствовали, видимо, довольные его возвращением; дела было много, но дела он не боялся — знаний и способностей в области языков у него было больше, чем требовалось, и он опять стал успокаиваться.

Однажды вечером Олег решился рассказать Асе о своей матери. Ася сидела у него на коленях и слушала, не пропуская ни единого слова.

— ...Это было такое больное место в моей душе, которое никогда не заживало. Только теперь, когда в мою жизнь вошла ты и принесла мне столько тепла и света, боль эта начала затихать. Наша особенная нежность завязалась у меня с мамой еще в детстве во время японской войны. Отец был тогда в армии, брат — в корпусе; мы проводили зиму в имении — мама не хотела выезжать в свет одна. Когда пришло известие, что отец ранен, вокруг были только слуги, и они боялись сообщить маме, поскольку в это время она была в положении. Помню, я ждал выхода мамы к утреннему кофе, стоял около своего места, как это было принято при отце, и думал, как бы мама не догадалась о чем-нибудь по моему виду И в самом деле, она, едва только вошла, целуя меня, спросила: «Ты плакал?» Тогда я сказал, что сломал свой новый заводной поезд. Мама сказала: «Сбегай и принеси; посмотрим вместе». И мне в моей детской пришлось раздавить любимую игрушку дверью! В своей наивности я, по-видимому, воображал, что горе может совсем миновать маму. Но вечером она уже все знала; она пришла ко мне в детскую и села на край кровати: «Олег, проснись, помоги мне, я не перенесу одна! Папа умирает, может быть, за тысячи верст от меня!» С этого времени я почти не отходил от мамы: мы гуляли, читали, сидели у камина вместе, я совсем забросил свои игрушки, мама даже спать меня укладывала в своей спальне на кушетке. Так длилось около года, возвращение отца переменило все: он заявил, что за время его отсутствия я стал изнежен и впечатлителен, как девчонка, и все мое воспитание надо в корне изменить. В один из первых же дней после его возвращения я, бегая в саду, расшиб себе колено и прибежал к маме за утешением; увидев меня в слезах, отец сказал: «Через год ты должен стать кадетом, а ты похож на слезливую девчонку! Чтобы я больше не видел твоих слез!» На другой день к веранде подвели пони, чтобы учить меня верховой езде; я неосторожно быстро подошел к нему, и он лягнул меня, да так, что сбил с ног. Мать и адъютант отца бросились ко мне с веранды, но я думал только о том, что отец смотрит на меня, и повторял: «Я не плачу, я не плачу» — и удивлялся, что меня окружили и тревожно расспрашивают. О, да — он был строг и сумел закалить во мне и здоровье и волю! Он не прощал ни одного промаха ни в манерах, ни в учении; было время — я пребывал в убеждении, что отец не любит меня, и, только став офицером, оценил наконец его заботу. Если у нас с тобой когда-нибудь будет сын, я знаю, как его воспитывать.

Он в первый раз заговорил с ней о будущем ребенке и промолвил эти слова с глубокой нежностью, взяв ее ручку в свою. Ася молчала, притаившись, как мышка.

Между тем, окружающие часто затрагивали эту тему и сходились в мнении, что Асе не нужно спешить с ребенком.

А Наталья Павловна возражала:

— Я не вмешиваюсь. Пусть будет так, как они хотят сами. Я лично нахожу, что присутствие маленького существа даже в самых неблагоприятных условиях украшает жизнь. Жаль было бы лишить Асю радостей материнства.

Младший ребенок «потомственного пролетария» — Павлютка — был всегда бледен до синевы; череп у него был неправильной, несколько удлиненной формы, с низким лбом, уши торчали в разные стороны, а в карих глазах, смотревших несколько исподлобья, застыли обида и огорчение. Этот наивный взгляд побитого щенка продолжал тревожить сердце Аси. В одно утро, прислушиваясь в паузах между разучиванием фуги к тому, как он упорно и жалобно скулит, она не утерпела и, захлопнув крышку рояля, побежала в «пролетарскую» комнату: она знала, что ребенок один.

— Что ты все плачешь, Павлик, или Эдька опять обидел? — и голос ее прозвучал глубокой нежностью.

Выяснив, что «мамка ушла, а кушать не оставила», Ася тотчас принесла чашку киселя и сухарики, мастерски приготовленные мадам в честь кандидата на русский престол,— так она с некоторых пор именовала Олега. Ася полагала, что это останется никому не известным, но не тут-то было! За чаем Наталья Павловна попросила подать ей любимую ложечку; Ася и мадам метнулись к буфету — ложки не оказалось: тут только Ася спохватилась, что снесла ее с киселем ребенку. Красная, как рак, предчувствуя, что ей попадет, она бросилась опять к «пролетарской» комнате.

— Извините, Бога ради, за беспокойство! Я угощала сегодня утром киселем вашего мальчика и оставила у вас кружечку и ложку; позвольте мне взять их,— робко сказала она.

— Как же, как же, видали, благодарим. Вот я намыла вашу кружечку, берите! — и круглолицая Хрычко просунула Асе в дверь кружку.

— Была еще ложечка серебряная, бабушкина, с надписью «Natalie»...

— Ложки что-то не видала... Да точно ли была-то? Может, вы и забрали уж, да запамятовали?

Ася почуяла, что дело плохо.

— Простите, я совершенно точно знаю, что ложечка здесь. Поищите, пожалуйста. Ведь ты ее видел, Павлик?

— Едька ложечку забрал; я ему говорю «не тронь», а он мне язык показал да вышел.

Реакция Хрычко на это сенсационное сообщение была самая непредвиденная:

— Ловок ты на брата наговаривать, мерзавец мальчишка! Так уж ты небось и видел, как он ее в карман сунул? Язык попусту чешешь, а люди слушают! Вам, гражданка, незачем было и соваться сюда с вашими киселями да ложками. Одни только неприятности нам через это.

Ася медлила на пороге, не зная, что сказать. К ужасу ее, из глубины пролетарского логова послышалось в эту минуту грозное рычание:

— Чего там? Какие еще ложки? Мой сын с голоду не околевает. Закройте дверь и не суйтесь! — На пороге показался сам Хрычко, но жена живо втолкнула его обратно, увидев приближавшегося Олега.

— Пошел, пошел, ложись! Не связывайся! Оставьте его, гражданин: выпил ведь он, потому и куражится. С пьяного-то что спрашивать?

— Я в драку вступать не собираюсь: можете не тревожиться за целость вашего супруга,— насмешливо бросил ей Олег и повлек Асю обратно к чайному столу, где предоставил гневу Натальи Павловны. Оправдываясь перед бабушкой, она робко оглядывалась в сторону мужа, но взгляд его глаз не обещал ей помощи.

— Ты дождалась, что хамы выгнали тебя из комнаты, и провоцировала их ссору с Олегом Андреевичем, а между тем, ты отлично знаешь, сколько зла приносит теперь нашему кругу внутриквартирная вражда: иметь в лице соседа врага — значит, постоянно опасаться доноса. Олег Андреевич, о ложке более ни слова. Я ни в каком случае не хочу обострять отношений,— говорила Наталья Павловна.— Неужели этот слюнявый мальчишка дороже тебе моего спокойствия, Ася?

— C'est donc un prolétaire, un troglodyte![5] — повторяла мадам, в ужасе вращая круглыми черными глазами.

— В этом ребенке что-то вырожденческое! Во мне он вызывает только брезгливость,— ввернул Олег. Ася внезапно вспыхнула:

— Слышать не могу! Когда мы с тобой были детьми, нас окружало все, что только было лучшего! Нам стать noble[6] было легко, а этот ребенок видит одну грубость, и никто, кроме меня, его даже не пожалеет. Брезгливость по отношению к пятилетнему малютке возмутительна!

Олегу пришлось убедиться, что помириться с ней не так-то легко; они допивали чай втроем, а когда он вошел в спальню, то нашел ее уже свернувшейся калачиком в постели — она не сделала ни одного движения в его сторону, как будто бы не видела его.

— Довольно сердиться. Помиримся. Дай мне свою лапку,— сказал он, садясь на край кровати и с нежностью глядя на ее белье и полосатую блузку, повешенные на стуле и вверенные на сохранение плюшевому мишке, который сидел тут же с глупо вытаращенными глазами.

Ася не шевелилась.

— Лапку.

Но она ушла с головой под одеяло, как в норку, и он не дождался от нее более ни слова.

Утром он попытался завязать дипломатические переговоры, но опять тщетно, а так как времени было в обрез, то пришлось уйти, не примирившись.

Посередине своего служебного дня он вошел с бумагами в кабинет шефа и увидел пожилую даму в трауре, которая стояла около стола Моисея Гершелевича, прижимая платок к глазам.

Что-то небрежное, недостаточно почтительное было в той манере, с которой выслушивал ее старый еврей, развалясь в своем кресле. Это сразу бросилось Олегу в глаза, как и то, что незнакомая дама, безусловно, принадлежала к хорошему кругу. Увидев Олега, Моисей Гершелевич тотчас перебил незнакомку:

— Уже перевели частично? Имейте в виду, что без этой инструкции нам не закончить прием оборудования, так как мы не можем подвергнуть механизм испытанию. Покажите.

Но Олег не протянул бумаг.

— Я могу подождать, пока вы закончите ваш разговор, Моисей Гершелевич. Не беспокойтесь.

Еврей тотчас принял повелительный тон.

— Мы не в гостиной, товарищ Казаринов. Дело прежде всего! Давайте сюда перевод и садитесь. А вас попрошу подождать,— последние слова, сопровождаемые небрежным кивком головы, относились к даме в трауре. Олег сел, досадуя на очередное, постоянно им наблюдаемое отсутствие вежливого обращения.

Несколько позже, проходя по двору учреждения, он опять увидел эту же даму, которая направлялась к проходной. Группа инженеров и Моисей Гершелевич стояли тут же и, хотя она шла мимо них, никто ей не поклонился, а между тем ее, по-видимому, знали.

— Скажите, пожалуйста, кто это? — спросил Олег одного из этой группы.

— Супруга бывшего начальника отделения. Он, видите ли, был арестован по обвинению во вредительстве,— и тут инженер понизил голос,— обвинение это, кажется, не подтвердилось; по крайней мере, кое-кто был по этому делу выпущен, а он вот скончался прежде завершения следствия — не осужден и не оправдан; вдове разрешили взять его тело из тюремной больницы, и она пришла просить, чтобы местком помог ей в этом деле. Наивная женщина!

— Да почему же наивная?

— Помилуйте! Да разве местком пойдет на это? Разумеется, местком отказал; она — к администрации; Рабинович тоже отказал; она к одному, к другому. Ко мне тоже обращалась: не приду ли я помочь ей доставить тело из морга в церковь. Разве я могу пойти на это? Ведь человек был скомпрометирован! Позвольте, Казаринов, вы словно удивляетесь! Да ведь меня тотчас же возьмут «на карандаш», а то так в стенгазете продернут!

— Но вы, очевидно, бывали же в его доме, если вдова решилась обратиться к вам?

— Бывать — бывал, и не я один! Новый год, помню, у них всей нашей компанией встречали; там слоеные пирожки такие водились, что пальчики оближешь! Бывал, как же!.. Но при других обстоятельствах! Что ж я — враг сам себе, что ли? Ведь у меня семья!

Олег отвернулся и быстро пошел вслед удалявшейся даме. Настиг ее у самой проходной.

— Мадам! — проговорил он, поднося руку к фуражке.— Я к вашим услугам: располагайте мной, как находите нужным!

Удивление мелькнуло на измученном лице:

— Простите, я вас не знаю! Вы, кажется, никогда не бывали у Семена Ивановича?

— Так точно. Я еще недавно работаю и не имел чести знать вашего супруга; однако это ничего не значит: готов служить вам — приказывайте!

— Вы, очевидно, не знаете обстоятельств дела и потому так говорите! Мой муж был привлечен по пятьдесят восьмой и скончался в тюремной больнице. Я совершенно одинока и просила помочь мне взять его тело; эта миссия настолько неприятная... притом она может скомпрометировать вас: при входе на территорию больницы надо предъявлять удостоверение личности...

— К вашим услугам,— перебил Олег,— куда я должен явиться?

---

[5] Это же пролетарий, пещерный человек! *(франц.)*.
[6] благородными *(франц.)*.

Только в 11 вечера он вернулся домой; навстречу вниз по лестнице вихрем сбежала Ася и бросилась ему на шею.

— Наконец-то! Я беспокоюсь, жду! Караулю на лестнице! Куда ты делся?

— Да ведь я же говорил по телефону с мадам и просил передать...

— Она передала, что ты опоздаешь, но так надолго! Я уже стала думать, что ты рассердился и не идешь нарочно, чтобы наказать свою бедную кису.

Он вошел и устало опустился на стул.

— Иди, мойся. А я побегу греть обед,— сказала Ася.

— Спасибо, я не хочу есть.

Она быстро и зорко взглянула на него:

— Что с тобой? Ты огорчен чем-нибудь? Я знаю, что была злюка и виновата, прости, что спряталась... ты тоже был виноват немножко.

Два больших глаза блеснули около его лица; он уже не видел ее, а только эти два глаза.

— Сейчас пошли золотистые теплые лучики из меня в тебя и обратно, а значит, всякая обида тает. Говори же, что случилось на службе. Я все равно знаю, что было что-то... Милый, милый, никогда не пробуй скрывать от меня что-нибудь—у меня очень хороший нюх: я догадаюсь все равно!

На следующий день они возвращались вдвоем от «дамы в трауре», которую пошли навестить после похорон. Ася шла молча и не подымала головы. Полагая, что она находится под впечатлением чужого горя, Олег попытался развлечь ее разговором, но она сказала:

— Мне сегодня с утра что-то нездоровится: у меня такое чувство, как бывает на корабле; мутит и голова кружится.

— Ты говорила бабушке? — тревожно спросил он.

— Нет, не стоит ее беспокоить — пройдет.

— Хочешь, я возьму такси, чтобы скорей быть дома?

— Нет, не надо. Приятно пройтись. Я люблю первый снежок.

Утром, уходя на службу, он спросил ее, как она себя чувствует, и она призналась, что, как только зашевелилась и подняла голову, тошнота возобновилась.

В столовой Олег, против обыкновения, увидел обеих дам и накрытый стол: оказалось, что Наталья Павловна собралась к обедне. Глотая наскоро чай, он стал им говорить о нездоровье Аси и увидел, что они переглянулись, а француженка заулыбалась и погрозила ему пальцем. Только тут внезапная догадка осенила его.

— Да разве это так начинается? — спросил он, ставя стакан.

— Может быть, и не то,— сказала Наталья Павловна,— во всяком случае, за здоровье ее страшиться особенно нечего: она молода, здорова и переносить, по всей вероятности, будет прекрасно.

Ася удивилась, когда Олег опять ворвался к ней и, покрыв поцелуями ее руки к великому негодованию щенка, уже пристроившегося в кровать, так же стремительно умчался. Как бы рано Олег ни подымался, он всегда оказывался перед угрозой опоздания и приходилось гоняться за автобусами и прыгать на подножки трамваев.

В середине дня, закончив деловой разговор, Моисей Гершелевич сказал ему:

— Подождите уходить, Казаринов; мне необходимо переговорить с вами еще по одному поводу.

— Слушаюсь,— ответил Олег, садясь на подоконник, и тотчас его охватила уверенность, что это и будет тот разговор, которого весь день ждали его обостренные нервы.

Отпустив двух служащих, ожидавших его подписи, Моисей Гершелевич указал Олегу на кожаное кресло около своего стола и несколько минут молчал. Пытливо всматриваясь в черты еврея, Олег видел, как обычное, деловое и несколько самоуверенное выражение его лица заменялось более мягким и становилось симпатичным.

— Послушайте, Олег Андреевич, ну, скажите мне, друг мой, отчего это вы себя так не бережете, а? Ведь я принял вас, несмотря на очень веские доводы, говорившие против вас; я пошел на риск и мог, казалось, ожидать, что, не желая подвести ни себя, ни меня, вы должным образом будете взвешивать каждое слово и каждый шаг. А между тем, в то время, как я всячески стараюсь создать вам репутацию и незаменимого работника, и советского, своего, проверенного человека, вы с непостижимым легкомыслием вредите себе на каждом шагу — не берусь сказать, сознательно или нет. Продолжая так, вы доведете до того, что я вынужден буду перестать заступаться за вас — не враг самому себе и я.

Этих слов оказалось довольно, чтобы в Олеге всколыхнулась желчь.

— Чрезвычайно благодарен вам за все, что вы для меня сделали, Моисей Гершелевич, но в чем же вы усматриваете мое легкомыслие?

Голос его прозвучал жестко, и на лицо легла тень.

— За примерами недалеко ходить. Например, в понедельник, по отношению к жене заключенного... а еще раньше, весной, что-то по поводу религиозного обряда... Ведь это бравада, вызов окружающим! Я не имею права разглашать, но из сочувствия к вам не скрою: о вас был весной запрос из Большого дома. Я дал блестящую характеристику, против которой наш парторг возражал, что она раздута и явно пристрастна; однако я настоял. Ваша личность возбуждает постоянные пересуды и в отделе кадров, и в парткоме. Попрошу несколько изменить линию поведения. Сегодня у нас общее собрание: повсеместно проходят бурные митинги, приветствующие смертный приговор этой группе вредителей; хорошо было бы и вам высказаться с трибуны, приветствуя мероприятие, чтобы ни в ком не осталось сомнений по поводу ваших идейных позиций. Во всяком случае, на вашем присутствии я настаиваю категорически: за вами будут наблюдать — поймите.

Олег со злостью посмотрел на эту сытую, холеную фигуру.

«Еще недавно Россия была моя Родина — не твоя! — подумал он.— Ты здесь был ничто! И вот скоро, так скоро изменилось все! Теперь — в СССР — у себя дома — ты, а я — лишенец, каторжник, не смеющий назвать своего имени! А между тем, когда Россия была в опасности, ты сидел в спокойном теплом местечке, в то время как меня, истекающего кровью, нес на руках денщик. И вот теперь ты мне предписываешь свои требования».

Он чувствовал, что ненависть просвечивает в его лице и вот-вот прорвется непоправимым словом... Он сделал над собой усилие и сказал спокойно:

— Моисей Гершелевич! За ту зарплату, которую я получаю, вам принадлежат мои знания, моя энергия, мое время, но не моя совесть! Есть вопросы, в которых я оставляю за собой право поступать, как сам нахожу нужным.

Он встал, холодно поклонился и вышел.

— Антисемит... несмотря на все! — сказал себе старый еврей.

Огромная, плохо освещенная зала кишела массой служащих; Олег сумрачно уселся в дальнем углу и, вынув блокнот, стал набрасывать черновик порученного ему текста. Выбирали президиум, и скоро на трибуну поднялся пышущий самоуверенным величием Моисей Гершелевич, за ним два-три рабочих и широкая, как масленица, физиономия завхоза.

«Всегда одни и те же!» — с досадой подумал Олег и снова уткнулся в блокнот.

«J'ai l'honneur de vous informer, nous fondons l'espoir d'une reprise rapide de votre service» [7], — писал он быстро.

[7] Имею честь сообщить, что у нас есть возможность для быстрого оказания Вам помощи (*франц.*).

— Товарищи! Разрешите считать открытым наше собрание, посвященное обсуждению приговора над группой вредителей,— услышал Олег голос председателя; он поднял голову. Конечно, это лишь гнусная комедия: с приговором все уже решено, а может быть, он и в исполнение давно приведен. Открытое голосование по одобрению смертного приговора — небывалый трюк, неслыханный до сих пор в истории.

Один за другим брали слово и подымались на трибуну.

— Товарищи, я уверен, что выражу чувство всех, находящихся в этой зале, если скажу, что среди нас нет ни одного, который бы не пылал ненавистью к врагам партии и товарища Сталина — белогвардейцам, меньшевикам и прочей сволочи...

Олег взглянул на говорившего, и быстрая усмешка скользнула по его губам. Мели Емеля, твоя неделя! Выучился бы только прежде по-русски прилично разговаривать! И он опять углубился в французские фразы.

Внезапно его слух поразила его собственная фамилия, громко произнесенная с трибуны, правда, не настоящая, а фальшивая, однако же неотъемлемо с ним связанная. Он опять насторожился:

— ...Казаринов и другие, которые не спешат войти в нашу рабочую среду, товарищи! С важной наглостью они даже подчеркивают свою обособленность и, работая уже не первый месяц, а вот, как товарищ Казаринов, например, уже без малого год, не спешат подавать в союз, чтобы стать его членами. А может быть и то, товарищи, что они не уверены, захотим ли мы принять их в свою рабочую семью, так как прошлое их не очень чисто, товарищи! Поэтому в день, когда товарищ Сталин призывает нас всех сплотиться вокруг партии и бдительно блюсти единство в наших рядах, не худо бы и нам выявить эту самую бдительность и запросить нашу администрацию, известно ли ей, какие темные личности прокрадываются в наши штаты...

Олег отыскал глазами Рабиновича: сидя в президиуме с выражением важного достоинства и сознания серьезности происходящего, тот смотрел на свои руки, разложенные на столе, и не только угадать, но заподозрить по его виду подлинных его мыслей Олегу показалось невозможным.

Однако, когда вдохновенный оратор смолк, Рабинович попросил слова. Его бархатный баритон начал нанизывать фразы так свободно и небрежно, точно для него не существовало разницы между высказываниями с трибуны и обычным разговором в его отделанном кожей кабинете; чувствовалась давняя, верная привычка. Он преклонился перед генеральной линией партии, далее отдал дань «высокосознательному» выступлению своего предшественника и только тогда перешел к пункту, который для него был, очевидно, важнее прочих:

— Товарищи, наш предместком в своей пламенной речи лягнул нас — администраторов и, возможно, небезосновательно. Я только хочу внести ясность в один пункт: в настоящее время, товарищи, у нас очень остро обстоит дело с кадрами специалистов, без которых нам не обойтись там, где требуются большие углубленные знания. Специалисты нужны нашей молодой республике для построения социализма. Я не сомневаюсь, что в очень скором времени наша страна будет иметь собственные кадры, заботливо выращенные нашей партией из среды нашей комсомольской молодежи — плоть от плоти рабочего класса, но в данный момент, товарищи, мы еще не имеем таких кадров. Это — факт, с которым необходимо считаться. «Кадры решают все»,— сказал товарищ Сталин. Исходя из этого, партия предоставила нам — администраторам — неотъемлемое право подбирать себе любого работника, лишь бы он подходил по уровню своих знаний, и, разумеется, в том случае, когда биржа труда не может удовлетворить наших запросов. Ведь приглашаем же мы к себе иностранных специалистов, хотя в большинстве случаев они представляют собой далеко не дружественный нам элемент. У нас есть верный страж — наше гепеу, которое неусыпно и зорко следит, чтобы не вкралось вредительство; каждый человек, принятый нами, заполняет в отделе кадров анкету и проверяется органами гепеу; а раз так — не я отвечаю за классовые особенности тех или иных лиц, допущенных к работе. Здесь называлось несколько имен... например... ну, например, товарищ Казаринов: это очень толковый работник и пока незаменимый специалист в области языков. Всем известно, что он был репрессирован, и он не скрывает этого; однако гепеу нашло-таки возможным разрешить ему пребывание в Ленинграде и не лишило права работы. И если я не имею до сих пор равного ему специалиста и с ведома органов политуправления пользуюсь его услугами, я ни в какой мере не могу подвергаться упрекам по этому поводу. Дайте мне человека из вашей рабочей среды, товарищи, человека, который бы владел французским, немецким и английским языками и одновременно разбирался в шведских текстах,— я с радостью приму его вместо Казаринова! Только дайте мне такого человека! Вы можете сами решить, товарищи, желаете ли вы принять Казаринова в союз, и на собрании месткома каждый из вас вправе задать товарищу Казаринову любой вопрос касательно его прошлого. Я сам за бдительность! Но сейчас у нас не собрание месткома, товарищи,— мы очень далеко отклонились от повестки дня! — И так далее, и так далее говорил и нанизывал бархатный баритон.

Клеймили, порицали, приветствовали и, наконец, благодаря родную партию за высокое доверие, приступили к голосованию.

— Кто за смертный приговор? — грозно запросил с трибуны завхоз.— Товарищи, кто «за»? Подымайте же руки!

После минутной заминки поднялся лес рук; подняло несомненное большинство, но все-таки не все. Олег видел со своего места Моисея Гершелевича, который стоял, высоко подняв короткую руку, с лицом, выражающим пламенный гнев, и смотрел в залу, точно отыскивая кого-то глазами...

Олег заложил руки за спину. Один из считавших голоса приблизился, переходя от ряда к ряду; Олег бросил на пол свой портсигар и наклонился, делая вид, что поглощен разыскиванием.

— Кто против, товарищи?

— Таковых нет.

— Кто воздержался?

— Таковых нет.

— Принято единогласно.

Олег выпрямился. Он чувствовал себя подлецом, как если бы проголосовал «за». Трюк с портсигаром... Он, князь Дашков, должен был проголосовать «против».

Собрание объявили оконченным, и публика стала расходиться.

Один из пожилых инженеров, спускаясь рядом с Дашковым по лестнице, сказал:

— И вы, Казаринов, нежданно-негаданно в темные личности попали? У нас клеймить человека может совершенно безнаказанно каждый, кому взбредет на ум.

Олег промолчал. У него было такое чувство, будто он только что проглотил жабу.

Дома он застал Асю сидящей на скамеечке у камина. В сердце у него защемило: «Все это ради нее...»

Глава седьмая

В эти же дни в одной из больниц произошло совершенно необыкновенное событие: на общем собрании, после всеобщего бурного одобрения смертного приговора, на вопрос «кто против» поднялась рука — рука в белом медицинском халате, худенькая и смуглая женская рука. Все были поражены; в президиуме вполголоса обменивались мнениями по поводу неслыханной дерзости и, наконец, председательствующая на

собрании — коммунистка, заведующая кабинетом массажа — возгласила:

— Мы попросим медсестру Муромцеву изложить нам сейчас с трибуны те мотивы, которые руководили ею.

Елочка встала и, сжав губы, с достоинством поднялась на эстраду; необходимость говорить перед аудиторией пугала ее гораздо больше, чем последствия оппозиции, на которую она отважилась. Но, сжимаясь внутренне, она не терялась.

— Я не обязана отчитываться перед вами, но, так как скрывать мне нечего, я скажу! Я вообще категорически, принципиально против смертной казни. Жизнь слишком драгоценна, а смерть непоправима. Как бы ни был человек вреден, его всегда можно поставить в такие условия, что он не сможет нанести вреда ни другому человеку, ни стране. Но убивать — жестокость непростительная! Это ведь не моя мысль: сколько людей высказывали ее издавна! Если бы я была сейчас в капиталистическом обществе, где собирались бы казнить коммуниста, я бы сказала то же самое — нет, с человеком нельзя так поступать! — И с пылающими щеками сошла с эстрады; ее провожали глазами; несколько минут стояла тишина — выступление произвело впечатление. Одна санитарка всхлипнула и утерлась концом косынки, в заднем углу кто-то зааплодировал было и растерянно смолк. Члены президиума тихо переговаривались между собой.

— Обсудить в райкоме... да, да... я доложу и попрошу инструктировать... Да. Ну, как же можно на себя брать! Вынести порицание легко, а потом нам заявят, что мы не учли обстановку и взбудоражили общественное мнение... Ни в коем случае!

Один из президиума встал и громко возгласил:

— Кто еще желает высказаться, товарищи!

И собрание пошло своим чередом со всей обычной рутиной.

На другой день председательствующая в компании с одним из членов месткома совещалась по этому делу с секретарем райкома; тот взял девушку под свою защиту и вовсе ополчился против них: они допустили несколько оплошностей одну за другой! Прежде всего: выступление не было предварительно согласовано с месткомом — сколько раз уже он рекомендовал им договариваться и заносить на бумажку основные тезисы, которых обещает придерживаться получающий слово; давать же слово без предварительной договоренности можно лишь проверенным постоянным ораторам, так сказать, «своим в доску», остальным всегда можно отказать за недостатком времени. Тема была исключительно важна, а они сами принудили высказаться человека, ни разу до сих пор не выступавшего публично! Это было весьма недальновидно. И, наконец, собраний по кабинетам, собраний, имеющих целью обрабатать общественное мнение, предварительно проведено не было! Почему так? Девушку трогать нельзя — это произведет слишком неблагоприятное впечатление, тем более, если она в самом деле весьма уважаема; напротив — хорошо бы ее премировать, выделить и, так сказать, приручить, с тем чтобы в ближайшее же время подготовить новое выступление с ее стороны, подвергнутое предварительной обработке. Ею вообще следует заняться — по-видимому, она представляет собой весьма ценный материал, из которого куются общественные работники, и они пропустили незамеченным такого человека! Все это секретарь райкома ставил им на вид и, заканчивая разговор, просил поставить его в известность, когда состоится следующее общее собрание, которое он желает посетить, чтобы лично убедиться, в каком, так сказать, стиле протекают у них эти собрания. Члены президиума удалились весьма сконфуженные.

Елочка шла с собрания домой с горевшими щеками и тревожно колотившимся сердцем. Что, если придут арестовывать и в их руки попадет ее дневник — ведь там упоминается его имя, намеки на его прошлое... нетрудно будет установить, о ком идет речь... Погубить его

теперь, когда он, наконец, счастлив... немыслимо! Сжечь дневник? Но это значит — и свое сердце, которое на дне этих строк. Сжечь единственного друга. Нет. Надо спрятать на некоторое время. А вдруг они уже там?

Увидев такси, она подозвала его и через пять минут уже вбежала в квартиру — все спокойно! Прошмыгнула к себе и схватила дневник: шесть толстых клеенчатых тетрадей! Куда их деть? Она присела на стул, обводя глазами комнату. Придумала — снесла в дровяной сарай, благо ключ только у нее. Тетради заложила в дрова.

Выполнив задуманное со всеми предосторожностями, она несколько успокоилась, но все-таки не спала ночь, тревожно прислушиваясь. Лагерь! Всегда на людях, все время под конвоем! Непосильный труд, голод, издевки! Когда подошло так близко — делается страшно! Она больше всего ценила всегда тишину и одиночество... «Но ведь страдал же он и тысячи других! Почему мой жребий должен быть лучше?..»

На следующий день было воскресенье, по обычаю она обедала у своего дяди. Не слишком любила она эти обеды. Тетка была холодная и несколько чопорная дама; разговор шел обычно принужденный; но это был единственный родственный ей дом, в котором родными казались даже темно-ореховые строгие стулья, мрачный буфет и обеденный стол, даже кружево у горла тетки. Сам дядя — Владимир Иванович — вызывал в ней чувство не столько любви, сколько уважения и родственного тщеславия. Ей нравились его офицерская осанка, ореол незаменимого специалиста, которым он был окружен в больнице, и повелительная манера разговора на операциях, когда в перчатках и в маске он отдавал короткие отрывистые приказания ей и окружающим его ассистентам. Неуклюжие молодые врачи, похожие больше на фельдшеров, составляли фон, на котором он так выгодно выделялся.

С дядей ее связывали воспоминания о Белой армии и Крымской трагедии; и только она знала, до какой степени непримиримо он был до сих пор настроен в отношении «красных». Он оперировал когда-то Олега и, быть может, подозревал частицу ее тайны, хотя никогда ни одним словом не касался этой темы. Она шла и думала: рассказать ему о случившемся или умолчать? Старая домработница из прислуг царского времени приветливо закивала ей, открыв тяжелую дверь. Елочка любила эту женщину, которая частенько совала ей пирожки и булочки собственного изготовления, чтобы она могла полакомиться ими дома. Войдя в столовую, где уже был накрыт стол и стояли аппетитные закуски, Елочка увидела тетку, которая тотчас зашептала ей:

— У нас неприятности, Елочка! Очень большие неприятности! Боюсь загадывать, чем это кончится! Они попросили у нас чернила и бумагу и написали донос на нас же!

Вышедший в эту минуту из соседней комнаты Владимир Иванович поцеловал ее, по обыкновению, в лоб и сказал:

— Сядь и выслушай.

Донесли соседи по квартире — хирург и его жена не сомневались в этом.

Прежняя большая квартира Муромцевых давно уже была превращена в коммунальную, но две комнаты еще оставались за ними и составляли предмет зависти. Столяр с женой и рабочий-путиловец, занимавшие меньшую площадь, уже несколько раз грозились, что «упекут» старого буржуя, и вот на днях сфабриковали донос, сообщая, что Муромцев «терпеть не может советскую власть и завешан портретами Николая II»; они отправились в больницу и заявили о том же в месткоме, а между тем, незадолго до этого назначенный к Муромцеву в ассистенты молодой врач Кадыр счел нужным сигнализировать туда же, что Муромцев заядлый расист, который терпеть не может нацменьшинства, строит ему всевозможные придирки, а себя старается окружить только русскими, выбирая их из штатов прежней царской армии — бывшую сестру милосердия, свою племянницу, и бывшего военфельдшера, кото-

рого до сих пор будто бы заставляет вытягиваться перед собой. Этого оказалось достаточно, чтобы местком заварил кашу. Завтра дело это должно разбираться на расширенном собрании месткома — в присутствии администрации, и он обязан явиться со всем штатом своей операционной. Елочка только тут поняла, как некстати было ее выступление! В течение всего обеда обсуждали и перетолковывали варианты нападок, приготавливаясь к защите.

На следующий день после окончания работы явились в помещение месткома на разбор дела.

В белом халате и косыночке, закусив губы и сжав сложенные на коленях руки, Елочка сосредоточенно вслушивалась в ту паутину, которой старательно опутывали старого хирурга. Три главных противника — предместком товарищ Иванов со своей тупой плоской физиономией, злобный киргиз Кадыр и маленький местечковый еврейчик Айзюкович изощрялись, как только могли, в ехидных вопросах.

— А вот расскажите-ка нам, товарищ старший хирург, как вы там, в Белой армии у черного барона, всем вашим операционным штатом спасали царское офицерьё.

— Спасал. Я — врач и целовал крест, кончая Академию, что никогда ни одному человеку не откажу в помощи. Я эту работу продолжаю и теперь, и какая бы власть ни была — останусь при ней. Тут говорили про портреты Николая Второго, я знаю, от кого это исходит: мой сосед — столяр — видел у меня монографию Серова, в которой есть портрет государя-императора. Уж не должен ли был я вырвать его и тем испортить издание?

— А отчего вы никогда общих собраний не посещаете? Как-то это не по-советски выходит.

— Не хочу: я привык делом заниматься, а не язык чесать. Вы на этих собраниях из пустого в порожнее переливаете, а мне это не интересно. Мне время слишком драгоценно.

— Вот говорят о вас, что вы не любите слова «товарищ» и никогда не произносите его. Тоже очень показательно! Советскому человеку это слово дорого.

— А я не советский человек. Мне шестьдесят пять лет: пятьдесят лет моей жизни приходятся на Царскую Россию; у меня сложились определенные привычки, и я не намерен ломать себя в угоду вам. Советское государство нимало не пострадает, если я назову мою санитарку Пашей, а не «товарищем». Наша почтенная Пелагея Петровна, во всяком случае, на это не жалуется.

— А правда ли, что санитар Михаил Иванович эксплуатируется вами на дому и до сих пор вытягивается перед вами в струнку, именуя «высокоблагородием»?

— Чепуха! «Высокоблагородием» никогда не называет, а выправка военная у Михаила Ивановича останется до последнего дня жизни, как и у меня,— это не забывается у старых служак.

— Штат-то вы себе подбираете всё из царской армии — своими людьми себя окружать желаете, а человеку, которого к вам назначила парторганизация, с вами житья нет!

— Этот человек не годится в хирурги. Я сам видел однажды, как он уже приготовленными к операции руками почесал себе нос, а после поднял их и держал как стерильные. Я сначала не показал виду, что заметил, и он уж готов был начать оперировать, если бы я не устроил скандал. Это — нарушение хирургической этики, неслыханное в нашей практике, это — преступление! Моя врачебная совесть не разрешает мне допускать такого человека к операционному столу. Другой раз я сам увидел на нем клопа; в таком виде не являются в операционную — надо сначала вырасти в культурном отношении. Мне все равно, кто он — русский, еврей или киргиз — я бы и русского так же осадил. Было ведь, что я забраковал товарища Синявина, которого вы так же опрометчиво подсунули мне в ассистенты. С врачами-евреями я всегда великолепно ладил — ваше обвинение в расизме не имеет под собой почвы. А что касается племянницы — мы с ней сработались, как и с Михаилом Ивановичем. На операциях она понимает меня с полуслова; она безошибочно угадывает, какой по ходу операции требуется инструмент, и протягивает мне его, не дожидаясь просьбы; вы — профаны в этом деле и не понимаете, сколько значат в нашем деле секунды, когда человек лежит под хлороформом и я слышу от врача-наркотизатора, что пульс слабеет! С Елизаветой Георгиевной мы довели до минимума процент послеоперационных нагноений. Ни с кем мне уже не наладить так работу! Дело не в родственной опеке — в другой операционной ей было бы и спокойней и выгодней: я требователен и строг; я ни разу не отметил ее в приказе ни премией, ни благодарностью, которую она, безусловно, заслуживает огромной добросовестной работой,— я боялся обвинений в родственном пристрастии — я знал, что вы сейчас же готовы загалдеть и заулюлюкать. А между тем мне хорошо известно, как заискивают хирурги перед операционными сестрами. Я уже стар, чтобы привыкать к новому человеку в такие невероятно ответственные минуты — я работать могу только с ней. А впрочем, вы, с вашими деревянными нервами, разве можете понять хоть что-нибудь?

Елочка в первый раз слушала оценку себе из уст своего дяди, и радостная гордость зажгла румянцем ее щеки. На еврейчика речь старого хирурга, по-видимому, произвела впечатление — он завертелся на месте и заговорил уже гораздо мягче, забавно разводя руками:

— Да вы не волнуйтесь, товарищ хирург! Берегите свое здоровье! Вы этак сердце себе уходите. Мы умение ваше очень даже ценим, мы еще с вами договоримся, и все будут нам завидовать.

Но двое других не столь склонны были к уступкам.

— Товарищи, взвесьте, что мы имеем на сегодняшний день в доверенном нам партией учреждении,— заговорил, подымаясь, предместком,— мы имеем ячейку царской армии, которая образовала содружество, не допуская в него посторонних. На собраниях они не бывают, профорга между ними нет, сборщиков мопра и союза и рабочий контроль хирург из операционной прогоняет — не стесняясь, заявляет: «Вон с моей территории». В соцсоревновании они не участвуют. Недопустимое в советской жизни явление! Конечно, без специалистов царского времени нам еще лет десять-пятнадцать не обойтись, но ведь нельзя же их держать такой сплоченной массой! Взгляд партии на это известен: прослоить рабочим элементом, разбросать в разные точки и—контроль, контроль, контроль! Я ничего не говорю: товарищ медсестра Муромцева и Михаил Иванович еще молодые люди — старательные работники, подают большие надежды, их еще перевоспитать можно, но заведующий операционной создает обстановку недопустимого самоуправства, вредно влияет на окружающих и упорно изолируется в своей среде. Нельзя допустить, чтобы он продолжал свое вредное дело! Явный подбор сотрудников, товарищи! Вот недавно, когда пустовало место фельдшера приемного покоя, он нам рекомендовал одну гражданочку: латинский-де знает, ну, и грамотность абсолютная — примите за моим ручательством! А на деле что оказалось, товарищи? У дамочки этой муж взят недавно в лагерь, как вредитель, а сама она в прошлом тоже царская сестра милосердия, и притом церковница: дочка и сын к ней на службу забегают; мне их разговоры передавали: «Мы тебя, мамочка, будем ждать на трамвайной остановке, чтобы поспеть на всенощную к «Господи воззвах». А раз дочка прямо из церкви сюда; да втихомолку просфору сует: мы за здравие папочки вынули... И это в стенах учреждения, товарищи! Вот каковы ставленники нашего хирурга! Уж лучше мы обойдемся без абсолютной грамотности, своими силами. Не пробуйте отрицать, гражданочка, верные люди передавали!

Елочка взглянула на даму с проседью, сидевшую у самой двери: она работала еще недавно, и Елочка сначала удивилась ее присутствию на собрании, так как прямого отношения к операционной она не

имела. Все время, пока говорилось о ней, эта дама оставалась спокойна, но при последних словах предместкома встрепенулась и попросила слова.

— Товарищи, я отрицать не собираюсь — я действительно посещаю церковь и не перестану этого делать. Но старший хирург Муромцев не имел понятия об этом; он знал, что мне трудно без мужа с детьми— вот все, что ему обо мне известно!

Елочке понравилось то спокойное достоинство, с которым незнакомка произнесла эти слова.

Когда предложили высказаться санитару Михаилу Ивановичу, тот вскочил и заговорил с манерой старорежимного унтера; целью своей он, по-видимому, ставил защитить хирурга, но, в сущности, только напортил:

— Так что мы от товарища старшего хирурга плохого никогда ничего не видали! Когда говорят, я перед ним вытягиваюсь, могу доложить, что никто меня к этому не вынуждает; а я сам рад стараться, потому как приобвык почитать товарища господина хирурга смолоду. А ежели я им по выходным дням паркет на квартире натираю, так это по моей доброй воле, и за то они мне платят со всей щедростью. Могу доложить, что ни с кем работа так складно у нас не пойдет, как с их благородием... товарищем Владимиром Ивановичем, — и сел.

— Пожалуйста, молчи хоть ты,— тихо сказал Елочке Владимир Иванович.

На следующее утро, раздеваясь в вестибюле, Елочка увидела даму с проседью — фельдшера приемного покоя, которая надевала шляпу перед зеркалом, собираясь уходить. Они поклонились друг другу, и дама сказала:

— Возвращаюсь домой — меня отчислили с работы даже без предупреждения.

— Как? Уже!

Она кивнула и двинулась, чтоб уходить.

— Подождите... у вас дети... что же вы будете делать?

— А это — как будет угодно Богу! Я только беспокоюсь, что из-за меня получились неприятности у Владимира Ивановича!

В операционной в этот день все как будто еще оставалось по-прежнему, и даже Михаил Иванович продолжал вытягиваться, отвечая: «Так точно! Изволите видеть... слушаюсь...» Кадыр в белом халате угрюмо косился на хирурга и фельдшера, но молчал, безропотно исполняя все распоряжения. Но на следующий день сотрудники были поражены неожиданностью: пробило десять, а идеально точный хирург не показывался. Испуганная Елочка побежала было к телефону, но на пороге столкнулась с директором и Кадыром, который следовал за ним по пятам; предчувствуя недоброе, она остановилась. Директор Залкинсон, худой, длинный, с вкрадчивыми манерами, заискивающе-вежливо поздоровался с каждым сотрудником, начиная с санитарки, и представил всем нового заведующего. Вслед за этим он повернулся к Елочке, которая словно приросла к стене, и спросил:

— Вы читали приказ по больнице от семнадцатого ноября?

— Нет,— пролепетала она.

— Согласно этому приказу, вы переводитесь в операционную на женское хирургическое, где, смею надеяться, будете работать с тем же рвением и аккуратностью.

Через полчаса, прощаясь с сотрудниками, Елочка расцеловалась с санитаркой и Михаилом Ивановичем и молча прошла мимо Кадыра, не удостоив его взглядом, как пустое место.

Прямо после работы она побежала к дяде и застала все в доме вверх дном: ей показали повестку о высылке в Актюбинск в трехдневный срок. За три дня, предоставленные на сборы, Елочка совершенно измучилась: она бегала по комиссионным магазинам и получала квитанции, которые выписывались на ее имя — ей поручалось высылать

деньги в Актюбинск по мере распродажи вещей. Множество мелочей из фарфора и бронзы дядя и тетка подарили ей, несмотря на ее горячие возражения, многое из обстановки было запаковано и приготовлено к отправке, а ей вменялось в обязанность выслать все это Муромцевым, когда они найдут себе помещение и известят, что устроились.

— Я нигде не пропаду,— говорил старый хирург,— а вот они еще не раз вспомнят меня, когда в палатах у них начнутся смертные случаи от послеоперационного сепсиса. Бог видит, как я опасаюсь этого.

На вокзале, прощаясь со стариком, Елочка поцеловала ему руку. Что-то оторвалось от ее сердца, когда тронулся поезд и за стеклом в последний раз мелькнула седая голова с родными чертами. Теперь она оставалась совсем одна.

Вернувшись с вокзала в свою комнату, она ощутила приступ острой тоски, а множество красивых безделушек на комоде и на пианино не утешали, а ранили сердце. Пометавшись по комнате, она вспомнила, что сегодня урок музыки, и ухватилась за мысль увидеть Юлию Ивановну и рассказать о случившемся: Юлия Ивановна, единственная во всем Ленинграде, знакома была с ее родными и могла посочувствовать ей. Схватив ноты, она побежала в музыкальную школу. В классе за роялем, как обыкновенно в этот час, сидела Ася. Елочка забилась в уголке, отложив разговор до той минуты, когда придет ее собственная очередь. Когда Ася кончила, старая учительница сказала:

— Мне хочется вас поколотить!

С наивным удивлением поднялись на нее ясные глаза.

— Да, да! — продолжала, отвечая на этот взгляд, Юлия Ивановна,— у вас такой большой самобытный талант, а вы его зарываете в землю. Я говорила о вас вчера с профессором: он вполне согласился со мной и, кажется, разбранил вас на последнем просмотре?

Ася засмеялась:

— О! Да еще как! Он стучал кулаком по роялю и кричал: «И зачем вам понадобилось выходить замуж в девятнадцать лет!» Как будто мое замужество может мне в чем-то помешать! Мой муж так любит музыку; каждый раз, возвращаясь со службы, он спрашивает, достаточно ли я играла, и огорчается, если меньше положенного времени.

— Я вам вполне верю, дитя мое; но усидчивости вам все-таки не хватает. Вы все берете минутным вдохновением и очень большой музыкальностью. Но техническое совершенство не придет само собой. Вот этот пассаж у вас шероховат, потому что вам не хватает беглости — и это при такой удивительной, волшебной легкости вашего прикосновения! Если мы огорчаемся вашим ранним замужеством, то только потому, что новые интересы и обязанности отвлекут вас еще больше от рояля. В наших условиях достаточно одного ребенка, чтобы на занятиях поставить крест! Теперь такая трудная жизнь!

Ася, вся розовая, молча собирала ноты. Елочка пошла было к роялю и вдруг с ужасом увидела, что Ася, вместо того, чтоб уходить, садится на ее место в уголке. Играть при Асе ей, с ее деревянными пальцами и фальшивыми нотами, которых она не слышит!.. И она осторожно спросила:

— Почему вы не уходите домой?

— Я жду Олега и Лелю: мы сговорились встретиться здесь, чтобы идти всем вместе к Нине Александровне на день рождения,— ответила Ася и, по-видимому, угадав своим тонким чутьем, что Елочка стесняется при ней играть, выхватила книжку, в которую уткнулась. Елочка села, уныло принялась за инвенцию, заранее извиняясь, что ничего не успела выучить. К ее счастью, Ася почти тотчас выскочила из класса, заслышав легкий стук в дверь. Через четверть часа, однако, в подъезде музыкальной школы Елочка снова наткнулась на Асю — та стояла вместе с Лелей, поджидая Олега, задержавшегося на службе. А вот и он сам, весь засыпанный снегом и, наверно, промерзший в той же старой шинели. Словно нарочно в этот вечер, когда она была так поки-

нута и печальна, они, все трое, затеяли глупую возню в сугробах у подъезда на обычно пустынной улице имени Короленко, где помещалась школа. Ася и Леля вдвоем набросились на Олега, стараясь повалить в сугроб, и стали засыпать снег ему за воротник. Елочка с досадой наблюдала эту молодую возню, которая, с ее точки зрения, так не шла к нему. Они забывают, что у него плеврит, и простудят его этим снегом!

Внезапно Ася отделилась от остальных и, подбежав к раскатанной ледяной дорожке, лихо прокатилась по ней, звонко смеясь; но у самого конца поскользнулась и кувырнулась в снег. Олег бросился к ней.

— Ушиблась? Стряхнулась? Надо быть осторожней! Сколько раз все объясняли тебе! — повторял он, отряхивая ее пальто.— Вот теперь пойдешь под конвоем: берите ее, Леля, за одну руку, а я за вторую!

Елочка вслушивалась в эти тревожные реплики, и смутное подозрение зародилось в ней; через несколько минут оно превратилось в уверенность: поравнялись с кондитерской, и Олег вошел, а девочки остались около двери; Ася вздохнула и сказала:

— Сколько у Нины Александровны будет, наверно, вкусных вещей, а мне опять ничего не захочется!

Леля сказала:

— А ты не думай про «это». Бабушка ведь тебе говорила, что есть непременно нужно и что натощак мутит еще больше!

Так вот в чем дело! Вот и дошалилась в своем «палаццо»! Вольно же! Как ей теперь неловко и стыдно, а в перспективе уродство и эти ужасные роды, о которых и подумать-то страшно! Ну что ж: каждый выбирает то, что ему нравится! Дети — такая тоска беспросветная! Вот тебе и красота и талант! Ну, да и его осудить можно: не сумел уберечь ее. Ведь живут же другие, не имея детей!

Решительно все складывалось так, чтоб доконать ее! Из музыкальной школы она торопилась на службу, где в восемь вечера должно было состояться общее собрание; Елочка очень редко посещала эти собрания, но теперь решила почтить его своим присутствием, и не потому, что испугалась обвинений в антисоветской настроенности,— нет! Она подозревала, что на собрании станут опять трепать имя ее дяди, и считала себя обязанной вступиться за честь отсутствующего. Она терпеливо высидела все собрание, но ничего достопримечательного не произошло; под конец стали раздавать премии особо отличившимся работникам — кому «Капитал» Карла Маркса, кому ордер на костюм, кому путевка в однодневный дом отдыха; Елочка только что встала, чтобы уйти, как вдруг услышала свое имя... остановилась, не веря ушам! Она в списке премируемых, она!.. В эту минуту на эстраде показались калоши, которые, передавая через головы, торжественно вручили ей — вот благодарность, которую она заслужила! Ничто, стало быть, не угрожает ей, никто даже не считает ее «враждебным элементом»! И вместо того, чтобы облегченно вздохнуть, она почувствовала, как вся желчь всколыхнулась в ней! Что же это? Насмешка? Не нужно ей этой жалкой благодарности хамов, только что так расправившихся с человеком, который один стоил больше, чем все они вместе! Зачем ей эта благодарность, и неужели они не видят, как она презирает их, неужели мало презрения звучало в ее недавней речи? Ее яростная ненависть никого не тревожит... Да неужели же она уж такое ничтожество?! Вот обида горше всех прежних!

Она подымалась по лестнице в свою квартиру, когда услышала детский голос:

— Здрасьте, тетя Лизочка.

Восьмилетняя школьница — дочь соседки — догоняла ее, подымаясь через ступеньку. Елочка равнодушно пробормотала «здравствуй» и одновременно подумала: «Какая я тебе «тетя»! Чисто пролетарская замашка обращаться так к каждой особе женского пола».

Покрасневшие от холода ручки цеплялись за перила, и девочка упорно равняла шаг по шагу Елочки, видимо, желая заговорить.

— Ты отчего сегодня так поздно возвращаешься, Таня? — выдавила наконец из себя Елочка.

— А у нас сегодня тоже было собрание по смертному приговору,— с важностью ответила девочка.

— Что?! — Елочка остановилась, как вкопанная.

— Да: мы тоже подымали руки. Все до одной проголосовали «за»,— лепетал детский голос.

Глава восьмая

Первый месяц по возвращении Нина пребывала на высотах собственного «я», она живо ощущала в себе свою большую, горячую любовь; вспоминая поездку и трудности, преодоленные ради любимого человека, она сознавала, что заслужила то уважение, которым ее окружили Наталья Павловна, Ася, мадам, Олег, Аннушка, даже тетка и Мика. Рассказывать Наталье Павловне все детали пережитого и виденного доставляло ей невыразимое наслаждение, а нежность старой дамы частично вознаграждала ее за отсутствие любимого человека. Как приятно было слышать ее голос, спрашивавший по телефону: «Здоровы ли вы, Ниночка? Я уже два дня не видела вас», или щебет Аси: «Бабушка велела передать, что вы сегодня у нас обедаете!». Ей нигде не хотелось бывать кроме этого дома; в угоду Наталье Павловне она отказалась от привычки подкрашивать губки, приобретенной на сцене, а волосы стала причесывать à la amazone[8], как в юности, ни на каких поклонников она не желала обращать внимания; даже пение всего больше доставляло ей наслаждения в присутствии Натальи Павловны, под аккомпанемент Аси.

Так длилось весь первый месяц. Вслед за этим поползли тучи. Началось с очередной анкеты. Раньше графу «где и на какой должности работает в настоящее время муж» она прочеркивала; теперь ей пришлось черным по белому писать: «в настоящее время муж находится на положении ссыльного в Томской области». Анкета испортила ей день; едва лишь усилием воли она отогнала хмурые мысли, как нашла у себя на столе приглашение в гепеу. После тревожного совещания с Олегом и бессонной ночи она отправилась туда и высидела длительный разговор tête-à-tête[9] со следователем, который выслушивал, высматривал, вынюхивал, не доверяя ни одному ее слову. Детальные придирчивые расспросы по поводу ее мужа и беглые скользкие по поводу личности Олега составляли основу допроса. Заранее инструктированная Олегом, она выпуталась, не противореча его показаниям.

На другое же утро на репетиции в Капелле появилась новая солистка сопрано, которая разучивала те же партии, что и Нина. Голос ее значительно уступал голосу Нины и диапазоном, и качеством звука; тем не менее новая дива очень уверенно продолжала разучивать партии. В хоре новую артистку прозвали «гробокопательницей» и относились к ней неприязненно; Нина была этим тронута. Так длилось с неделю.

Зайдя как-то к графине Капнист, она встретила у нее пожилого моряка — человека из прежнего общества. Он преподавал в военно-морской академии, оказался любителем музыки и, узнав в Нине солистку Капеллы, расцеловал ей ручки, выражая восхищение ее голосом. Когда он сможет опять ее услышать? Не подумав, она дала ему свой телефон, разрешив осведомляться по поводу ближайшего концерта. И вот уже три дня подряд он названивал ей, и Нине было стыдно себе признаваться, что она опять с некоторым интересом думала о новом поклоннике.

---

[8] под наездницу (*франц.*).

[9] с глазу на глаз (*франц.*).

От телефонных звонков он перешел к визитам; она задумвла было его остановить и шутливо, но с твердостью сказала:

— Оставьте ваши попытки... С некоторых пор я холодна, как рыба.

Но старый донжуан, наклоняясь к самому ее уху, шепнул:

— Сударыня, что может быть лучше холодной рыбки под старым хреном!

Это ей показалось настолько остроумным, что она против желания рассмеялась, и вся серьезность ее отказа сошла на нет.

Весь последующий вечер она и Марина обсуждали эту милую и элегантную дерзость, находя ее очаровательной, и хохотали рядышком на диване, причем обе уже понимали, что холодной рыбке неминуемо быть под указанной приправой.

И еще одну тучу нагнал ветер — несколько дней Нина подозревала, а потом уверилась, что у нее началась беременность... Как давно и упорно мечтала она о ребенке! Сколько было ссор с Сергеем Петровичем из-за его «осторожности», и вот она получила то, чего хотела, и в качестве зарегистрированной жены могла не страшиться ни упреков, ни пересудов. Однако теперь, когда это, наконец, совершилось, тоскливое смятение охватило ее! Как пойти на новые трудности, когда их и так больше, чем она в состоянии вынести! Прежде всего: она очень скоро не сможет петь и придется брать полугодовой отпуск, а «гробокопательница» тем временем пустит корешки и войдет в силу... А потом? Средств к жизни нет, бросить службу невозможно, оставлять же ребенка не на кого; отдать в ясли — значит, таскать по трамваям в любую погоду и доверить чужим людям. Молока у нее может не оказаться, а с прикормом так много возни... Правильной семейной жизни у нее никогда не будет — Сергею Петровичу вернуться не разрешат,— ребенок свяжет ее по рукам и ногам...

На днях ей исполнилось тридцать три года; если не стать матерью теперь, то, в конце концов, будет поздно — неизвестно, когда она снова встретится с мужем. Ребенок... девочка! Ей всегда хотелось девочку... Короткое платьице, кудряшки, большой бант на голове... Дочка сидит у нее на коленях и обнимает ее шею мягкими ручками... От радости с ума сойти можно! Почему же она молчит и не шлет мужу восторженного письма, хотя ей известно его желание? В ее молчании уже есть что-то предательское по отношению к крошечному существу, которое кристаллизуется в глубине ее тела.

Она открыла свою тайну Марине и ожидала, что Марина повторит ей все те доводы, которыми она себя убеждала, но Марина долго молчала.

— Не знаю, что сказать, что посоветовать... Минута, когда я лежала на этом ужасном столе и слышала скребущий, хрустящий звук, с которым скребли мои внутренности, самая тяжелая в моей жизни! Помни. Совет могу дать только один: если ты не решила, что сделаешь, подожди говорить о беременности Наталье Павловне и ему писать подожди. Поняла?

— Да, да. Конечно,— ответила Нина, но потом, вспоминая эти слова, видела в них что-то недостойное. Особенно остро она почувствовала это, когда пришла на другой день к Наталье Павловне.

Ей было не по себе: она не могла смотреть старой даме в глаза и довольно быстро простилась. В ту ночь она видела во сне морду Демона, которая совалась к ней, насторожив острые уши, и лизала ей руку. С собакой этой у Нины связывалось воспоминание о собственном мужестве. Решиться все-таки на подвиг и стать матерью в этих труднейших условиях? Мужественно скрывать от Сергея свои трудности и радовать изгнанника известиями о ребенке, а на всем своем, личном, поставить крест?

Подымаясь по лестнице, она воображала себе, как будет сейчас ласкать, ободрять и утешать ее Наталья Павловна, если она ей скажет. Ей так хотелось любви и ласки!

«Скажу. Отрежу себе дорогу к отступлению».

Она не ошиблась в полноте участия, на которую надеялась.

— Не бойтесь, Ниночка, все будет хорошо. Всем, чем только смогу, я помогу вам. Все, что у меня есть,— ваше. Сократить с работы вас теперь не имеют права, а через месяц после родов вы отлично сможете петь. Ася тоже в положении. Будете приносить ребенка к нам, а мы тут повозимся одновременно с обоими. Вместе незаметно вырастим. Увидите сами, сколько вам это принесет счастья. Сергей рассказывал мне, что вы до сих пор не можете утешиться в потере вашего первенца — только новый ребенок залечит эту рану. Не надо волноваться и расстраиваться. Отдохните на диване, через полчаса мы будем обедать.

С чувством большой победы над собой Нина покорно вытянулась на диване.

Когда в комнату весело вбежала вернувшаяся из музыкальной школы Ася, Нина подумала: «Вот эта чистая душа не знала и минуты тех сомнений, которые трепали меня, грешную».

Нина поймала ее за руку и привлекла к себе:

— Дай свое ушко, стрекоза: я скажу тебе секрет.

Головка с двумя длинными косами и блестящими глазами склонилась над диваном, и после нескольких слов, сказанных шепотом, тотчас, как из решета, посыпались восторженные проекты, сопровождаемые прыжками и круженьем по комнате:

— Вот хорошо-то! Чу́дно! Чу́дно! Я буду его нянчить вместе со своим! Вы будете приносить его сюда, а я буду их забавлять, кормить, носить гулять! Олег хочет сына, а вам надо девочку! Чу́дно! Чу́дно!

На следующий день Нина встретила на улице ухажера-моряка. Зачем это случилось? После, много раз вспоминая эту встречу, она видела в ней что-то роковое: именно тогда, когда она уже решилась на самоотречение, именно тогда! Разумеется, она не допустила ничего интимного: только позволила проводить себя и угостить пирожными в кафе; но устремленный на нее восхищенный взгляд мужских глаз имел могущество яда или гипноза. Природа словно мстила ей за аскетическую чистоту тех лет, которые она провела молодой вдовой в Черемухах. Теперь у нее было постоянное тревожное сознание уходящей жизни, недостаточно полного использования своей женской прелести и жадное желание радости.

В этот вечер к ней пришла Марина, и почему-то, увидев ее, Нина сразу поняла, что всё сегодня же будет кончено.

— Ну, что?

— Не знаю, что делать!

— Решилась на что-нибудь?

— Нет.

— Так ведь надо же решать, или будет поздно.

— Я понимаю, что надо, да не могу! Одну глупость я уже сделала: я сказала Наталье Павловне.

— Сказала старухе?

— Да. Нашла минута. Марина, я — дрянь! Как она ласкала меня и ободряла! Она строга с Асей, а со мной так необычайно мила! Ты не представляешь, сколько в их семье значит ее благорасположение!

— Сколько бы ни значило, решать должна только сама ты. Она тебе, положим, кое в чем поможет, но она стара; подожди: еще тебе же придется вертеться около нее, если ее хватит удар или сердечный приступ. Что она с тобой нежна — неудивительно, она больше всего на свете боится, чтобы ты не сбежала от ее сына. Пойми: это материнский эгоизм — ей жаль сына, а не тебя!

— Я еще могу повернуть сейчас в хорошую сторону, еще могу... но, кажется... уже не захочу!

Они помолчали.

— Я отговаривала тебя спешить с признанием.

— Да, да, Марина! Я понимаю, но теперь этого уж не поправить!

— Пожалуй, поправить еще можно: скажи Наталье Павловне, что подняла что-то тяжелое — шкаф передвигала или белье в прачечную относила... никто не удивится в наших условиях. Или ты предпочитаешь сказать прямо и лечь на официальный аборт в больницу?

— О, нет, нет! Что ты! Они не простят мне! Если уж... то... заместн следы!

— Ну, тогда решай! Сегодня всего удобней: у тебя выходной день завтра и, таким образом, ты сможешь отлежаться, а я могу остаться переночевать и за тобой поухаживать — Моисей Гершелевич в командировке. На всякий случай я захватила три порошка хины — проглоти, а потом затопим ванну: полежишь в горячей воде. Только помни: я тебя не уговариваю! Помочь тебе я, разумеется, готова, но я не уговариваю!

Утром все было кончено. Марина только что подала Нине в постель утренний чай; еще не причесанная, в халатике Нины, она подошла открыть дверь и увидела перед собой Олега.

— Ах, это вы! Извините, сюда нельзя — Нина Александровна нездорова. Может быть, вы пройдете пока в комнату Мики?

Отступив на шаг от порога, он смерил ее быстрым взглядом, и в его внезапно сверкнувших глазах ей почудилось что-то такое подозрительное и гневное, что она невольно опустила свои.

— Благодарю, я не буду задерживаться и беспокоить вас. Наталья Павловна прислала меня с известием, что театральный магазин купил ее страуса, и просила меня передать Нине Александровне это письмо. Что должен я сообщить Наталье Павловне о здоровье Нины Александровны?

— Подождите минуточку, Нина напишет записку,— ответила Марина.

Нина написала несколько слов — те, которые предполагалось сказать по телефону, и Олег вышел.

— Как странно! Он, кажется, что-то понял! Я это почувствовала по его взгляду,— сказала Марина, садясь около Нины.— Ася могла ему рассказать о твоей беременности, но он каким-то образом заподозрил именно намеренный аборт!

— Олег очень проницателен,— задумчиво ответила Нина,— но он не таков, чтоб заводить сплетни и шептаться по поводу своих догадок: он будет молчать; меня беспокоит сейчас другое — Наталья Павловна прислала мне сто рублей, а ведь у них систематически не хватает денег: Олег работает один на четырех, и все-таки она прислала мне, а ведь Ася тоже в положении. О, как мне стыдно!..

— Ася в положении? — переспросила Марина.

Они помолчали. Нина взглянула на подругу и увидела, что глаза ее наполнились слезами.

— Ну, перестань, перестань, Марина! Ведь для тебя не новость их любовь!

— Не новость, да. Но я подумала: она пошла на то, чего побоялась я! Он сравнивает сейчас нас и... воображаю, как еще выросли его любовь и уважение. А на меня он посмотрел недоброжелательно и, кажется, считает меня сомнительной особой, специалисткой по абортам... да как он смеет! Лучше мне вовсе не встречать его, чем выносить такой взгляд!

В этот же день Наталья Павловна, обеспокоенная состоянием Нины, приехала к ней. Чувство стыда и раскаяния переполнили душу молодой женщины, и она разрыдалась, припав к груди своей свекрови. Наталья Павловна приписала ее отчаяние разбитым надеждам и опять утешала ее, говоря, что время еще не ушло и все это можно поправить... она только вскользь попеняла за неосторожность. У Нины не хватило мужества признаться в своем поступке.

«Я искуплю потом все, все! Немножко повеселюсь одну только эту зиму, а летом опять поеду к Сергею и буду самой верной и смирной женой и самой самоотверженной матерью»,— говорила она себе, стараясь успокоить свою совесть.

Писать любимому человеку, сочиняя фальшивые фразы, оказалось очень тяжело. Она просидела за этим письмом несколько вечеров подряд, и ей пришлось еще раз пожалеть о своем признании Наталье Павловне, благодаря которому она не смогла схоронить концы в воду. Одна ложь всегда влечет за собой другую — она все-таки написала и послала это насквозь фальшивое письмо. Хорошо, что бумага не краснеет!

Глава девятая

Отношения Мики с сестрой все-таки не налаживались: Нина решительно не хотела ценить тех героических усилий, которые он затрачивал на усовершенствование своего поведения в домашнем быту, где его злила каждая мелочь. Он пытался сдерживать себя и грубил гораздо реже, начал сам стелить свою постель, складывал салфетку в кольцо, бегал за хлебом, не заставлял себя просить об этом по три раза, блестяще наладил дровозаготовки, договорившись с Петей пилить вместе по средам для Нины, а по пятницам для Петиной матери.

В школе и у него, и у Пети не прекращались столкновения с комсомольским бюро, советом отряда, клубом безбожников. Среди школьников Мика имел репутацию хорошего товарища, был ловок в драках и к тому же славился как поэт — ему очень легко давались стихи. «Напоминал табун копытный наш первобытный коллектив и очень часто в перерыв взрывался бомбой динамитной» — строки, облетевшие всю школу. Петя на всех контрольных безотказно рассылал шпаргалки направо и налево, а это тоже кое-что значило. Оба друга были любимы друзьями и числились среди лучших учеников, только это несколько охраняло их от нападок школьных организаций и классной воспитательницы Анастасии Филипповны. Сия еще молодая женщина смотрела на события школьной жизни глазами роно и райкомов и терпеть не могла вольности обоих мальчиков, они не подходили под тип советского школьника, созданный гением роно. Опальный отец одного и титулованная сестра другого узаконивали эту ненависть, а классовое чутье Анастасии Филипповны было безупречным.

— Типичная торговка с базара — вот что такое эта Анастасия Филипповна! — говорила Нина всякий раз после очередного визита в школу.

Достойная дочь воспитавшего ее режима, Анастасия Филипповна не брезгала прибегать к замочной скважине. Мика разразился по этому поводу четверостишием:

Порой ораторствует публично
Тошнее немощи зубной,
Но все ж у скважины дверной
Она еще анекдотичней.

В ноябре месяце в классе разыгрался довольно крупный скандал, и, как всегда, Мика и Петя оказались в самом центре события. У школьников вошло в моду постоянно сжимать в кулаке кусок черной резины для развития мышцы кисти; уверяли друг друга, что так всегда делают боксеры; резина эта хранилась среди прочего хлама в незапертом никогда складе на месте купола прежней гимназической церкви. Весь класс бегал резать себе куски для этих спортивных упражнений. Учитель физкультуры, встречавший мальчиков за этим занятием в куполе, даже хвалил их за рвение. Но Петя Валуев родился под несчастливой звездой: в тот день и час, когда за резиной забежал он, в купол сунула свой длинный нос Анастасия Филипповна. «Вредительство!» — вот слово, с которого она начала свой трибунал, приведя мальчика в класс и поставив пред всеми, как подсудимого.

— Я тоже резал резину, вот она! — закричал Мика, вскакивая, и оглянулся на класс, приглашая к тому же товарищей.

— Я тоже резал! И я! Мы все! Резина была брошена со всяким хламом! Физкультурник говорил нам, что делал из нее поплавки директору! Наш директор-то, оказывается, тоже вредитель!

Услышав все эти выкрики, Анастасия Филипповна поняла, что хватила через край и пахнет крупным скандалом. Она выпустила рукав Пети и занялась водворением порядка. Дело о резине было замято.

В ноябре праздновался день рождения Нины; против ее ожидания, Мика согласился выйти к праздничному столу и был очень оживлен; он даже читал свои стихи про школьную жизнь, среди которых наибольший успех имела «Ода великому математику»:

В среде диковинных явлений
Пятиэтажных уравнений
И неделящихся дробей
С корнями высших степеней
Он позволял себе интимность:
Он математикою жил,
Он всей душой ее любил,
Но без надежды на взаимность!
Координатные системы
В себя впитавши целиком,
Он рвался в область теоремы,
К созвездьям лемм и аксиом!
Он без особого труда
Уже кончал писать тогда,
Когда другие начинали,
И по конвейеру он слал
Ответы тем, кто погибал,
И предвкушал сюрприз в журнале.
На всех контрольных осаждали
Его голодные рои,
Которые решений ждали,
Чтоб после выдать за свои.
Спасенный радостно икал
И Петьке с чувством лапу жал.

Ася и Леля умирали со смеху, даже Олег и Нина улыбались, и все единодушно признали за Микой пушкинский дар. Ободренный успехом, Мика понес новую рукопись в класс. Он читал ее на большой перемене, стоя, как всегда в таких случаях, на парте посередине класса, когда кто-то крикнул ему: «Анастасия Филипповна у двери!»

Услышав это, Мика тотчас перескочил на эпиграмму в честь этой достойной дамы и с чувством отчеканил:

Шлифована по-пролетарски,
А первобытна, как зулус,
И не хранит отравы барской
Отточенный в райкоме вкус!

Анастасия Филипповна ворвалась и впрямь с видом разъяренного зулуса. Мика был вытребован к директору, но находчивого мальчика трудно было поставить в тупик.

— Я всегда рос в убеждении, что деликатность и такт необходимые качества культурного человека,— ответил он,— но Анастасия Филипповна вместе с пионервожатой дали мне хороший урок в противоположном, и я этим уроком воспользовался.

Директор попросил объяснения.

— Они неуважительно говорили перед целым классом об отце одного из моих товарищей. Я согласен извиниться перед Анастасией Филипповной, если она подаст мне пример и в свою очередь извинится перед Петькой Валуевым.

Директор обещал выяснить в чем дело. Но комсомольское бюро цыкнуло на него, разъяснив, что дело касается обвиненного по пятьдесят восьмой. Мика остался под угрозой занесения в характеристику «издевки над идеологической сознательностью учителя».

Приближалось Рождество; за несколько дней до праздника отец

Варлаам созвал братство на исповедь в квартире на Конной. Сговорились собраться в это утро у ранней обедни на Творожковском подворье. Мике всякий раз попадало за ранние обедни: от Нины — потому, что он опаздывает из-за них в школу; от Надежды Спиридоновны — за то, что, уходя, топает по коридору и заводит будильник, который трезвонит на всю квартиру. Без будильника, однако, Мика неизменно опаздывал. Петя и Мэри считали Мику почти мучеником, потерпевшим гонения за веру, а он считал их дом христианской общиной в миниатюре,— и по этим пунктам каждый из них втайне завидовал другому. Мика опоздал и в это утро и, стоя в последних рядах, отыскивал глазами голову Пети, которую узнал по «петуху» на затылке. Рядом с ним виднелась черная коса Мэри. Мика стал осторожно пробираться к ним.

— Мы уже за тебя беспокоились: все нет и нет! — шепнул ему Петя, когда они оказались рядом.

— Едва успел; вчера вечером опять бурю выдержал — без этого у нас не обходится! — тоже шепотом отозвался «мученик».

— На духовном пути очень часто «враги человеку домашние его»,— шепнула Мэри.

Когда обедня кончилась, отправились к Валуевым. У них была елка, и ее стали устанавливать.

— Эту елочку,— похвастался Петя,— мы с мамой купили вчера у Владимирской церкви. Милиционер увидел и тотчас за нами, а мы словно воры улепетывали. Я и не подозревал, что мамочка так быстро бегает.

— При советской власти всему выучишься,— сказала Ольга Никитична, берясь за керосинку.— Завтра, в Сочельник, приходи, Мика, к нам.

— Да, да! — воскликнула Мэри, надевая передник.— Мы зажжем елку и будем петь «Дева днесь...» и «Weihnachten»[10], а ужин будет постный, с кутьей, все по уставу.

— Нина моя совсем равнодушна к вере,— заявил Мика.— Она все боится, чтобы не узнали о церкви в школе. Я понимаю отрицание, но равнодушия не понимаю!

— Убежденных людей всегда мало,— сказала Валуева,— большинство и раньше было равнодушно к родной Церкви. Никто не образумился, пока не грянул гром! Большевики злобны, коварны, мстительны, но их преследования заставили нас проснуться. Если бы мы не были виновны перед Господом, неужели бы Он допустил существование этих бесчисленных лагерей и тюрем, куда запрятывают ни в чем не повинных людей? Сколько душ очищается теперь страданием!

Мика опустил топор и, не спуская глаз, смотрел на женщину, говорившую эти слова. Ее сверкающий взгляд, худое лицо и преждевременно поседевшие волосы опять напомнили ему христианских мучениц.

В квартире на Конной собралась довольно длинная очередь. Отец Варлаам говорил очень долго с каждым. Исповедь шла в трапезной; ожидавшие женщины и девушки прошли в комнаты к братчицам, молодые люди ожидали в коридоре. Петя и Мика стояли рядом. Еще год назад мальчики поклялись друг другу в полной откровенности. С тех пор у них вошло в обычай показывать друг другу шпаргалки с перечисленными для памяти тезисами исповеди. Шпаргалка Мики начиналась словами: «Нина, сны, готов на подвиг, а на мелочи ленив»; взглянув на шпаргалку Пети, он увидел, что первые три пункта у него были точно те же, только вместо «Нина» у него стояло «Мэри». Но дальше у Мики в списке значилось: «галстук, она, масло, эполеты, гвардия» — тут уж ничего нельзя было понять, и Петя попросил объяснения.

— Дела мои, старина, плохи! Никак не ожидал, что приключится этакая штука! Как бы объяснить... видишь ли... одним словом — влюбился, и притом колоссально! Как сказать отцу Варлааму — ума не

[10] «Рождество» (*нем.*).

приложу. Видел я ее всего два раза только: на вокзале и у нас на рождении Нины, она приходила к нам со своим мужем; совсем еще молоденькая, с косами, ресницы в полщеки, тоненькая, как тростинка. Я только посмотрел и погиб, сказали бы мне: «Поцелуй и умри!» — сейчас бы согласился! Моральный банкрот! Тревога, знаешь, напала: вот какие девушки бывают, а я такую не найду — пока буду молиться, всех расхватают. Петька, говори: что мне будет за это от отца Варлаама?

— Трудно вперед сказать... положение серьезно...— пробормотал сконфуженно Петя, словно врач на консилиуме.— На поклоны, наверно, поставит... А это что? — и Петя ткнул пальцем в «гвардию».

— Военная доблесть опять покоя не дает: нет-нет да и воображаю себя николаевским офицером: эполеты, шпоры, аксельбанты — все пригнано, все блестит, выправка самая изящная, не то что у этих «красных командиров» с их мордами лавочников! Танцую мазурку в зале у Дашковых; девушки — все на меня поглядывают. Или — война: первым кидаюсь в бой и умираю с Георгием под стенами Константинополя... Видишь, помечено: «эполеты». А к тебе этакое не подступает?

Петя с понимающим видом кивнул.

— А это что? — и он ткнул в рубрику «масло».

— Да понимаешь ли, сейчас Филипповки, ну и воздерживался я незаметно от масла. А Нинка заподозрила и проследила; накидывается, как кошка: «Я на последние деньги покупаю не для того, чтобы в ведро выбрасывать!» И пошла... пошла... Наорали мы друг на друга колоссально; уступил в конце концов.

— А это? — и Петя ткнул в «галстук».

— Из-за нее. Когда ждали на рождение гостей, я попросил Нину завязать мне галстук, а она сделала мне бант, как двенадцатилетнему; я же был уже зол: перед этим завернул в парикмахерскую постричься и побриться, а мерзавец парикмахер ответил: «Постричь — с моим даже удовольствием, но что же мне брить-то?» И все из-за банта, опять с Ниной скандал, даже Аннушка прибежала. Исповедь получается потрясающая, а впрочем, у человека с бурной душой иной и быть не может. А у тебя что?

Петя в свою очередь представил полный отчет.

Прождали около двух часов; когда пришла очередь Мики, Петя, дожидаясь поодаль, видел, как его товарищ горячо и долго излагал свои потрясающие переживания. Молодой монах — высокий, худой и бледный — выслушивал молча, с серьезным лицом; потом он сам начал говорить и говорил тоже долго; а вслед за этим произошло нечто, пожалуй, еще не записанное в летописях братства — отец Варлаам, вместо того, чтобы поднять руку с епитрахилью, только кивнул, отпуская Мику, и непрощенный растерянный мальчик с опущенной головой сконфуженно пересек комнату и скрылся в коридоре. Петя в изумлении проводил его взглядом. «Земная любовь, наверно!» — подумал он и не пошевелился, пока его не подтолкнули сзади, напоминая, что теперь его очередь. От беспокойства за друга он скомкал свою исповедь, перезабыв половину, и бросился искать Мику. Он нашел его в кухне у черной двери в позе Наполеона.

— За что он тебя? За что?

— А вот не угадаешь!

— «Она», наверно!

— Нет. За нее нисколько не попало: сказал «естественно» и обещал, что дальше хуже будет; не она, а масло! Да, да — масло. «Мне нужна дисциплина, говорит, Церковь запрещает! Я вправе требовать от членов братства исполнения устава. Я предупреждал, и нарушивших мой запрет к причастию не допущу. В трудные дни нам нужны только верные и сильные. Придете ко мне на Страстной». Сейчас я уже думаю, что он прав, но в братстве ведь станут считать меня преступником! Катя

Помылева уже шарахнулась от меня: наверно, вообразила, что у меня на совести, по крайней мере, убийство и изнасилование!

— Как он суров! — повторял пораженный Петя.

«Римлянка» была очень тактична — она ни слова не сказала о случившемся; Мэри, подходя, бросила на Мику быстрый любопытный взгляд, который несколько польстил ему. Совершили все согласно ранее намеченной программе: Мика остался ночевать и был уложен на кофре у двери, молитвы читали вместе. Утром Мика подошел к Ольге Никитичне и прямо спросил:

— Может быть, мне лучше не ходить к обедне, если я уж такой преступник?

Она ответила спокойно и, как всегда, убежденно:

— Никто о тебе этого не думает. Отец Варлаам строг, гораздо строже отца Гурия; он хотел тебя испытать и смирить. Он очень многих подвергает епитимье. Если ты придешь в церковь помолиться вместе с нами и поздравить нас с приобщением, ты явишь выдержку и послушание, которые иноками так высоко ставятся.

Мика поколебался, но пошел. Он очень считался с мнением Римлянки, притом взгляд Мэри убедил его, что он заинтересовал своей особой юную, и притом как раз женскую, часть братства, и сам того не замечая, за обедней он порисовался своим мрачным и разочарованным видом.

В первый день школьных занятий Петя почему-то в класс не явился. Голова Мики все время поворачивалась на дверь, так что шея у него заболела, а Пети все-таки не было. Прямо из школы Мика помчался к другу. На звонок открыла соседка; когда же он постучался в комнату, высунулась голова Пети и что-то в нем тотчас показалось Мике не так: у горла не было белого воротничка, глаза подпухли и покраснели, петух на затылке совсем распушился, в комнате все было вверх дном.

— Эй, старина, что случилось? — спросил, входя, Мика.

— Несчастье у нас — мама не вернулась.

— Как не вернулась? Откуда? — и пораженный Мика сел на кофр у двери.

— Ее в гепеу вызывали: прошло уже больше суток, а ее все нет. Они возьмут маму в лагерь, как папу. Считай меня трусом, считай маленьким — мне все равно! Я без мамы жить не могу! Мама всегда была с нами, каждую минуту, во всем. В доме без нее все сразу перевернулось. Ты этого не понимаешь, потому что у тебя мамы никогда не было!

— Нет, я понимаю! Ты напрасно... я понимаю... как же это произошло?

— Повестка пришла еще третьего дня, но мама нам не говорила. Вчера только утром, когда мы уже встали и выпили чай, она вдруг говорит, что получила вызов и сейчас должна выходить. Успокаивала нас, все повторяла: «Ничего, дети! Бог милостив! И к двум часам я, наверно, уже буду дома». Потом передала Мэри квитанции из комиссионного магазина — они все уже оказались переписаны на имя Мэри: мамочка накануне ходила для этого в магазин. Ну, а потом уложила в маленький саквояж перемену белья, мыло, полотенце, наши фотокарточки и икону Скорбящей, свою любимую. Мэри сунула ей туда еще булочку. После этого мама нас перекрестила и сказала: «Христос с вами! Только не ссорьтесь — и все будет хорошо». Мы хотели бежать за нею, чтобы подождать ее у подъезда Большого дома, но мама не позволила — «Лучше пойдите в церковь». Мы только до ворот ее проводили; у ворот мама еще раз поцеловала нас и опять сказала: «Христос с вами, мои маленькие!» — и больше не оглядывалась.

— Ну, а потом?

— А потом мы побежали в церковь, а когда возвратились, нам было очень страшно открывать дверь — пришла или не пришла? Мэри во-

шла первая и говорит: никого! Но ведь двух часов еще нет. Мэри побежала за хлебом, вернулась, а мамы все нет. Тогда мы вышли на площадку лестницы и стали смотреть вниз, в пролет, — часа два, наверно. Мэри вдруг стала дрожать, как в ознобе. Знаешь, как это страшно — ждать. Я уговорил Мэри вернуться в комнату и закрыл пледом и пальто, и мы просидели рядом на ее кровати еще часа два; уже зажгли свет, а мамы все не было; только поздно вечером мы сели пить чай; тут как раз нагрянули *они*; стали все перерывать, как тогда, когда брали папу; а нас с Мэри посадили на кофр и не велели двигаться. Накануне мы в «чепуху» играли: они увидели брошенные записки, а в одной из них было: «Сталин и Мэри в кухне среди ночи строили друг другу рожи». Они показывали это один другому. Часа три возились; когда уходили, один сказал Мэри: «Ну, ну, не унывай, девчонка, не пропадешь!» Посочувствовал как будто! Мы всю ночь не спали, у меня голова болит.

— А где же Мэри?

— Она пошла к тете рассказать ей, что у нас случилось.

— Я дождусь с тобой Мэри; ты, старина, держись, будь мужчиной. Давай-ка перекусим, у меня бутерброды остались. Возьми, нельзя терять силы.

Скоро пришла Мэри и пожаловалась, что тетка во всем винила Ольгу Никитичну за неосторожность и очень переживала, что надо будет теперь еще заботиться о Пете и Мэри.

— Больше ты к ним не пойдешь! — воскликнкул горячо Петя. — Сядь, сядь — ты устала! Давай я тебе налью чаю.

— Возьми бутерброд, — сказал Мика, — и давайте обсудим, как быть; я во всех хлопотах вам буду помогать, а в школу тебе надо завтра же выйти, старина, а то начнутся неприятности.

Но Петя отрицательно замотал головой:

— Носу не покажу! Комсомольское бюро теперь совсем заест меня. Я нашу школу ненавижу, я поступлю на службу. Надо же комунибудь зарабатывать деньги.

— А я никогда не соглашусь на это! — запальчиво крикнула Мэри. — Мама запретила нам ссориться, но как же не сердиться за такие вещи! Мама и папа вернутся же когда-нибудь, и вдруг окажется, что Петя не кончил школу... Какой это будет удар, особенно папе! До весны мы отлично просуществуем вещами: у нас сданы полубуфет, журнальный столик и бронзовый рыцарь с копьем — должны же будут всё это купить! А весной я окончу школу и устроюсь работать сама. Я — старшая, а Петя должен учиться. Может быть, мамочку скоро освободят, а Петя, пропустив четверть, погубит целый год школы — скажи ему, Мика, что я права!

Мика принял сторону Мэри, но у Пети были свои доводы:

— Какой же я мужчина, если допущу, чтобы сестра работала, а сам буду сидеть на ее шее? Папа первый меня осудит. Ты, Мэри, женщина, и в вопросах чести не понимаешь ничего! Молчи поэтому! Теперь, когда мы вдвоем, ты под моей охраной; я отлично знаю, что я должен делать, и не позволю себе указывать.

К согласному решению так и не пришли. Мика ушел огорченный и взволнованный.

Продолжение следует

ПОЭЗИЯ



ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ



ИЗРАНЕНА СУДЬБА, ОЧАГ ИСПЕПЕЛЕН

Тьма внешняя

Как бы во сне — на дне
развалин храма,
разбитого войной или страной,
лежали мы во власти тьмы и хама,
покрытые кровавой пеленой,

сплетенные корнями сухожилий,
проклеенные вытечкой мозгов, —
развратники, последыши рептилий,
лжецы и воры низких берегов.

И дьявол нас вычерпывал бадьёю,
как сточные отбросы сплывших
лет...
Но и меж сих, отвергнутых Судьёю,
нет-нет и брезжил покаянный свет!

***

Бесы

Теперь они в венцах и в силе
сосут заморское винцо.
Они примазались к России,
чтоб очернить ее лицо.

Оракул их речист, неистов
(от партнаград ожог в груди!),
хоть он и в силе, но — в нечистой,
и нам с таким не по пути.

Торчат на псевдо-баррикадах
(народ молчит, они — кричат!).
Они — из дантова лже-ада.
Но будет им и сущий ад.

ГОРБОВСКИЙ Глеб Яковлевич родился в 1931 году в Ленинграде. Автор нескольких книг стихотворений и прозы, в том числе «Поиски тепла», «Возвращение в дом», «Черты лица» и других. Член Союза писателей. Живет в Санкт-Петербурге.

Национальный вопрос

Костер над речкой ночью двое
жгли.
Два мужика — скобарь и белорус.
«Вы, русские, ня любитя
зямли», —
сказал один, куснув белесый ус.

Земля лежала в бархате теней,
в алмазах вызревающей росы.
«Вы робить не умеяте на ей,
а хлеб ядите...», — мыслили усы.

Скобарь в ответ,
уставив в небо зрак,
припав к земле,
как будто это печь:
«А хлеб по-белорусски —
будет как?» —
«А... так и будет!» —
«Так о чем же речь?»

+++

* * *

Клубится в стихах черно-белая явь,
коверкает строчки угрюмая новь.
От слова до слова приходится — вплавь...
А где же, приятель, стихи про любовь?

Они притаились в заречном лесу,
в созревшей траве — и сидят, как грибы.
Они паутинкой сквозной на весу
дождинок хрустальные держат гробы.

Там солнце встречают еще по утрам,
как Бога! Ликуя и трепеща...
Иссякшее сердце неси в этот храм —
любви зачерпнуть из живого ключа.

* * *

Ржавая железная дорога.
Поезда не ходят. Тихо. Строго.
Только ночью иногда с откоса
простучат чугунные колеса.

Что-то просквозит или проедет —
красный бронепоезд или ветер...
Проворчит нездешнее на стыках,
и опять надолго станет тихо.

Непременно в этот миг итога
я проснусь, как бы заслышав Бога.
И, припав к пространству
жадным слухом,
вновь и вновь прощаюсь
с дивным стуком.

+++

Французские капли

«Свобода, равенство, братство...»

От вкрадчивых капель хмелеет округа.
Свистнт тенорок, как тамбовская вьюга!
И брызжут с трибуны — мокротой — слова:
«Россия без крови и смерти — мертва!»

Ах, вам ли не знать, сатанинские дети,
что чадо свободы зачато — в запрете.
Что путы свободы и цепи тюрьмы
извечно — одной — порождение тьмы.

Все ваши призывы не глубже могилы.
Лишь в гордом смирении черпаю силы;
не в ваших свободах, чье имя тщета, —
в пресветлой, предсмертной улыбке Христа.

* * *

Не по сытой иностранщине,
где кисельны берега, —
по родимой партизанщине,
по махновщине — тоска!

Неизжитым сердце полнится.
Жар лампас и дыбь папах, —

это вновь казачья вольница
в степь летит на скакунах.

Не подделка комсомольская,
не в обмане, не в гостях, —
вновь тележка гуляй-польская
вдоль России — на рысях!

* * *

Успеваю подумать
перед тем, как заснуть,
что за явью угрюмой
следом — свет! А не муть.

Не ничтó и не нéчто,
а — легко и светло,

не глобально, не млечно,
а — с души отлегло.

Ты же звездная прихоть,
мир, способный не тлеть,
успевающий вспыхнуть,
перед тем, как сгореть.

Жалобы диссидента

Враги ушли. Со сцены — в Лету.
Каких теперь свергать князей?
Со властьимущими поэту
не по пути.
Долой друзей?

Какой теперь держать экзамен?
Быть верноподданным —
позор.

Поэт обязан партизанить,
скрипеть зубами, хмурить взор.

Ах, боже мой, какая скука —
свергать одних, затем других...
Куда прелестней — дождь
иль вьюга
деяний наших
лжеблагих.

1917-й

Проиграна война,
но дух непобедим.
И злые времена
рассеятся, как дым.

Изранена судьба,
очаг испепелен.
Отпела путь труба.
Сам Государь пленен.

Пусть выдохлись сердца,
потерям счет велик,
но кровь сойдет с лица,
и — воссияет Лик!

...И потрясенный мир
следит, вздымая грудь,
как бы кровавый пир —
России крестный путь.



СЕРГЕЙ ЕСИН



СТОЯЩАЯ В ДВЕРЯХ

ПОВЕСТЬ

Писатели, как известно, — это граждане, которые в основном выступают по телевидению. Конечно, иногда они и что-то пишут, но кого, собственно, интересуют их скучные и монотонные писания, когда даже самый сногсшибательный роман можно во многих телевизионных сериях просмотреть на волшебных волнах голубого эфира?

Для всего нашего великого народа писатель — это несносное существо. Все как одни они полны кичливости и самомнения. Ходят слухи, что все писатели — богатеи, по крайней мере в публичных писательских склоках, о которых регулярно и ярко во имя гласности нам рассказывает телевидение, фигурируют многоэтажные дачи, машины, несусветные гонорары, поездки с женами за рубеж. И это, конечно, правда! Что им еще, этим бумагопереводителям надо, что делят, о чем кричат? Я бы на их месте в наше сумасшедшее время вообще помалкивала, набрала в рот воды, и как положено в таких хлебных случаях, дружненько и согласованно хранила и тайну своих заработков, и тайну своих ссор. А то ведь все отнимут, приватизируют, конфискуют, в том числе и их непомерные библиотеки — предмет будущей книжной спекуляции. И аннулируют их сомнительные права на дополнительную жилплощадь. А они все чем-то недовольны!

Вчера вечером телевизионная информационная программа, которая наконец-то стала выходить безо всяких там звездочек, башен и патетической громкой музыки, показала новую писательскую склоку. Кого-то из персон в их писательском чванливом генералитете закрыли, сместили, переизбрали — я в этом принципиально разбираться не хочу, но приятно, что действовали, нервно вздергивали подбородками и вращали безумно глазами те же самые, привычные по многим другим передачам люди. Пи-са-те-ли! Но с другой стороны, устраивать шум оттого, что какой-то мелкий региональный Союз этих самых писателей в пылу революционной бдительности и энтузиазма закрыли! И правильно, что закрыли. К чему устраивать бессмысленную войну суверенитетов. Всему свое время: было время суверенитетов, теперь, когда, можно сказать, на столе сладкие плоды победы, — к чему это трепыхание? Все кормятся из одной кормушки. Ну, одному немножко больше, другому немножко меньше. Не бьют же копытами друг друга благородные животные—кони, когда пьют воду из общей колоды. У животных нам нужно учиться мудрому современному коллективизму. Закрыли? Прекрасно! Откроют с новыми людьми во главе. Демократия создана для того, чтобы наедались по очереди все и чтобы энергичный ел побольше. В этой жизни каждый должен испытывать свои неудобства. Но все равно мне нравятся лица новых писательских лидеров вместо этих бородатых. Мне вообще нравится все новое, ведь если порассуждать: зачем нам результаты и исполнение желаний, гораздо важнее — движение.

После информационной программы я вышла на нашу общую кухню, чтобы на утро заварить кашу из «геркулеса» — утреннюю еду народа. Крупа, к счастью, еще имелась, ибо я запаслась еще год назад, когда не было талонов, ограничений и кое-что выбрасывали на прилавок. Не успела я вскипятить воду, как на кухню вплывает милый соседушка Серафим Петрович.

Он, этот занудный эстет, этот ничтожный профессоришка, этот фотолюбитель с библейским аппаратом марки «ФЭД», конечно, никогда бы не осмелился, особенно в последнее демократическое время, без приглашения и спроса задавать мне какие-нибудь вопросы или высказываться вслух. А то, что мы знакомы с ним тридцать шесть лет, со дня моего рождения, не повод к развязности. Я уже давно взрослая, я — дома и уже сама давно мать. Есть мнение — держи при себе, сопи про себя. Чего-чего, а уж свободы тайных размышлений в нашем государстве было всегда в достатке. Без спроса Серафим мог в квартире разговаривать только со своим бобиком, таким же потертым и в пересчете на человеческие времена шестидесятилетним рыжеватым псом Чарли, и то, конечно, не на общей кухне или в коридоре, где нахождение собаки негигиенично, а лишь в своей тухлой комнате за закрытой дверью и плотно задернутой некогда бархатной портьерой. Дом — это моя священная крепость и я бы никогда не позволила никому повышенных интонаций и громких нот. У меня у самой достаточно нервная работа, почти одна за всех в редакции одной из самых крупных городских газет, и на руках современный издерганый ребенок тринадцати лет, который должен учиться, готовить уроки и приобретать необходимые знания. Я воспитываю прелестную девочку Марину, которая так и ищет возможности отлынивать от душеспасительного чтения, так и готова, вострушка, реагировать на любой шум и отвлекающий маневр. «Мамочка, а кто это на кухне говорит?», «А это не Казбек пришел?», «А Серафим уже Чарли выводил?», «Мамочка, а я все уроки уже выучила — можно, я погуляю во дворе полчасика?»

Итак, в очень чистую, до блеска отмытую эмалированную кастрюльку — я по натуре чистюля, аккуратистка, в конце концов аккуратность — это знамя честной бедности, — лью я из чайника на уже отмеренный стакан «геркулеса» крутой кипяток, лью-поливаю, как выходит милый и занудливый соседушка и на подноснке несет мыть чайную чашку, розеточку из-под варенья и ложечку — они интеллигентно перед огнедышащим телевизором пили чай. Вообще наш Серафим — это какое-то немое кино. Я его знаю, как уже сказала, практически со дня своего рождения, но ведь даже за мои тридцать шесть лет он никак не изменился: кому суждено быть растяпой, тот растяпой так и останется на всю дальнейшую жизнь. И очень правильно, что еще до моего рождения его бросила жена. Такие недоделанные люди ничего не могут по-настоящему волнующего дать женщине и не должны, дабы не портить человеческую породу, иметь детей. Видите ли, по утрам они слушают музыку. Я сама женщина, как полагают многие, вполне интеллигентная и совершенно не против, когда по радио звучат куплеты из веселой оперетки «Перикола» — «Каким вином нас угощали»... или

ЕСИН Сергей Николаевич родился в 1935 году в Москве. Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Печатался в «Нашем современнике», «Новом мире», «Октябре», «Знамени» и ряде других журналов. Автор многих книг прозы. Член Союза писателей. Живет в Москве.

что-нибудь из грандиозного «Евгения Онегина» — «И мы при-ехали сю-да, де-ви-цы, да-мы, го-спо-да, пос-мот-реть, как рас-цве-та-ит она...» Прелесть! Но какой-то по утрам музыкальный абстракционизм на иностранном языке. И каждый раз, когда открывается дверь в это так называемое интеллигентское логово и выплывает преподобный соседушка Серафим с каким-нибудь кофейничком или сковородкой, на которой была яичница, а из-за портьеры вдруг выскальзывает какое-нибудь визгливое пиликанье и дурные, как пила, голоса, Серафим, будто извиняясь, как нашкодивший кот, каждый раз говорит: «Это Беллини» или «Сегодня я прослушиваю «Навуходоносора» Верди». Разве мне не известны эти иностранные имена? Разве когда я ношу по этажам редакционного здания газетные полосы, я не заглядываю в них? В нашей вполне культурной, «с направлением», газете я встречала имена и покруче: Метастазио и Шимановский. А?

Итак, встет, держа в руках подносик с остатками жалкого ужина, выходит на кухню и сразу же мне говорит: «Вы подумайте, милая Люсенька, в информационной программе рассказали о силовой попытке захвата так называемыми демократами Российского Союза писателей. Одни писатели против других писателей. Писатели-демократы, эта совесть народа, вдруг совершили неконституционный, просто-таки большевистский захват власти. Одни писатели, которым до зубной боли очень хотелось властвовать, захватили ее у тех, кто этой властью по праву обладал».

Очень сильное возмущение было написано в этот момент на физиономии нашего эстета. Конечно, я отчетливо допускаю, что дыма без огня нет, что-то там, наверное, и было незаконное, Серафиму виднее. Он сам ведь тоже какой-то там писатель, сочинитель, по совместительству фотолюбитель, раз в месяц мокнущий у нас в ванне. Его статьи с рассуждениями о всяких романах и повестях появлялись в газетах, и еще пять или шесть лет назад мы с дочкой во дворе гордились таким соседом. Он даже преподает какую-то эстетику-кибернетику в творческом вузе. Меня вообще очень удивляет, что может преподавать человек, так мало связанный с нашей быстротекущей жизнью. За все время благословенной перестройки я не видела, чтобы он когда-нибудь ходил на митинг; соседушка не состоит ни в какой партии; как стало безопасным и возможным такое, перестал ходить голосовать на избирательный участок, и я ни разу не слышала от него каких-либо восторженных разговоров о наших новых лидерах. О, душечки, о, три богатыря — Юрий Афанасьев, Юрий Карякин и Гавриил Попов! Мои лично знания о нашей жизни неизмеримо больше, чем этого профессоришки, всю жизнь получающего большую зарплату. Музыку, конечно, он слушает, книги регулярно покупает и заставил ими всю свою комнату. Я даже одно время предполагала, что в этой его книжной страсти есть некоторая корысть. По вторникам, под вечер, он регулярно ходит на Кузнецкий мост (прекрасное старинное название, которое наверняка не будет, слава Богу, изменено) в свою так называемую писательскую «Книжную лавку». Коли в этой блатной лавке навалом дефицита, то, естественно, сам Бог велел, чтобы им попользоваться. Ведь на книжных развалах, которые словно в Париже — по словам Серафима, конечно, ибо я в Парижах не была, потому что меня не посылали, но была в Дубултах в нашем редакционном доме отдыха — вот на этих развалах, которые выросли возле станций метро, на людных улицах, около вокзалов, книжки продаются совсем не по обозначенной на их обложках стоимости, не по номиналу, как говорят в коммерческом отделе нашей редакции, а значительно выше обозначенной стоимости. Напрашивается неминуемый логический вывод. Я каюсь, у меня были такие грешные подозрения, и я одно время внимательно за ним следила: Серафим приносил в дом огромные, аккуратные стопки с книгами, запакованными в серую оберточную бумагу. Он распаковывал все это втихаря, в логове, в своей комнате, иногда даже дарил моей Марине книжку воспитательного характера и соответствующую ее возрасту. Я даже полагала, что в этом есть некий отвлекающий момент. Но именно из этих подарков у нас, в двух наших комнатах, и собралась небольшая, но достойная библиотечка. А может быть, действительно книжки дарились, чтобы усыпить мою бдительность? Оберточную бумагу Серафим выносил на кухню и складывал в стопку уже прочитанных газет, которые он выписывал не мелочась за свой счет и любезно по прочтении предоставлял

мне, чтобы развивала свой культурно-политический уровень, и я обменивала их как бумажную макулатуру на популярные книги. Таким образом, уже моими стараниями к небольшой библиотеке детской литературы прибавилось еще два десятка книг, рассказывающих о приключениях знаменитой французской женщины Анжелики и истории французских королей из династии Валуа. Надо сказать, что я обожаю Францию и все французское: колготки, парфюмерию, неплохо знаю историю страны по этим романам, а также по романам популярнейшего классика французской литературы Александра Дюма. Так вот, должна признаться, многомесячные упорные мои наблюдения убедили меня, что Серафим безусловно — о, растяпа! — не ведет никакой взаимовыгодной книжной торговли.

Я не вполне уверена, что в наше динамичное время можно хвастаться, что прожил всю жизнь на одном месте и проработал в одном учреждении. Нашли чем гордиться, придурки! Однако в случае с моим соседом Серафимом это действительно так: восемнадцати лет, в 45-м году, он демобилизовался и вернулся в квартиру в центре Москвы, где до войны жил вместе со своими интеллигентными родителями. Но к этому времени его родители уже были сосланы в ссылку, в которой, естественно, в соответствии с заведенным порядком, уже погибли, а мои собственные родители — тоже, кстати, фронтовики, только тяжелого рабочего тыла, были вселены по ордеру в их квартиру. Существовало справедливое правило, по которому жилье, при общем его недостатке, не могло простаивать, и мои родители, ютившиеся ранее в подвале этого дома в каморке, переехали в трехкомнатную квартиру на втором этаже. Но самая большая комната, в которую снесли и составили все вещи сосланных, по справедливости, как фронтовику, и вследствие того, что сын не должен отвечать за дела отцов, была все-таки оставлена за Серафимом. Вернувшись с войны, Серафим мог бы, конечно, протестовать или неразумно судиться, чтобы вернуть себе всю квартиру, но почему-то не стал, а сразу же поступил учиться в институт. У него на все и про все было одно объяснение: в нашем роду это не принято. Вообще было сильное подозрение в нашем дворе и окрестностях, что Серафим и его долго маскировавшиеся под обычных интеллигентов родители из какого-нибудь дворянского рода. Но теперь, в наши дни, это уже не имеет никакого значения, теперь это считается даже положительным и модным. А дабы никчемность Серафима была очевиднее, я даже могла бы сказать, что и научная его жизнь, которой он очень гордится, проистекала безо всякой с его стороны инициативы: он не только закончил институт, но в нем же и остался преподавать. Как Илья Муромец, сорок лет сидит на одном месте! И этот безынициативный, крутой лежебока теперь собирается меня, как человека демократически настроенного, уязвлять своими высказываниями!

Я ответила с большим достоинством:

— А вам бы только, Серафим Петрович, критиковать демократов. Вы только вдумайтесь: власть на-ро-да! Только при демократии по-настоящему осуществится наша мечта: кто был ничем, тот станет всем. Мне вот даже нравится, что в вашем Союзе писателей идет передел. Власть захватывают более демократически настроенные и передовые люди.

— Вы ошибаетесь, Людмила Ивановна, власть пытаются захватить люди более энергичные, но их энергия неизменно отсвечивала при всех предыдущих режимах, и, как правило, все эти новые захватчики, которых вы считаете истинными демократами, неизменно пользовались поддержкой так нелюбимой вами теперь партии.

Этим своим рассуждением старый гриб хотел меня, наверное, уязвить. Но не на ту нарвался, мы уже воистину другие, нам теперь рот не заткнешь. Разве он со своей образованностью поймет, что убеждения даются по вере. Я доблестно сумела ему отпарировать:

— Совершенно согласна со сложившимся в народе и у демократической общественности мнением, что во всем, что случилось в нашей стране, виноваты коммунисты. Но я первый раз за последнее время вижу, чтобы какой-нибудь дворянин поддерживал большевиков.

Дальше все не особенно интересно. Серафим долго ныл о чувстве спра-

ведливости, об умении сохранять в любых ситуациях твердость взгляда, о благородном человеке, всегда отстаивающем истину. Почему он воспитывает меня до старости лет? В его аргументации были жалкие, достойные телекомментатора Невзорова, слова о демократии бывших секретарей обкомов, что в политике, как и в писательской среде, одни и те же, не самые талантливые люди лезут к рулю при любых режимах и что и среди писателей, и среди политиков очень много бывших любимцев партаппарата. В общем, занудная, привычная песня про ренегатов, про популистов. Пусть говорят!

Я помешивала под это профессорское щебетание геркулесовую кашу и думала, что настоящую зрелость человеку дает лишь его близость с народом, с простым человеком, его участие в процессе труда. Конечно, не совсем скромно ссылаться на себя, но люди, подобные мне, и составляют настоящую опору демократии. Люди, которые ничего не имеют и которым ничего за всю жизнь не дали. Конечно, некоторые, еще недобитые, большевики скажут: сама виновата, сколько, дескать, академиков и народных артистов вышло из самых народных низов! Но из меня-то получился только редакционный технический работник, разносящий по этажам газетные полосы и свежие ленты телетайпа. Но — насмешка судьбы — в городской партийной газете, которую, к счастью для истины, демократические власти приостановили. Как я переживала все время, когда приходилось распространять эту лживую партийную информацию. Значит, я не борец, а соучастница? Мне все время хотелось швырнуть в морду всем своим так называемым «товарищам» все их партийные блага! Пусть больше никогда не будет у меня роскошных домов отдыха, я начну лечиться в обычной поликлинике, пусть не будет очень неплохих продуктовых заказов. Но каждый раз я себе говорила: у тебя ребенок, и все равно это награблено у народа. Так почему же не пользоваться? Экспроприация экспроприаторов. А собственно, разве я не заслужила жизни чуть полегче после стольких лет трудовой деятельности? Но какое счастье, что врачи сочли необходимой перемену деятельности, и я оказалась на газетном поприще. Пробираясь с этажа на этаж, я ведь могу оглядеться, имею возможность задуматься, сравнить, о чем говорят и что пишут журналисты. Теперь-то я понимаю, что рабочие и не могут быть бродилом ревпроцесса. Их удел — труд и создание материальных ценностей, а революционный авангард — это интеллигенция и, как я, люди умственного и полуумственного труда. А до газеты, с шестнадцати лет, я каждый день вкалывала по восемь часов, не поднимая головы. И везде конвейер: на хлебопекарном заводе, на фабрике детской механической игрушки, на консервном комбинате, на изготовлении искусственных цветов. Если бы всех писателей посадить на конвейер, может быть, тогда они начали по-другому рассуждать, что необходимо народу.

Я помешивала кашу, ждала, когда закипит в кастрюльке, а перед глазами, под все ту же болтовню Серафима, поднимались разные картинки моей счастливой юности: и как за воротник «заливал» папочка, а потом «гонял» мамочку по квартире, и как от рака легких, от ароматов на своей парфюмерной фабрике умерла мамочка, а еще через десять лет из-за курева и сужения сосудов на ногах папочка — сначала ему отрезали ступни, потом ноги по колено, а потом пришлось его сдать, как ветерана, в дом для инвалидов.

Не скрою, очень приятно думать о перенесенных несчастьях. Особенно когда они минули и на душе поспокойнее.

Маринка отчего-то удивительно рано нынче вернулась с гуляния, с «улицы», которая у них, у молодняка, расположена или в соседнем подъезде, или на площадке между четвертым и пятым этажом. А Казбек с минуты на минуту позвонит и, наверняка, приедет. Ужин для него всегда готов: кастрюля харчо в холодильнике, которое я варю раз в неделю, кусок какого-нибудь отварного мяса, а нажарить сковороду картошки — это один момент. Тут, ожидаючи, можно повспоминать и что-нибудь уже пережитое: одни и те же несчастья не повторяются. Или что-нибудь захлебывающе-приятное. Например, как я впервые ощутила горячую руку Казбека на своем бедре. Что там злектричество, что там молния... Так, наверное, от прикосновения раскаленной кометы когда-нибудь расколется Земля.

Да, наверное, в этот момент — а пузырьки от каши уже пошли — я про себя слегка улыбнулась. Расслабилась от постоянной готовности отражать и позволила себе — вот досада! — улыбнуться, а ведь знала, что Серафим может воспользоваться любой щелочкой благодушия для контакта. Обязательно влезет со своими разговорами!

— Мне кажется, Людмила — (все-таки влез!), — вы недостаточно отчетливо представляете свое новое будущее.

Уж коли я опрометчиво ввязалась в разговор, я и ответила:

— Мы завоевали свободу и демократию! А у народа общее будущее. Может быть, впереди будет лучше. — И посмотрела на него со значением: на-ка, дескать, выкуси!

— Для кого? Большевистский переворот, как сейчас говорят, в семнадцатом году не мог бы произойти, если бы он не опирался на поддержку масс рабочих и крестьян. Но где они сейчас, те крестьяне? Куда их отослали при коллективизации? Мы, конечно, избавились от КПСС, но не избавились ли мы вместе с ней от бесплатного высшего образования? Хотя бы, предположительно, раньше вы могли думать, что дадите Марине высшее образование, а сегодня все чаще говорят о том,что самые привилегированные учебные заведения становятся частными. Понятна моя мысль?

Вечно он меня хочет унизить. Если я секретарша, значит, не могу вести решительного разговора? Как бы не так! Это у меня раньше не было ответов, когда у всех были зажаты рты.

— Страна была в кризисе, до которого ее довели большевики.

— Насчет кризиса я согласен. Но только я совершенно уверен, — продолжал язвить Серафим, уже, наверное, в десятый раз перетирая свои блюдечки и чайные ложки, — что при новом строе, как я его понимаю, я, лично я, буду жить значительно лучше. Конечно, сейчас пойдет возня за некоторое условное повышение уровня жизни социально незащищенных слоев — пенсионеров, студентов, стариков, чтобы те пока не трогались, не рыпались. Это наиболее массовые слои общества, и, если, недовольные жизнью, они выйдут на улицу, здесь никакая самая новая и популярная власть не устоит. Но тенденция в обществе, определяемая новой властью, направлена к тому, чтобы самые энергичные и квалифицированные жили лучше. Разве это не справедливо? Сейчас у нас с вами, Людмила Ивановна, почти одинаковая зарплата, хотя я профессор и писатель, а будет со временем — как на Западе — очень и очень разная. Но ведь так и положено профессору и простой работнице.

— Лучше уж пусть будет как на Западе, чем как здесь. В каждой телевизионной передаче показывают: все витрины — полны, везде свет, народ весь в импорте. Почему мы не можем жить, как они?

Каша моя наконец уже вовсю закипела. Если бы я изредка не брала у этого старого хрыча взаймы до получки деньги, можно было бы все свернуть и прекратить терпеть нравоучения. Но в этом внезапном разговоре было что-то меня беспокоящее. Какая-то притягательность и даже сладкая боль в этих рассуждения о нашем будущем. Я, конечно, верю в светлое будущее демократического общества, ну а вдруг? Какой-то очень дальний коммунизм, конечно, тоже — кто его знает!—мог бы и состояться. А если это изобильное счастье и достойная демократическая жизнь для простых людей скажется в таком отдалении, что до него не дотянусь ни я, ни Маринка, а? Вот именно из-за этих сомнений и приходилось слушать Серафима. И откуда у него на все ответы!

— Жить-то, наверное, сможем, — сказал Серафим, а сам просто весь зарделся, что я с ним беседую.

Я иногда смотрю на него и думаю: очень уж он бескорыстен. Книжки дарит, всегда деньги дает, никогда не спрашивает долг, всегда готов с услугой. А может быть, действительно недаром ходили одно время некоторые слухи, что покойная матушка в самом начале, в молодости, была с ним в некоторых отношениях? И у Маринки глаза такие же голубенькие, как у Серафима, а не как у ее отца Владимира Николаевича. Может быть, здесь что-то есть?

— Жить-то сможем, — продолжал гнусавить Серафим, — но почему вы

думаете, что эти полные витрины доступны для таких простых людей, как, скажем, вы, Людмила? Это ведь нас приучили, что если что-нибудь в магазине выбрасывают, то это почти всегда доступно всем. Самые простые девушки у нас ходят, если достают, в замечательных импортных сапогах и душатся дорогими французскими духами. А ведь на Западе по-другому! Смотреть на витрины действительно могут все, но покупать, а часто и просто заходить в магазины — лишь богатые. Я боюсь, что в обществе, за которое вы так ратуете, вам отведена, Людмила, роль бедняка,который развлекается созерцанием витрины.

Я, конечно, ценю ум Серафима и возможность кое-что от него почерпнуть. Если уже почти десять лет я вращаюсь в интеллигентном обществе, среди газетных работников, я ведь должна в их среде поддерживать соответствующие разговоры. Вворачивая иногда в какую-нибудь беседу запомнившиеся мне мысли Серафима, я замечаю в глазах своих сослуживцев поощрение, а порой и восхищение. Вот, дескать, самородный талант и врожденная интеллигентность народа! И тем не менее даже от него, от Серафима, во имя пополнения знаний, я не способна терпеть удручающие меня сведения. Зачем на ночь лишние переживания? Не так уж все плохо у меня складывается. Неудавшийся путч этих партийных идиотов, оборона нашего Белого дома, в которой я тоже принимала посильное участие, — все это уже позади. Навели порядок в стране. А уж завтра тоже боевой день. Мы собираемся наводить порядок в своей газете — менять главного редактора и брать власть в по-настоящему народные руки. Почему же тогда я должна расстраиваться, погружать себя в излишние переживания? Хватит жить будущим! И мне эта старая сука будет еще читать свои ненавязчивые морали! Я прервала наш так не вовремя начавшийся с Серафимом разговор и, попрощавшись, пошла в свою комнату досматривать «Актуальное интервью» и ждать телефонного звонка от Казбека.

Как бы пренебрежительно современные интеллигенты ни говорили, но я люблю толпу. В массовой всеобщности есть какая-то свобода и защищенность. Здесь можно говорить что хочешь и верить в собственные безграничные силы. Те, кто ругает и часто презирает толпу, пытаются руководить и властвовать от ее имени. Противопоставление народа толпе, о чем очень любит писать так называемая патриотическая пресса, — это искусственное разделение, принижающее народ. А почему, собственно, толпа не народ? Почему триста человек какого-нибудь Верховного Совета представляют весь народ, а сто тысяч собравшихся на митинг — это крикуны, экстремисты и боевики?

С первых же дней перестройки я начала ходить на митинги. Сначала, как мне казалось, я искала здесь какой-то медицинский эффект. После целого дня редакционной беготни и затхлости было приятно несколько часов провести на свежем воздухе. А может быть, просто я жила в районе всех самых крупных митинговых площадок, на Остоженке; и Зубовская, площадь у метро «Парк культуры», площадка у Лужников и даже грандиозная Манежная площадь — все это от моего жилища неподалеку. Особенно мне нравились митинги у Лужников. Здесь было просторно, красиво, не стеснено домами, иногда в обзор попадала колокольня Девичьего монастыря, а самое главное — всегда долетал свежий ветерок от Москвы-реки.

Честно говоря, вначале я даже не очень вслушивалась в то, что на этих митингах говорили. Цели и призывы всегда, по моему разумению, были благородные, а уже детали должны интересовать политиков. Если звали простой народ поддерживать наши простые народные интересы, — я всегда шла. В этом была какая-то праздничность, будто идешь на первомайскую демонстрацию. Я уже даже стала узнавать людей, которые вместе со мной выходили из метро или шли от остановки троллейбуса, по их приподнятому, бодрому и боевому виду. Здесь, наверное, много было таких же обездоленных политическим строем и жизненной несправедливостью женщин, как и я, но в основном это был народ интеллигентный, политически подкованный.

Я недаром, как человек по-народному искренний и непосредственный, утверждала и утверждаю, что люблю толпу. Кто тебя здесь знает? Кого знаешь

здесь ты? Но вот когда очередной оратор что-нибудь завернет свежее про тех, кто мешает нам жить, и ты посмотришь на соседа или соседку, а они посмотрят на тебя, то сразу понимаешь, что ты не колода, а мыслящий человек. Мы — единомышленники. Как здесь приятно и горячо начинает биться сердце! А что человеку еще надо? Сочувствие, понимание, ощущение, что ты не одинок! Совместного действия, совместных желаний и устремлений я на этих митингах получила больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Я, может быть, только здесь по-настоящему и вздохнула.

Это на работе ты «подай, принеси и поди вон», наш ответственный секретарь почему-то требует, чтобы я ему заваривала чай и в начале перестройки, когда сигареты регулярно бывали в любом табачном киоске, бегала ему за куревом, а он, между прочим, на чай, как все остальные рядовые сотрудники, для которых я чай обычно завариваю несколько раз в день, денег не давал. Я, конечно, понимаю, что на моем месте больше бы подошла какая-нибудь юная девочка в коротенькой юбочке, которая с полосами в руках летала бы с этажа на этаж. Я даже была благодарна своему выслужившемуся не без помощи партбилетов начальству за то, что оно для меня сделало, а именно: совместило две ставки — курьера и секретаря-телефонистки. Это позволило мне не думать о приработке, но почему, тем не менее, всё так жестоко разделено на «творческих» и «технических»? Хоть бы раз со мною кто-нибудь из творцов побеседовал о чем-нибудь умном. Не успев сочинить и напечатать какую-нибудь мелкую статейку, творцы уже бегали друг за другом по этажам: «Ну, как, старик, я написал? Как я врезал?» А меня никто не спросил: как я живу? на что одеваюсь? как воспитываю свою дочь? Товарищи интересовались только сами собой, а почему тогда я не должна была интересоваться, чтобы сделать мою жизнь содержательней и лучше?

Но если уж совсем честно, в многолюдстве толпы есть и еще одно свойство. О, если бы кто-нибудь знал, что значит быть одинокой женщиной! Да, конечно, тяжело воспитывать ребенка, тяжело, но можно, можно всю работу по дому научиться делать самой. Чего я только не умею: и класть кафель, и чинить пробки, и поставить кран на кухне. Мне нравится, когда мужчина поддерживает свою дамочку под локоток, когда она переходит улицу. А когда дамочка несет еще в авоське или каком-нибудь импортном, с цветами и надписями, кульке десять килограммов картошки и два пакета молока? А кто дамочке носит по пуду постельного белья из прачечной? Здесь многое можно перечислить из того, что приходится делать одинокой женщине, но тяжелее всего — это ложиться одной спать. Да разве «спать» — это, как в молодые годы, трахаться по семь раз в сутки? Разве спать — это даже трахаться ежедневно? А если в постели, засыпая, просто взять чужую руку и, сжав ее, уйти вместе, сцепившись, в сон? Вот оно, привычное блаженство вдвоем, вот оно, чудо. А как быть одинокой женщине, когда глаза, душу, тело закрывает тупое и обессиливающее желание? Вот с чем научили бы нас справляться журналисты, пишущие об экономике и позавчерашней истории. Что они знают о том, как кружится голова в троллейбусе от запаха какого-нибудь постороннего сопляка? Разве им понять, как, сойдя с катушек, женщина в этот момент может забыть долг, ребенка, взятые на себя обязательства! Разве можно объяснить, как в переполненном утреннем вагоне метро какой-нибудь грязный подонок, грубо прислоняется, норовя обхватить руками за бедра, и нет сил оторваться от него. А тот постыдный, тяжелый как деготь взгляд, который ты бросаешь на редакционных шоферов, на знакомого мясника, на шашлычника, торгующего возле кинотеатра. Вот почему я еще люблю толпу. В толпе, как пловчиха в море, я вольно дышу. А может быть, кто-нибудь скажет, что в толпе, «в этой грязи», невозможно найти и отыскать свое счастье? Из тугого, как обмылок, желания разве не может родиться дружба и чувство?

Я прямо и честно заявляю: мне «э т о г о» надо много. Может быть, это наследие моей мамочки, о которой ходили слухи, что даже любимую и единственную дочку она нагуляла от молоденького фронтовика-соседа. Не знаю, как у других женщин, а у меня потребности значительные. Лицемеры скажут: разврат-

ная! А почему? Дышать воздухом, есть, когда хочется есть, спать, когда хочется спать, — разве в этом есть что-нибудь противоестественное? У одних аппетит больше, у других меньше. Одним для нормального самочувствия нужно шесть часов сна, а другим — десять. Все в этом мире полно условности. Везде в старинных романах, которые нынче продают у метро, пишут, что русская императрица Екатерина Великая, дескать, развратница. Но бьюсь об заклад, что у современной молоденькой «порядочной» сучки мужиков к двадцати пяти годам было в пять раз больше чем у царицы за всю ее жизнь. А если бы этой современной падле Катины императорские возможности, а? А кто при всем при том мог бы утверждать, что русская царица-императрица не была умницей, не была выдающейся женщиной? При чем же здесь, тогда спрашивается, страсть к «этому»? При чем здесь порядочность и так называемая духовность, о которой наши редакционные молоденькие сучки, отдаваясь втихаря на столах и редакционных диванах, так любят поговорить? Духовность и порядочность в том, чтобы не крутить рогами, когда совсем другое место чешется. Чтобы хоть себе-то признаваться в собственных страданиях. Я иногда, в минуту собственной откровенности, думаю: а что же меня в свое время отвлекало, когда мои сверстницы из благополучных семей играли на фортепьяно, долбили иностранный язык или грызли школьную премудрость? Это мне сейчас, конечно, совершенно ясно, что политический строй и наша семейная нищета мне помешали выбиться в интеллигентные люди и получить мощную городскую специальность директора комиссионного магазина или музыкального редактора где-нибудь на радио. Почему после восьми классов захотелось мне завернуть во взрослую жизнь и расстаться со школьной усидчивостью? А вот п о э т о м у.

Это пусть другие, привыкшие врать, так и врут, что никогда не чесали и не щекотали себя в постели собственной теплой детской ладошкой. Так уж и не интересовались никогда, как устроены мальчики и зачем у них этот маленький крантик? Не рассматривали в книжках разные картинки и скульптурки? Не интересовались, что означают слова, написанные и выцарапанные гвоздем на лестничных клетках, на заборах и в лифтах? А я очень интересовалась. В шесть лет из уличных разговоров я уже знала всю теорию и кое-что даже наблюдала у родителей из практики. Конечно, это было все очень удивительно, и, конечно, посещали меня сомнения: может быть, это детская придума, и как могут взрослые заниматься такой однообразной возней? Я вот до сих пор помню два самых первых, выученных мною в детстве стишка. Самый-самый первый — это всем известное: «Колокольчики мои, цветики степные...» и далее согласно всем известному тексту. А вот второй стишок мало кому ведом, поэтому привожу его целиком: «Шла женщина с арбузом, с большим, огромным пузом. На пузе два ребенка — мальчишка и девчонка. Зашла она в ресторанчик и села на диванчик. А вдруг из-под дивана четыре хулигана. Один схватил за сиськи, другой...» и так далее. Разве такой сюжет может не взволновать детское воображение? Разве ребенок не заинтересуется связью всех этих жизненных компонентов? Разве пристально не начнет рассматривать свой лепесток, нежный и мягкий бутон, который источает загадку и который почему-то даже у взрослых вызывает какое-то удивительно пристальное, не такое, как, скажем, рука, палец или ухо, внимание? И тут у ребенка появляются младшие и старшие товарищи, с которыми вместе проводятся определенные исследования на эту тему.

Да, мне нечего скрывать, что больше, нежели грамматическое правило о безударных гласных, которые проверяются в ударном положении, меня интересовали открытия, сделанные вместе с мальчишками в подвале на куче каменного угля. В то время дом еще топился от собственной котельной и в подвале, где хранился уголь, было довольно тепло и горела электрическая лампочка. Два соседских мальчика, моих приятеля, лет по одиннадцати, конечно, существенного урона моей невинности нанести не смогли, а ограничились лишь любопытным — плата была объявлена вперед: порция мороженого и сеанс на утренник в кинотеатр — разглядыванием и неким неуклюжим помазыванием, попыткой смущенно-грубоватой, а по существу, неловкой лаской и поглаживанием. Но это пробудило еще больший интерес, сладкую ломоту в теле, предвосхищение радости, которую это тело может дать.

Кстати, страх, внушенный семьей, школой и подругами, способен отравлять всю лучшую, молодую часть женской жизни. Я всегда, впрочем, помнила о нем, стремилась разумно, не ущемляя своих личных интересов, этот страх преодолеть, но сейчас ловлю себя на том, что веду себя, когда дело касается моей дочери Марины, так же, как любая мамаша или старая учительница. Конечно, сознавать это горько, но ведь и она поступит так же, как поступила в свое время и я сама. А может быть, у нас с Мариной какой-нибудь особый семейный замес? Тороплиао-раннее созревание? Арбуз не обязательно должен быть большим, чтобы быть спелым. Но ведь и ростом, и статью нас Господь не оставил. Мне лично иногда и в молодые годы было неловко на пляже в Серебряном бору раздеться: не женщина, а грузчик, солдат без ружья. Да и Марина хотя еще и ребенок, но крупнячок. А в большом теле и процессы жизненные все быстрее, торопливее, не дожидаются разрешения и срока в паспорте. Я не знаю, проводила ли Марина, как я, свой эксперимент на куче с каменным углем, но я ее много раз предупреждала — береги себя, перетерпи, сначала закончи школу, а потом уж и пускайся в бои местного значения. Я — как мать, которая всегда надеется, что у дочки весь этот любопытный возраст закончился и все обошлось. Общество в связи с демократизацией идет молодежи навстречу, и они всё сейчас узнают из эротического кино и раскованного телевидения, поэтому могут перетерпеть. Но сколько раз, проверяя своего ненаглядного ребенка, поднималась я на цыпочках, почти неслышно на четвертый этаж, где у них, у молодых, свои посиделки, и боялась удостовериться в самом плохом. А что, собственно говоря, я могла и хотела увидеть? Да я бы там головы им всем поразбивала, этим павианам! Но каждый раз — нет, ничего особенного не происходит! Сидят на подоконнике, курят, а я разве не с тринадцати лет курю? А другой раз в уголке на площадке или на том же подоконничке, вижу, бутылка стоит из-под сухого вина — пили? Но тоже пришлось сделать вид, что ничего особенного не происходит. Пропустит молодежь по глоточку сухого вина, что же здесь такого, кто в наше время не пьет. Американцы вот даже считают, что пьющие люди дольше живут. А один раз после своих гуляний в начале этого лета дочка пришла домой, и я вижу — она без колготок. «А где колготки?» — спрашиваю. «А я без колготок теперь хожу». Я ее за задницу взяла и чувствую, что-то здесь не так. «Ну что ты, мама!» — «А где трусы?» — спрашиваю. «Я без трусов теперь хожу — жарко». Ну как мне здесь реагировать! Ведь не потащу же я родную дочь к гинекологу на проверку: а если?.. У наших врачей и педагогов ничего не устоит, все разболтают, и позора здесь на себя и ребенка не оберешься. Но вообще-то я полагаю, что это все так, простое любопытство... Но в этот момент из головы не идет одна и та же мысль: ну, яблочко, предположим, упало, а яблонька?.. Так ли уж яблонька породиста и нравна? И, главное, я-то уже научилась жить в обществе, в коллективе, в массе, в толпе. А как же дочке, яблочку, в этом же ребячьем табуне?

Я не боюсь толпы, меня не пугает, что могут задавить, истоптать, выхватить сумочку. Пусть кто-нибудь попробует и выхватит. А обидеть и задавить могут и на остановке автобуса утром, в «час пик», когда мужики, расталкивая всех локтями и коленями, норовят, чтобы не опоздать на работу, протолкнуться первыми. Когда ты на митинге, в толпе — свой, то и толпа — своя. И всякие разговоры о запахах, о духоте не имеют под собой, как любит говорить Горбачев, почвы. В толпе тоже понимающие люди и пропустят, и подсадят, и подвинутся, чтобы ты увидела, и поменяются местами. Это в обычности ты не знаешь, как поступить и что сказать, а в толпе у всех мгновенно возникает общее правильное решение и звучат общие правильные крики. Конечно, разные ложные интеллигенты любят рассуждать, что толпа действует и живет по законам стаи, как бездумная масса, как табун людей. То-то этот табун совершает революции и смещает правительства! В толпе есть божественная воля, а не, как считает всё, видите ли, знающий Серафим, два десятка провокаторов, которые ведут за собою в нужном направлении. А кому, спрашивается, нужно? Все тем же жидо-масонам? А какие они из себя? У них что, есть рога и копыта? Покажите.

Это только кажется, что в толпе, как ложки в столовой, все на одно лицо. Китайцы тоже кажутся одинаковыми. Вокруг меня все разные в толпе люди. С

одними я сразу схожусь, у нас общий реагаж на то, что говорят в мегафон или микрофон, с другими начинаю враждовать. Мне иногда стоит посмотреть на затылок стоящего впереди человека, чтобы определить, кто он и как думает. Я кожей чувствую людей, которые мне в толпе неприятны, которые против моего настроения. Я таких просто ненавижу.

Ведь всем абсолютно ясно, как перестраивать нашу жизнь, как вводить частную собственность, рынок, кого выбирать в Верховный Совет. И вот тогда всем станет наконец-то хорошо. Нет, не довольны, ищут какой-то свой полукоммунистический путь. Социализм без большевиков, да? Варенье без сахара? Чего, главное, орать в толпе, где нет разделяющих твоего мнения? Толпа, конечно, не табун, но задавить может. Я иногда думаю, что мне надо было бы с собою на митинги шило носить или остро заточенную спицу, чтобы таких крикунов трезвить. Покричал, порезвился, а я незаметно руку через разные тела просуну и шилом крикуна в бок, шилом. А вот когда кто-нибудь так же, как я, с таким же дыханием, с таким же энтузиазмом приветствует на митинге докладчика или выступающего, это меня приводит в хорошее настроение. Я сразу ощущаю себя политически зрелой и глубокой женщиной, по-своему тоже умеющей, как наши редакционные леди-бледи, высказывать свое собственное мнение. Политика — это журналистика через горло.

Самое интересное, что и Казбека я тоже через эти самые крики на митинге отыскала. Сразу разобралась, еще не поворачивая головы, поняла, какой именно этот кричащий рядом человек идеологии — ему надоело жить в нищете. Он в толпе сзади меня стоял, а как начался разговор о собственности на землю, как начался разговор о приватизации, — разве думала я когда-нибудь, что узнаю это иностранное слово! А департизация—какое прелестное, как и царь всех иностранных слов, консенсус! — стоило только Казбеку услышать что-нибудь душевное, против большевиков и за частнособственническое, он сразу же громко кричал: «Даешь! Ура!» — и отчаянно свистел. Тогда я его лица еще не видела, но уже чувствовала к нему влечение.

Среди многих демократов, какие ходили на митинги, чтобы поддержать своих, были и люди, которые посещали мероприятия из баловства или даже озорства. Я ведь и сама-то в первый раз пришла из любопытства. Да, в толпе легко можно было подойти к каким-нибудь высокопоставленным людям, отдать заявление, попросить о внимании или помощи. Все могло оказаться тщетным, но могло и выгореть — политические деятели искали популярности и рекламы, поэтому некоторая надежда светила. А также здесь, когда все вперемешку и вроде бы все за одно, легко возникали разнообразные знакомства. И деловые, и по лирической склонности душ — кто чего искал. Молодежь вообще часто здесь кадрилась. Родство душ способствовало и родству более значительному. Честно говоря, у меня и у самой до Казбека имели место две небольшие ситуации, начавшиеся со знакомств на митингах, но это были какие-то затрепанные ребята, какие-то инженеры, и очень быстро все сошло на нет. С одним пару раз встретились у него на квартире, пока семья отдыхала на даче. Он даже альбом с фотографиями показал: и папу, и маму, и жену, и детей. Ему вообще казалось, что мы с его женой очень похожи, вернее, что у нас есть что-то общее. Но когда я прикинула на себя ее халат, висящий в ванной, то даже не сошлись на мне полы, а ее тапочки оказались на три размера меньше. Другой кавалер был лет на семь меня помоложе и немножко попредприимчивее, чем предыдущий. Мы съездили один раз к его другу на квартиру, и там было все очень удобно: и видак, и кое-что выпить для расслабления, но когда мы приехали с этим новым жоржиком на квартиру второй раз, то его друг оказался дома и вроде бы вопрос встал так, что женщина моего типа нравится им обоим, они, дескать, уже не маленькие и лакомым куском могут поделиться друг с другом, и я не молоденькая, должна понимать положение. А зачем мне эта парочка с их почти медицинским, для здоровья, развратом? Я ведь не какая-нибудь проститутка, чтобы за вечер, имени не спросивши, обслуживать разнообразных товарищей, да и могут нагрянуть разные болезни. Я этой ловкой парочке тоже дала отставку. И вообще, после этих случаев я сделала вывод, что, конечно, для

самочувствия мне как женщине общение необходимо, но кайф и удовлетворение я испытываю, когда происходит по любви.

Если честно признаться, я на Казбека обратила внимание не когда он за моей спиной лозунги кричал, а еще раньше, в метро. Было очень тесно, и вдруг я почувствовала, кто-то возле моего бедра трется. Я глазом незаметно повела, вижу подбородок сизый, отскобленный и усы черные, но с желтизной, прокуренные. И такой весь горячий, плотный, хищный. Я таких в принципе люблю. Я вроде чуть-чуть отодвинулась, а здесь вагон немножко толкнуло, и, воспользовавшись этим толчком, он вдруг снова на меня навалился. Ну, началось, этих транспортных страдателей я, известно, знаю. Пользуются, что женщине неловко скандал в общественном месте затевать, могут не то что облапить, а еще и в руку что-нибудь вложить. Но в основном они безобидные. Попыхтят, попыхтят и отстанут. А этот оказался какой-то новый сорт. Я выхожу на «Спортивной» — митинг в защиту чего-то в Лужниках — и вдруг вижу краем глаза, что этот парень опять проталкивается вслед за мной.

Вообще-то он немножко телковатый. Зачем, спрашивается, такая таинственность? Разве нельзя просто подойти к понравившейся тебе женщине и познакомиться? К чему разводить такие сложности и мальчишество? Но, видимо, у него это от какого-то предкавказского происхождения: то ли мама у него с гор, а папа русский, то ли наоборот, но вот эта самая, как мы называем, восточная первоначальная вежливость у него есть. А ведь по ухваткам-то мужик ого-го! Я потом у него спросила: «Чего же ты сразу ко мне не подошел, если я тебе понравилась?» Он ответил: «Стеснялся». «Значит, так: заговорить с женщиной стыдно, а приставать и хулиганить — нет?» — «Значит, так». Но потом, правда, еще добавил: «Я честно думал, что ты женщина — так...» — «Как — так?» — спрашиваю. «Ну, на один раз», — отвечает.

После митинга случилось то, что в жизни я несколько раз испытала, чувствовала, а в кино и по телевизору, когда показывают про любовь, — никогда! Непередаваемое. Во время митинга-то он меня лапал, лапал, прижимал без конца, а уж потом, когда мы познакомились, когда я ему в глаза посмотрела и он мне в глаза посмотрел и почему-то при этом улыбнулся, — вот тут нас до трясучки и потянуло.

Этого даже и словами не передашь — будто оба оказались примагниченными друг к другу, дотронуться, коснуться... Лет с двадцати у меня такого не было. Все в глазах плывет, окружающие люди, улица, день этот летний — все фоном. Но теперь-то ведь не двадцать мне лет. Что за детское нетерпение! И тут этот самый полукавказец мне говорит: «У тебя есть куда?» Я говорю: «Как тебя зовут?» — «Казбек». — «Сейчас, Казбек, я одной подруге позвоню, может быть, она нас на вечер пустит». Ищу в сумочке двушку, руки у меня трясутся, про себя думаю: «А ведь этот Казбек лет на восемь меня моложе». Два раза номер от волнения неправильно набирала, но только напрасным все оказалось — у подруги гости, пируют, что-то обмывают. Рухнуло: чувствую, парень, который мне так понравился, от меня уйдет. «Некуда идти, — говорю, — не светит нам с тобой, Казбек». «Почему, — говорит, — некуда?» Спокойненько так и медленно цедит, а у самого сигарета в руках трясется. «Можно по улице погулять, в парк сходить, возле монастыря пройтиться, спуститься к пруду, а можно зайти в соседний подъезд, подняться на второй этаж, сесть на подоконник и покурить!» Я про себя думаю: «Какие же в этих новых панельных домах подоконники?» Но уже сдержать себя не могу, говорю: «Можно зайти и покурить». И как последняя пэтэушница, аккуратненько подталкиваемая Казбеком под поясницу, пошла в ближайший подъезд.

Это только наши дамочки в редакции считают, что семейная жизнь и отношения мужчины и женщины начинаются с какой-то, как они говорят, духовности, всяких умственных отношений. Отношения эти, конечно, имеют место, но главное и непоколебимое то, что влечет мужчину и женщину друг к другу, та духовность, которая в штанах. И если не складывается постель, то и семейная жизнь не сложится. Такая притирка дается судьбой и природой, и если зажигания меж-

ду людьми нет, вряд ли захочется им вместе тянуть общий воз. И все здесь определяется моментом, как у нас с Казбеком.

Стыдно ли мне было? Мужиком Казбек оказался славным, можно было только мечтать, чтобы встречаться с таким, но бал был уже сыгран, меня больше не трясло. Бог с ним, мы ведь оба снова уходили в массу, в толпу. Эпизод. Махну я ему ручкой, подхвачу свою сумку с продуктами и пакетом, наверное, скисшего молока и — адью. Да плевать мне, что он обо мне думает! Я уже начала его ненавидеть. Тоже мне усатое чудо! И ноги коротковаты, и рубашка могла быть посвежее. Да пошел ты, кавказский красавец, в болото, знаем мы вас, только бы слизнуть свое удовольствие. Сейчас сделаю ручкой, повернусь на низких каблучках, шмыгану носом, чтобы не перешила непрошенная слеза, и — салют, мой красавец, мой ласковый, мой сладенький, провалиться бы тебе пропадом вместе со своими горячими жадными руками и колючим, как терка, подбородком. И в этот момент он, Казбек, говорит:

— Ты, может быть, телефон оставишь, я позвоню?

Когда он позвонил через два часа, я удивилась страшно, даже не поняла, что это тот же самый парень, а он говорит: «Людмила, ты, может быть, выйдешь из дома на полчасика?» Нет, как вам это нравится!

А в тот вечер, после путча, когда мы с Серафимом немножко поспорили о событиях, от которых вспухал телевизор, Казбек не позвонил. И ведь тоже понятно: события закончились, демократию мы отстояли, свобода, как птичка, в наших руках, но ведь кооператив-то Казбека остается, дело живет и теперь должно процветать. Самое время проталкивать дело вперед, не потерять момента и удачи. Вот поэтому, наверное, и не позвонил.

А как он, Казбек, испугался, когда эти коммунистические идиоты объявили о своей хунте. Он мне сразу же в понедельник, часов в десять, звонит: «Людмила Ивановна, у меня дома шестьдесят литров спирта, три канистры, и два килограмма ворованной ртути лежит — если всех предпринимателей и кооператоров будут брать, мне не отвертеться». И я ему сразу говорю: «Вези, Казбек, ко мне, я в таком месте работаю, что у меня обысков, наверное, не будет». Всегда в Казбеке была крепкая мужская расчетливость: перевез, вместе с ним спрятали, разложили, рассовали, а уже потом, к концу дня, он созвонился со своими друзьями и отправился защищать демократию. А что, разве кто-нибудь скрывает, что предприниматели тоже участвовали в этой защите? Нас еще со школы учили, что в революции всегда имеет место защита интересов, и в том числе классовых. У коммуняков свой класс, у предпринимателей — свой. Кооператоры и предприниматели потом и денег подвезли, и горячей еды для демонстрантов и защитников, и даже машины с водкой были, потому что было холодно и шел дождь. Разве что-нибудь жалко, когда Родина в опасности? Можно было свою группу, обороняющую какой-то участок здания, организовать и на группу взять ящик водки.

А теперь, конечно, когда свобода почти завоевана, когда впереди открываются замечательные перспективы для развития предпринимательства и бизнеса, Казбек, наверное, так закрутился, что даже не смог мне позвонить. Спирт и ртуть тут же забрал, без меня приезжал, потому что все это ему нужно для оборота, а вот как доехал и как товары складировал и реализовал — ни звука. Простим, не будем волноваться, поймем.

Ночью я плохо спала. Наверное, каждый знает, что такое ночь перед решающим событием. Ночь перед поступлением в школу в первый класс, ночь перед экзаменами на аттестат зрелости, ночь перед свадьбой. Я, правда, в этом случае спала хорошо, потому что ничего неожиданного здесь для меня не предвиделось, одна вынужденность, шел уже пятый месяц моей беременности, аборт врачи делать отказались, и деваться было некуда. А здесь была бессонная ночь перед важнейшим жизненным этапом. Бедные почему бедные? Потому что им никто не давал, а сами не просили. Большевики, которые провластвовали семьдесят с лишним лет, нас научили, что власть надо брать. И разве в любой революции лозунг «кто был ничем, тот станет всем» не работает, не действует? Я думаю, многие из служащих нашей газеты в эту ночь спали плохо. Наступали

новые времена, надо как-то ими воспользоваться, но как? По крайней мере было ясно одно: завтра в редакции нашей далеко не самой либеральной газеты произойдет передел, и к нему надо быть готовым. Я долго думала обо всем этом и твердо решила, что одену красные полушерстяные брюки, голубую с модным золотым люрексом кофточку и белые — подарок Казбека — сапоги, совершенно новые. В этом будет яркая революционность и даже намек на государственный флаг. И все же, хотя мысленно я уже была совершенно готова, то есть одета — любая женщина знает, что это совсем немаловажно, ведь часто у нас слова, фразы и даже мысли зависят от того, какого цвета на тебе юбка и к лицу ли прическа, — я мысленно репетировала завтрашний день. Мне ведь надо было соответствовать нашим интеллектуалкам, молодым и старым. Мне надо было прикинуть, кто какую займет позицию, чтобы не остаться в дураках. А ведь, по сути, мы, люди низов, лучше всех знаем, кто и чего стоит среди наших так называемых творческих кадров.

Конечно, они могут перед нами чиниться, задирать нос и строить из себя умных, воспитанных и знающих. Покойница мать, всю жизнь проработавшая на парфюмерной фабрике, говорила о таких: шик-брык кваску на вилочке! Но посмотрела бы, что эти царевны после себя оставляют в туалетах и на рабочих местах. Пройдешься вечером по редакции, в кабинетах на столах окурки, немытые бутылки из-под кефира, грязные стаканы, чайная заварка, вываленная в корзины для бумаг. А их шкафы, в которых все перемешано, как в мышином гнезде: продукты, пакеты с супами — это так они кормят своих мужей! — туфли, книги, какие-то консервы, банки из-под кофе, пыльные бумаги, календари, афиши, банки с вареньем, огрызки хлеба и сыра, начатые пачки с ватой. Кто-нибудь из страдальцев и поклонников посмотрел бы, что они с этой ватой делают в туалете! У старых баб вообще есть нездоровая страсть устраивать вокруг ваты пляски. Ей уже сто лет в обед, а она шепотом спрашивает у семидесятилетней подруги: «Ты не дашь ли мне немножко ваты?» Приколы эти хорошо известны — это она изящно намекает, что еще не перестала функционировать как женщина. Брось, бабушка, не смеши внучек, ватка или гигиенический пакетик по прямому назначению тебе были нужны еще в прошлом веке.

Мужики, конечно, у нас получше, повеселее, хотя тоже всяких вислогубых хватает. Но попадаются, особенно среди молодежи и шоферов, кремешки, глазками поблескивают, пиратствуют. В какой-нибудь кабинетик зайдешь, ну, например, где иностранный отдел сидит, там, правда, молодежь, выпускнички со взором горячим, или в отдел городского быта, где в дыму, как в котельной, творят мужички лет по сорок пять, но закаленные, со здоровым духом, потому что приходится им общаться и с милицией, и с кладбищем, и с другими здоровыми отраслями жизни, — так в этих кабинетах могут и стаканом пива с воблой попотчевать, и рюмаху водки налить. Ну, а всякие партийные, гордые от общения с источниками распределения благ, отделы, всякие культуры да искусства — здесь, естественно, недоноски и мужчины, и женщины. Все в трепете творчества.

Мы, чернорабочие редакции, простой народ, секретарши, телефонистки, машинистки, с утра до вечера трещащие на своих клавишах, даже уборщицы, вахтеры, шофера, буфетчица, библиотекарша, специалисты по лифтам, бухгалтерши, разметчицы гонораров и картотечницы,— мы понимаем, что наши творцы — хотя чего они там особенно творят, просто сумели получить образование, папы и мамы дали,— мы до некоторой степени понимаем, что они первая скрипка в нашей газете. Но доходит ли до них, что без нас-то они вообще никто? Если надо будет, я пойду и пол мыть, а куда денется этот бездарный журналистик, если журналистика его никому больше не потребуется? Слишком уж лихо, мои дорогие друзья, писатели в последнее время шельмовали наши прогрессивные силы! Как там говорил дедушка Крылов: «Ты все пела — это дело, так пойди-ка, попляши!»

Мы всегда и раньше, простой народ, поддерживали друг друга. Мы всегда, например, первыми узнавали, когда привезут в редакцию продовольственные заказы или какой-нибудь ширпотреб во время выездной торговли. Ведь шофера к нам поближе, нежели к этой затхлой публике. И будьте спокойны, если кто-

нибудь из наших, из простых, встал в очередь, можно быть уверенным, что перед ним занимала очередь половина техперсонала. Вот даже помню, как привезли к нам в редакцию бочку селедки — кто-то из корреспондентов писал об одном из магазинов фирмы «Океан», вот и добыл для коллектива поощрительную премию, — н решили ею, селедкой, торговать в помещении машбюро и даже всю часть по разаеске и распределению взяли на себя общественницы из того же машбюро. Так вот спрашиается: кто первым получил этот дефицит? А кому не досталось? Отсюда вывод — полезнее сидеть в здании и делать хотя и однообразную, но необходимую работу на месте, чем шарить весь день по городу, а потом оставаться ни с чем. Мы, простой народ, действовали, как угнетенное меньшинство, единой группой, таким маленьким обиженным классиком. Так почему, спрашивается, мы не должны плечом к плечу быть вместе, когда подоспело время справедливой дележки? Разве в этом есть что-нибудь постыдное? Разве наши лидеры борются не за власть? Мы уж, конечно, не за прямую и быструю выгоду, я их в этом никогда не посмею обвинять. Но ведь с властью приходят и некоторые дивиденды. Конечно, наша группа простых людей не самая в редакции многочисленная, но мы свои голоса даром не собираемся отдавать. На политическую арену выходит новая н грозная сила — Избиратель.

Мысленно мы с моими подругами разделили весь персонал редакции на две, не считая нас, подлинных трудяг, группы — «музейщиков» и «магазинщиков». Не следует думать, что в слове «магазинщики» есть какая-нибудь пренебрежительность. Здесь определена лишь рабочая польза, круг вопросов, которыми человек в газете занимается. В конце концов все мы, как покупатели, — магазинщики. Но в газете это люди, стоящие на реальной позиции и приносящие настоящую пользу. В конце концов, кто в наше время его Величества Бартера достал бочку селедки, о которой я уже упоминала? Магазинщики в основном были специалистами по репортажам, беседам, интервью. Это всегда самые читабельные материалы в газете. Но одновременно, если вглядеться, всегда по их материалам можно понять, кто из самих магазинщиков или кто из начальства строил дачу, чинил или приобретал машину, ремонтировал квартиру, выбивал для тещи место на кладбище или доставал для редакции на зиму картошку и капусту. А вот если надо устроить ребенка в хореографическое училище, в институт культуры, достать билеты на Доронину или Константина Райкина, организовать подписку на Пикуля или Дюма, сходить послушать Патрицию Каас, — это уже музейщики. Среди музейщиков баб больше, чем среди магазинщиков, и бабы еще более гнусные, особенно потому, что все они старые, с нафталинчиком, сидящие в газете чуть ли не со времени Октябрьского большевистского переворота. С какой ненавистью я всегда смотрю на их серебряные, с огромными камнями, кольца и браслеты — ни одна почему-то не носит ни золота, ни настоящих драгоценных камней, а мне лично нравится, когда много блеска, шика, когда сверкает царь камней бриллиант, а оправы тяжелые, плотные, дорогие. Но еще хуже их шубы. Может быть, они всю жизнь на них копили? Но тогда спрашиается: зачем старой бабе шуба из чернобурки или норки, она что — сделает ее моложе? И здесь опять несправедливость, если утверждают, что у нас равенство и общество равных возможностей, то почему же я уже десять лет ношу искусственную продуваемую цигейку?

Я недаром в этом своем ночном прикиде обращала внимание на возраст. После пятидесяти — уже не демократ. Исключения, конечно, здесь составляют наши вожди, но они с молодых лет все имеют, еще с комсомольского возраста, прошли все инстанции в преступной партии, уже всем попользоаались и теперь уже демократы исключительно из-за мировоззрения. Они особая статья, особая порода, которой дана зоркость соколиная. А вообще-то пятидесятилетие — бал сыгран, им бы сохранить что наработали, поуютнее, с нарядным камешком, могилку. Есть, конечно, исключения, в которых бурлит ненависть к прошедшему и справедливость, — эти тоже могут быть настоящими демократами, но в основном после пятидесяти — это ретрограды, любители болота. Эти не станут в нашей редакционной битве настоящими борцами.

Лежа в этот ночной час в своей постели, я раздумывала: а что же лично мне принесла эта ситуация? Конечно, в первую очередь я желаю счастья дочери, и, может быть, ей повезет. Может быть, она даже получит высшее образование. Я ведь недаром взяла справку, что я присутствовала при защите парламента. Может быть, это будет ей как льгота при окончании школы и при поступлении в вуз, и нечего здесь стесняться, ведь пользовались же льготами дети так называемых старых большевиков. А во-вторых, на некоторую льготность имею право даже я сама. Я ведь наивно не жду, что жизнь переменится волшебным образом, но пару-тройку месяцев у нас станет хотя бы как в Турции. Там выделывают очень хорошую кожу, из которой шьют модные куртки. Наверное, прибавят немножко, как и всем, зарплату, но, кроме того, теперь не придется терпеть разных партийных прихвостней и носить чай музейщику Саше, секретарю партбюро... «Людок, может быть, ты принесешь мне чайку?» — «Сейчас, Сашенька, заварю свеженького и принесу». Теперь уж выкуси, как только случай представится, я у тебя, Сашенька, баран комолый, на столе фломастером слово из трех букв напишу. А кроме этого, может быть, меня куда-нибудь выберут в совещательный орган? А тогда почет, уважение, возможность влиять на результаты трудового коллектива. Это мне, честно говоря, даже необходимо, чтобы в глазах Казбека подчеркнуть собственный авторитет.

Господи, Господи, как же мне повезло в жизни! Ведь это действительно Бог нас свел! Я ведь и не предполагала, что э т о окажется так надолго, что почти через день, три раза в неделю, Казбек ночует у меня, и даже Маринка, которая вначале устраивала ему концерты, уже чуть ли не кокетничает. Я ему даже иногда говорю: «Ты, Казбек, смотри у меня...» — «Ты не волнуйся, пусть сначала подрастет, ты же знаешь мой принцип: пуд веса и шестнадцать лет. Тогда я уж не упущу, а пока, будь спокойна, несовершеннолетними не балуюсь». Серафим тоже к Казбеку подобрел, даже несколько раз приносил ему по два медицинских градусника из аптеки Литфонда. «Я, конечно, — говорил Серафим, — категорически против такого вида деятельности, которую называю спекуляцией, но если мальчику это необходимо для бизнеса, придется идти ему навстречу». Мы-то с Казбеком эти градусники покупали сотнями, объезжая на его машине одну за другой городские аптеки. На меня в трех аптеках, которые у меня по дороге на работу, посматривали искоса: может быть, молодая дама питается градусниками? Но вот из-за того, что это дело со ртутью Казбек начал самым первым, он и сумел взять в Польше замечательную прибыль. Я уже, конечно, не знаю, набрал ли он эту ртуть из одних градусников или кроме градусников где-то на предприятии купил у рабочих эту ртуть на развес, но сумел вывезти все в Польшу и там очень хорошо, за доллары, реализовать. Может быть, Серафим к нему окончательно проникся доверием, когда Казбек привез мне из Польши белые итальянские сапоги? Во всем этом была даже какая-то семейность.

Я ведь очень быстро смирилась, что у Казбека где-то в Москве имеется другая женщина и ребенок, но с женщиной этой он уже больше не живет, а ребенка жалко, он его, мальчика Султанчика, любит и поэтому два раза в неделю у них ночует. Я совершенно не согласна, что к брошенным соперницам должны проявлять жестокость и безжалостность. Она и так уже наказана. А мужчину надо держать, как говорит одна музейщица в нашей редакции, которая уже десять лет живет с мальчишкой-актером на пятнадцать лет ее моложе, — надо держать на длинном поводке, так вернее. Поняла я этот дельный совет и Казбеку, когда он во всем признался, не перечила. Ведь та женщина его все же не прописала, а я готова его прописать.

После знакомства с Казбеком я даже перестала любить переполненный вагон метро. Зачем? Зачем сутолока, теснота, рука, будто случайно хлопающая тебя по заднице? Меня здесь один недавно хлопнул, такой коренник, перепившийся, с похмелья, наверное, а потом попытался и прислониться, я ему показала. Я его сложенной в руке газетой хлоп по морде, хлоп. Что мне стесняться в своем отечестве, я дочь народа.

Я бы даже сказала, что и к митингам, этому выявлению подлинной демократии, я тоже подостыла, но тем не менее на всех главнейших, решающих, где демократия требовала поголовности и защиты, я везде присутствовала. Каждый раз мне Казбек говорил, что надо пойти, и я всегда с ним ли, без него ли ходила. Я заметила, что даже целые семьи митинги посещали, не без того, ко-

нечно, что молодые здесь агитировали старших, но я видела и бабушек весьма подмалеванных, в шляпках, и дедушек, и внуков, и правнуков, и отцов с матерями, крупномасштабные семьи. Семья! Куда здесь ни повернешься, все свое, родное, общее: и мысли, и стол, и постель. Для меня лично самая большая радость — это когда Маринка набегается, прилетит домой и ест что-нибудь на ходу, на кухне, возле открытого холодильника или когда Казбек вечером придет спокойный, уверенный, отдаст мне пластмассовую сумку с продуктами — мясо, колбаса дорогая, белый хлеб, — и тут же я начинаю его кормить. Нет, сначала он идет в ванную, а я сразу же срываюсь с чистым полотенцем. Маринка орет на всю квартиру: «Туда нельзя, там уже дядя Казбек». Я-то знаю, Казбек никогда ванную дверь на задвижку не запирает... А потом я смотрю, как он медленно, будто перемалывает, пережевывает пищу своими белыми, словно кукурузные зерна, зубами. Ест, смуглой рукой с чуть поросшими волосками пальцами берет стакан и, разогретый в ванне, смотрит на меня пристально, желанно, облизываясь, как на кусок хлеба с колбасой, голодный. Почему же у меня такая к нему любовь, почему так я его чувствую, почему даже когда стираю его майку или рубашку, прижму ее к лицу и вдыхаю, как наркоманка, его запах и надышаться не могу?

Они, люди дела, только сейчас начинают жить достойно и поднимают голову. Что за тюремная психология — всем жить одинаково плохо? У Казбека даже была идея, что сейчас, в переходный период, народ должен подтянуть ремни, чтобы они, первые предприниматели, поднакопили капитала, может быть, даже и за счет роста цен, но потом они уже и создадут для всего народа достойную жизнь, и каждый сможет владеть видеомагнитофоном и даже приватизированной жилплощадью. Но нас связывали также и другие, духовные ценности. Во-первых, Казбек хорошо относился к Маринке, дарил ей, как взрослой, какую-нибудь недорогую бижутерию, приносил сладенькое. Во-вторых, мы иногда ходили с ним на ансамбли и рок-концерты куда-нибудь в большие престижные залы. Мне казалось иногда, что Казбек мне дарил какие-то импортные вещи моего размера и презентовал белые сапоги, чтобы не ударить в грязь лицом перед своими друзьями. Многие из них на этих концертах присутствовали и с интересом разглядывали меня. В основном, конечно, это были наши более смуглые соотечественники с предгорий Кавказа, но попадались среди них и вполне столичные парни. Они все с одобрением изучали меня, у них загорались глаза, и я видела, как они обшаривали мне грудь и норовили зрением меня осознать. Я бы даже сказала, что они завистливо смотрели потом на Казбека. Народ, конечно, это был вполне достойный, но мне, уже лет как семь или восемь трущейся в газете с присущим ей особым обхождением, были они, конечно, диковаты. И вот среди них Казбек и делал свою карьеру. Вот откуда такое знание жизни, женщины, — он прошел тяжелую школу. Конечно, я многого так и не узнала, но постепенно для меня вырисовывалось, что ему пришлось заниматься и деловым партнерством у магазина «Березка», когда можно было на купленные с рук чеки — ныне, говорят, отсутствующие — достать импортную радио- и видеотехнику и потом ее переуступить желающим. Он даже участвовал в группе самообороны от властей, которые противились вначале развивающейся инициативе. Но тогда еще эти дурацкие законы социалистической тюрьмы подразумевали, что человек должен был где-нибудь числиться на службе. И меня Казбек корил, что я вот, дескать, своим сидением на работе ничего не высиживаю: зарплата на проездной билет и одно посещение хорошей парикмахерской. Но ведь и он первое время, когда приехал в столицу, только для того, чтобы где-то числиться и стаж шел ему в трудовую книжку, устроился в жэк инженером по технике безопасности, а чтобы ему на работу не ходить, оставлял всю свою зарплату начальнику и бухгалтеру. Правда, именно с этой стартовой позиции он начал свои вояжи в Польшу: помочь себе и товарищам по социалистической тюрьме народов организовать свободный рынок. Как-то на коммерческой основе они даже с таможенниками договаривались. Первый раз съездил Казбек с электроприборами и радиотехникой, вернулся — купил машину «Жигули-восьмерку» и с телевизором и стиральной машиной «Вятка» уехал обратно на машине, у товарищей по неволе все продал и обменял злотые на доллары, вернулся поездом и уже на следующей купленной машине повез ртуть, медицинские градусники и разную мелочевку, имеющую на конвертируемом Западе другую, повышенную цену. Это с Казбековым-то талантом, с его обаянием и высшим образованием так натужно организовывать первоначальный капитал! Но капитал, считал Казбек, должен работать. Вот, скажем, говорил он, ты давно работаешь в редакции, тебя все любят, ты обладаешь авторитетом — это тоже капитал, который должен найти денежное выражение. Вообще-то, с точки зрения Казбека, все, что должно было случиться в нашей городской газете, принадлежащей ранее обанкротившимся большевикам, все это — самый настоящий передел.

О, как он был не прав! Какой же это передел, мы просто требовали одинаковой с музейщиками доли в оплате, справедливого распределения бартерного продукта и, как говорится, моральных дивидендов. Почему наши опытнейшие машинистки не участвуют в формировании политического лица газетной полосы? Они, пропустив через себя тысячи слов со всей глупостью наших музейщиков и магазинщиков, меньше разбираются, чем главный редактор, тоже, видите ли, писателишка мелкий, двадцать лет отсидевший где-то в партийных органах и к нам в газету присланный на усиление только лет шесть—восемь назад? Ну и что, если при нем газета сделалась немножко лучше, — это время боевое, все газеты заговорили круче! А почему главным редактором не сможет стать начальник рекламного бюро Илюша Шаец? Сколько он уже привлек к газете доходов! Или Матильда Пятиреченская, она ведь очень хорошо пишет рубрику «гастрольная афиша», в которой рассказывает, кто из зарубежных гостей и когда приедет к нам в город. Ведь все у нее ясно и понятно. Она много раз Маринке доставала билеты на детские рок-концерты. А к нашей Моте все время со стороны начальства какие-то претензии. Хорошо, что в свое время Матильда догадалась, и ее избрали руководителем журналистской организации газеты. Все путевки она также доставала, была общественницей. Вот настоящие кандидатуры народа.

Честно говоря, когда 20 августа вечером, после целого дня стояния вместе с Казбеком у Белого дома, я, все-таки волнуясь за работу, забежала на пять минут узнать, что и как, сразу встретила Матильду Пятиреченскую. Она мне сказала, что явно все поворачивается к победе демократии над партократией, что нашу газету, уклончиво себя ведущую в эти решающие дни, наверное, закроют или реорганизуют, и надо спасать себя и коллектив, брать власть в свои руки, доказывать свою преданность новому режиму.

— А как так — у к л о н ч и в о? — спросила тут я у Матильды. — Ведь не только я была на баррикадах, но я там и еще наших видела. Разве мы уклонялись?

—А уклончиво в том, — ответила мне Матильда Пятиреченская, — что у нас в типографии делались две первых полосы — варианты — на случай победы демократии и победы путчистов.

— Это очень серьезное обвинение, — сказала я, уже чувствуя за собой победу новой революции, — нам действительно надо брать власть.

Тогда же мы узким кружком собрались в машбюро, вроде чтобы подготовить к продаже и развесить кур, которые по себестоимости прислала птицефабрика за объявление в газете, а на самом деле собрались для того, чтобы обо всем договориться.

Матильда Пятиреченская сказала:

— Я зондировала почву, нас поддержит целый ряд музейщиков, особенно из молодежи, которым старики-партократы не дают выхода на полосу.

Когда в красных штанах и кофте с люрексом явилась я, как всегда немножко опоздав, в редакцию, боевое собрание, которое как глава редакционных журналистов собрала Матильда Пятиреченская, уже началось. Я не стала проходить в наш конференц-зал, а остановилась в дверях. Это им, творцам, можно рассиживаться на собраниях, а у меня, особенно после трех дней революции, куча работы: составить ведомость на оплату гонорара, отправить шофера с пакетами и за листками ТАССа (тогда он еще существовал). За столом президиума

сидела Матильда Пятиреченская. Увидев меня, она наклонила голову: в такой битве не надо было пренебрегать ни одним голосом. Но сразу же ко мне подошла машинистка Леночка с разъяснениями: многое поменялось, ставить будем на Илюшку, но появился Тарас Арменакович и тоже хочет власти.

Что касается Тараса — это был налим крупный. По возрасту он был нашего главного редактора помоложе, но по хватке и изворотливости еще неизвестно кто кого. Удивительного таланта человек: выходит из очередной больницы, отпуска или приезжает из очередной, не по линии газеты, заграничной командировки, на ближайшем собрании резко выступает против руководства, направления газеты, даже коллектива и сразу же — как под камень, чтобы наслаждаться комфортом и покоем,—снова отправляется в очередной отпуск, командировку или в больницу. С виду очень тихий, интеллигентный, начитанный — одним словом, безобидный музейщик. Но я-то своим нутряным чутьем чуяла за всей этой интеллигентной чухней хватку и напор нашего брата пэтэушника, дворового, не без подлости и понта, хулигана. Но вот что интересно, возле этого жирного налима расселись интеллигентные, редко заплывающие в наши воды щучки поменьше. Это наши дамочки высшего сорта, так называемые «золотые перья», блатные красавицы, дочки и женушки каких-то начальников, проводящие свою жизнь в эмпиреях и изредка пописывающие некие сверхтонкие опусы. Запевала и хор.

Я не ошиблась и не оговорилась: запевалой был именно Тарас, а не Матильда Пятиреченская. Я только думала, что, как и всегда, для Тараса важно навести смуту. Не успела Матильда сказать приличествующие случаю слова, что, дескать, они собрались, чтобы в трудные дни определить судьбу газеты, как выскочил Тарас и сразу же взял быка за рога: главный редактор, как деятель бывшего режима и человек, позволивший иметь в газете два варианта первой полосы, не имеет права быть редактором.

— Правильно, — отреагировала из президиума Матильда Пятиреченская, — раньше нам редакторов назначали, а теперь мы можем наконец редактора выбрать.

Меня всегда восхищает человеческая наглость; может быть, потому, что я сама так не умею, поэтому и завидую прохиндеям, которые могут предложить куда-нибудь сами себя. Просто бесстыжие чудаки. И главное, проходит иногда. Один себя в президенты предлагает, другой — в депутаты, а вот третий, вечно больной и командированный, — себя в главные редакторы. Всем-то ведь ясно, если покритиковал, значит, вроде себя и предложил на замену. Но еще более увлекательно наблюдать за теми, кто хочет, но почему-то стесняется, наглости не хватает. Что тут началось! И Матильда принялась ерзать, будто не на стуле сидит, на чем-то более упругом, и Илюшечка закивал своей головушкой, и дамочки вокруг Тараса, наши золотые перья, засуетились и принялись что-то выкрикивать. Настоящий, хороший, зная наш редакционный коллектив, скандал часика так на полтора-два. Редактора, конечно, нашего немножко жалко: работал-работал, а теперь предлагают подвинуться. Он небось не знает, как на городском транспорте ездить, все на казенной машине. Мне это досмотреть бы, но даже не дела меня влекли на мое рабочее место, а надежда: вдруг Казбек позвонит? Повернулась, ушла, пусть доскандалят.

Минут сорок я возилась с разными бумагами — несмотря на производственное собрание, работа все же шла, сдавался номер, сотрудники выбегали из зала, что-то правили, отправляли в типографию, надо было рассортировать и разложить скопившиеся за последние часы листки ТАССа, а Казбек все не звонил. Тогда я сняла с рычагов телефонную трубку — если кто-нибудь позвонит, то решит: хозяйка на месте и через пять-десять минут, как только освободится линия, ей можно будет позвонить. Проделала я все это и снова отправилась в зал. Я ведь и не думала и не предполагала, что Казбек может меня бросить как последнюю шлюху. Да, молодой, да, горячий, но ведь что-то его возле меня удерживало пару лет. Уже стала совместная биография нарастать.

Когда я вернулась и по своему обыкновению встала в дверях, претенденты уже докладывали свои программы. Все, в соответствии с духом времени, двигалось быстрее, чем я предполагала. Претендентов было вроде трое. Кажется, что-

то выгорело даже у Матильды Пятиреченской. По крайней мере, она в своем слове пообещала два раза в неделю, дура, продовольственные заказы и твердую, в соответствии с духом эпохи, демократическую позицию. Будем писать о самом лучшем, критиковать самое плохое. Потом очень бойко всех пугал Илья, что без объявлений и толковых спонсоров газета не проживет. У него, дескать, самые денежные рекламодатели и самые покладистые спонсоры. Он даже загнул, что, по его мнению, в каждый материал надо обязательно вставлять какое-нибудь объявление. Приятное и полезное. А потом вальяжно, как рок-певец, встал для объяснений своих позиций Тарас Арменакович. Этот ведь никогда в простоте ни одного словечка не скажет. Я даже не знаю, есть ли у него что-нибудь за душой кроме политики, он ведь и свои статьи писал в таком тявкающем виде. Этот на еще испуганную после прошедших событий публику произвел самое большое впечатление. Он заговорил о том, что самым интересным и увлекательным для читателей станут, конечно, разоблачения деятелей последнего режима. Человеку всегда пламенно интересно узнавать, что кто-то поступает и ведет себя хуже его. Такие разоблачения сделают газету, продолжал Тарас, увлекательной для читателя и популярной. Можно в связи с этим поднять на газету даже продажную цену. А вторым пунктом творческой программы будущего главного редактора стало покаяние. Было даже удивительно, как этот критик, пописывающий в свое время и статейки на антирелигиозные темы, подхватил это церковное слово. Покаяние да покаяние! Детальные и подробные эти покаяния с «картинками» и «развитым сюжетом» очень подбодрят и развлекут, дескать, читающую публику. Можно, творчески мечтал и развивал свою идею Тарас, устроить покаяния по годам или должностям. Для людей старшего возраста, среднего и особо для молодежи с их бывшими пионерскими и комсомольскими делишками. А как увлекательно сделать специальный номер с покаянием бывших министров или домохозяек! Можно было бы первоначально, до газетных публикаций, проводить с участием известных рок-групп и ансамблей публичные покаяния на стадионе или зеленой сцене где-нибудь в ЦПКиО. Каково!

Даже я, скромный технический работник, понимала полную чухню того, что нес этот вечно болеющий прихлебатель. Кому все это надо, люди желают спокойно и весело жить дальше, если завоевали свободу, и не копаться в грязном белье предшествующих поколений. Вот состаримся окончательно, тогда и начнем вспоминать. Как граждане, а особенно наши творцы, этого не понимают! Вся эта зараза идет от наших кудрявых дамочек, всегда очень левых, но еще вчера бывших членами правящей партии. Тут они, как куры, отмывая свое собственное прошлое, закивали головами, заподдакивали Тарасу, выявляя полное согласие с нашим главным бездельником. А наш дедушка, наш бывший главный редактор? Он сидел, наклонив свою кудрявую экс-партийную голову, не в президиуме, где расположилась Матильда Пятиреченская, а скромненько в зале, в рядах. Шея у него была красная, морщинистая, будто по старой коже повозили наждаком, и наклонена голова была каким-то таким образом, что каждому, наверное, хотелось по ней ударить топором, если бы топор был. Дедушка, похоже, скис.

Но самое главное, что я, дура, недооценила ни дедушку главного редактора, ни некоторые другие силы, еще погуливающие в нашем коллективе городской газеты. В тот момент, когда очень гордого и довольного Тараса резвые дамочки чуть ли не закидали цветами после его речи, вдруг поднялась одна старая развалина, вечно, как блаженной памяти большевичка Крупская, ходившая по редакции в белых или полосатых блузках и отглаженных до противности юбках, встала эта развалина, но развалина особого склада, строгающая в каждый номер газеты по огромному материалу. Материалы эти, как и большинство, я, конечно, не читаю, но четко вношу их в сводную гонорарную ведомость, поэтому вижу, какие эта газетная мымра зарабатывает деньжищи. Поднимается, значит, из рядов эта почти восьмидесятилетняя невинная девушка Роза Мироновна и очень спокойно режет прямо промеж глаз. Это великая сила — уметь называть вещи своими именами, здесь надо иметь бесстрашие и наглость.

— Кого вы здесь слушаете? Кому мы собираемся доверить свою судьбу?

Одна, — престарелая девушка кивает в сторону Пятиреченской, — вечная бездельница, не умеющая держать в руках пера и всю жизнь скрывающаяся за общественными работами. Общественная работа разве специальность? Слава Богу, никому сейчас общественные работы и эти так называемые общественности не будут нужны! Другой, — это уже в адрес нашего рекламного босса Ильи, — не журналист, а бывший то ли мороженщик, то ли шашлычник. Я не хочу вас, Илья, обидеть, вы, наверное, хорошо разыскиваете спонсоров, но газета — это другая специальность, здесь другой поиск и другое чутье. А кто же такой наш Тарас? — обращается престарелая девушка ко всем сидящим в зале, даже как-то патриотически пухлые свои ручонки вздымает. — Кто эти трудолюбивые дамочки, сидящие возле него? Мы разве часто видели эту компанию у себя в редакции? Они разве жили нашими заботами? Они когда-нибудь хоть что-нибудь попытались сделать для газеты или для ее читателей, для людей? Они всегда лишь все критиковали и всем мешали!

Эта невинная старушонка, кажется, всех надула. Конечно, приятно было бы посмотреть, как главного редактора, этого мымрика, выселяют из кабинета. Уже прошел по редакции слух, что вроде старичок просится оставить его хотя бы каким-нибудь в редакции обозревателем. Какой был бы кайф, размышляла я, слушая речь Розы Мироновны, если бы, скажем, через месячишко мне в каморку курьера и технического секретаря заполз бы этот старичок и прошамкал (они все — и молодые, и старые — так шамкают): «Милочка, нельзя ли поскорее сдать в бухгалтерию ведомость на гонорар, чтобы успеть к выплатному дню?» А я бы ему: «Ша!». Но, кажется, мне этого уже не увидеть! Роза Мироновна, эта старушка-интриганка, говорит, что в часы бури надо быть осмотрительным, надо доверяться только опытному штурману и капитану. Она бы не сбрасывала с борта старых и опытных руководителей. Мало ли там какие были заслаиы в типографию в дни попытки переворота ведомости, и вообще, разве можно было в то время что-то решить и предугадать? Прежде чем кукарекать, надо в святцы заглянуть. Она, Роза Мироновна, настаивает, чтобы на голосование поставить еще одну кандидатуру — главного редактора, и чтобы тот выступил перед коллективом со своей программой.

И в этот самый момент я вдруг почувствовала, что сейчас должен позвонить Казбек.

Есть небольшая, вошедшая за последнее время в наших учреждениях в моду машинка, которую носят в кармане и которая начинает гудеть, когда твой сослуживец или друг считает, что ты должен выйти к нему на связь. Мне такая электронная машинка в случае с Казбеком никогда не была нужна. Почти с самого первого дня, когда я оставила ему номер своего телефона и он через два часа уже позвонил, я чувствую его телефонные звонки как сверхмощный приемник. Может быть, конечно, и Казбек сверхмощный передатчик. Даже не поднимая трубки, по переливам звонка, я чувствую: он! Поднимая трубку, еще не слыша голоса, я первая окликаю: «Казбек, ты?» И не было ни одного случая, чтобы я ошиблась.

Наблюдая за тем, что делалось в конференц-зале, — надо мною иногда сотрудники подшучивали, называя: стоящая в дверях, — я вдруг, как животное по подземному гулу узнает о начинающемся землетрясении, уже почувствовала по какой-то внутренней вибрации, что именно сейчас Казбек будет мне звонить. Я вдруг даже как бы увидела внутренним взором его тяжелую, поросшую волосом смуглую руку над диском телефона-автомата где-нибудь в городе. Он всегда набирает номер, смешно и манерно отставив кривоватый мизинец. И я повернулась и пошла. Пока моя спина была видна с боковых мест зала, я шла не торопясь, как обычно. Но за углом коридора я вдруг снова как бы увидела, да так резко и отчетливо, будто на световой газете над рестораном «София», как эта знакомая смуглая рука уже набрала три первые цифры моего служебного телефона. И тут я побежала по коридору, вниз на один этаж по лестнице, снова по коридору. Может быть, я соревновалась в скорости с электрическим сигналом?

Я успела открыть ключом дверь, подбежать к аппарату, протянуть к трубке руку, и только тут раздался звонок. Успела.

— Казбек, это ты?

И я сразу не только вспомнила, но и поняла, почему я так бежала, — наше последнее, несколько дней назад, свидание на набережной Москвы-реки. Ночью, в дождь, в ливень. Он, Казбек, который был у Белого дома России с первого решающего дня, с момента указа нашего замечательного Президента, позвонил тогда и сказал: «Приходи. Соскучился». Он мне ведь еще и раньше по телефону говорил, что в эти часы решается наше будущее и наша дальнейшая жизнь. «Надо, чтобы нас, людей будущего, было возле Белого дома много, чтобы получился народ. Надо бороться». Но ведь и Серафим, которого не подкупишь, тоже говорил, что надо бороться, что все эти партийные и военные маршалы — они мразь, их надо уничтожать. Я ведь и раньше была на набережной, навещала Казбека, встретила там его друзей, а тут — «приходи!»

Господи, постоянно думаю я, а так ли много в жизни случается таких моментов, чтобы запомнить их на всю жизнь?! Даже покупка новых итальянских сапог, радость от этого, и то с годами меркнет. Ну, в отпуск ездила на юг два раза. Волшебно: кипарисы, шашлыки, пиво и вино «Изабелла»! Ну, Маринка взяла первое место на школьном конкурсе танца! Тоже счастье, тоже приятно. А что еще? Казбек, конечно! Все, что с ним связано. А теперь эта удивительная ночь под дождем. Это на всю жизнь, до последней березки. Я шла пешком, благо это близко от моего дома, накрутила в сумку каких-то бутербродов, наложила в банку жареной горячей колбасы, картошку, замотала газетами, завязала салфеткой, несла. Транспорт уже не ходил, был объявлен комендантский час, а я на него, как и на все приказы и распоряжения полоумных маршалов, начхала, или положила, как говорит Казбек. И это все особенно приятно как-то возвышало душу: боязнь и ее преодоление, как говорят телекомментаторы. Дождь шел как из лейки, ветер иногда задирал зонт, выкручивал спицы. Грузовики пролетали, разбрызгивая лужи, легковые машины летели боязливо, как трусливые собаки, побыстрее и бочком, бочком. Поближе к Белому дому стали попадаться люди, а потом я шла в толпе: молодежь, солдаты, плакаты, песни, гарь, резкий от прожекторов и фар свет, бронетранспортеры. Я почему-то даже вспомнила Октябрьскую революцию, как ее показывали в кино. Я снова отыскала Казбека где-то возле, как условились, кажется, шестнадцатого подъезда, среди ребят-афганцев. Многие были в такой красивой, модной в этом сезоне пятнистой форме. Были ребята и помоложе Казбека, и его ровесники, многие с металлическими ребристыми палками в руках, арматуринами. А дождь сеял и сеял: зонтики, военные и кожаные куртки блестели от воды. Когда я через толпу пробиралась, слышала: «Хоть голыми руками, хоть железками и арматурой против автоматов и танков, а — до последнего». И тут вижу — его усатая, гладкая, лоснящаяся от воды и улыбающаяся рожа. Но ведь он никогда на людях не поцелует, не обнимет. У них, в кавказских странах, наверное, принята такая на людях суровость. «Пришла? Это хорошо». И сразу же и кому-то обернулся, крикнул: «Я отлучусь на полчасика».

А здесь как раз принесли несколько деревянных плоских ящиков с пирожками. Мне вот очень понравилась такая солидарность: то ли кооператоры помогали, подкармливали простых защитников, то ли рестораны вносили свою лепту, но ведь революция-то дело общее. И все бесплатно, в счет будущей демократии. Казбек сразу врубился в сутолоку, образовавшуюся вокруг этих ящиков, и через пять минут выбирается, в двух горстях, как сноп, держит с десяток пирожков. И такой запах от них горячий, мясной. Я ему говорю: «Я колбасы жареной принесла, картошечки». Он говорит: «Это хорошо. Клади пирожки в сумку, сейчас закусим». И тут опять, словно червь, вмазывается в новую группку. Что, интересно, здесь дают? Я только слышу его крик: «Я старший от группы, я старший от группы». И опять через несколько минут из этой толчеи и гама выныривает — несет ящик водки. Раскрылился над ним, почти к груди прижимает, чтобы никто не залез, мне опять кричит: «Подожди минутку, с места только не сходи, а то потеряешься. Я водку ребятам отнесу». Пока Казбек бегал к своему подъезду, я еще раз попыталась разглядеть народ: и старые, и молодые, и девок

очень много, так глазами, как щуки, и блестят. Ох, лукавки, догадываюсь, за чем многие из вас пришли. Но ведь это естественно: защита демократии защитой, а почему время единственное, молодое надо даром терять? В жизни многое должно идти, как говорится, параллельно. Меня ведь тоже, пока я под зонтиком (дождь все время моросил, но, к счастью, теплый, летний) с сумкой ждала своего Казбека, — меня ведь тоже один проходящий майор пытался приспособить для интимной беседы: «Девушка, а чего вы тут под дождем мокнете, можно ведь и у нас в кабине грузовика посидеть. Там тепло и — крыша над головой». Я ему даже не успела сказать, куда бы он пошел со своими грузовиками, путчист несчастный, как появился Казбек, глазищами на майора стрельнул, ощерился, того и след мигом простыл. «Все, теперь я свободен, для своих ребят водку вырвал, теперь пойдем куда-нибудь постоим, согреемся. Я здесь одно местечко знаю». А сам полу кожаной своей куртки откинул и показывает: в боковом внутреннем кармане у него водка посверкивает, одна бутылка. «Ну, Казбек, отчаянный парень ты, — говорю, — вырвешь, если тебе надо, из души!» — «Это точно, — отвечает, — я вырву, я свое не отдам, время такое!»

Казбек действительно всю окрестность, видимо, капитально разведал. Через мокрую толпу он повел меня очень уверенно, обходя особенно плотные скопления народа и заграждения, куда-то вглубь, за угол, от американского посольства по переулочку, мимо церкви, в которой, говорят, установлена подслушивающая аппаратура КГБ, к высокому, с лоджиями, жилому, по виду кооперативному дому. А может быть, этим ребятам, выходцам из кавказских стран, дано повышенное умение разыскивать всякие «места» и «углы»? И все-то у них везде знакомые, и везде у них есть ходы. Так и тут, дом-то, конечно, был снабжен, как почти все дома в Москве, кодовой системой, но внутри в довольно большом вестибюле горел у столика свет и стояло кресло для вахтера. «Сейчас войдем. В это время обычно бабки дежурной не бывает, она здесь живет и уходит ужинать». Повезло — вахтерши не было. Надо очень бояться везения, когда одно получается за другим!

Ну разве я могу забыть эту нашу свиданку на площадке последнего этажа! Лифт, подняв нас, почти уже не ерзал, видимо, в эти дни люди старались меньше выходить из дома, но из-за всех дверей до нас, расположившихся на трапе, ведущем на чердак, из-за дверей каждой квартиры доносились песни обезумевшего телевизора. Мы даже иногда, между нашими разговорами, пытались определить голоса: Ельцин? Горбачев? Комментатор Стефанов или комментатор Медведев?.. Какая холодная, но вкусная, как на Новый год, была водка, которую мы пили из горла. Как нежно таяли на губах еще теплые пирожки! Казбек брал руками, хотя я и принесла ложку, зажаренную, почти коричневую колбасу из банки. Рот, губы и пальцы у него были перепачканы жиром. Было приятно глядеть, как он запускал пальцы в банку, ломал пирожки и куски заталкивал себе в рот. Медленно, сильно, со смаком жевал. Кадык на сильной шее двигался медленно, как рычаг. Глядя на своего милого, я тоже, распустившись и забыв о фигуре, что-то хватала, не прожевывая, глотала, отхлебывала в очередь с Казбеком водку. Наконец Казбек закончил есть, отдал мне банку, подождал, пока я уберу ее в сумку. Я подала ему салфетку, он вытер губы, руки, перекинул салфетку мне обратно, я сложила ее в сумку. Подошел ко мне, обнял. «Давай!» Ну как же здесь, в этой грязи, на лестнице заплеванной? Но, во-первых, если признаться честно, была уже в моей с Казбеком биографии лестница, а во-вторых, разве от них, горячих кавказцев, отвяжешься, если он сыт и ему пришла охота? А я что, разве не живая, разве бесчувственная, разве от каждого прикосновения ко мне Казбека меня не трясет, как от тока?

Я уверена, в моей жизни, конечно, будут еще и другие мужчины, и будут меня, наверное, они любить, но то, что происходило у меня с Казбеком, мне не забыть никогда. И вот это наше последнее свидание я вспомнила, когда услышала его голос в телефонной трубке, в редакции.

— Почему, Казбек, так долго не звонил?

— Не мог, дела были.

— Мы тебя вчера ждали. И я, и Марина.

— Марина — это хорошо. Ты ей привет передавай. — Он всегда говорил

по телефону медленно, как робот из мультфильмов, будто складывал слова из камней. Он придавал какое-то другое значение телефону, поэтому не мог по нему много болтать, как, скажем, я с какой-нибудь подругой. Он всегда будто рубил сплеча, как сейчас говорят, был информативен. — Вчера не мог прийти. Я ходил навестить Султанчика. И сегодня я не приду. И вообще, Людмила, — в этот раз он говорил еще медленнее, чем всегда, будто каждое слово было шероховато и цеплялось за гортань, — и вообще, сын у меня вырос. Большим стал парнем, всё понимает. — (Но я тоже начала понимать, и потихоньку холод стал охватывать мои ноги и подниматься по ногам вверх.) — Мне уже надо с сыном жить и его воспитывать. Ты поняла, Людмила? Ты хорошая женщина, но у Султанчика есть мать, и Султанчик хочет, чтобы я жил с ними.

Я все поняла. В конце концов, он, Казбек, и моложе меня лет на семь. Это должно было случиться, но не сейчас, и мне хотелось, чтобы это случилось попозже. Меня только удивило, что не было предчувствий этой боли и не возникали никакие грозные приметы. Даже кошка мне дорогу не перебегала. Я всегда чувствую, когда мужчина собирался от меня уходить. А тут все оказалось внезапно. Я не успела почувствовать боли и придумать в ответ какие-нибудь слова.

— А как же твоя прописка, Казбек? Я ведь согласна тебя прописать ко мне.

— Не волнуйся, — так же медленно ответил Казбек, — прописку мне сделают. Теперь с этим будет намного проще, были бы деньги. В общем, Людмила, — все у меня. Ключи от квартиры я оставил у вахтера в редакции.

Трубка сыграла отбой.

Вот теперь-то я поняла, что означают так часто употребляемые в книжках слова о раненом звере. Его подстрелили, а он еще думает, что полон сил, и куда-то еще стремится, бежит. Жизнь моя пропала, не будет в ней больше счастья. Лимит на счастье весь вышел, как талоны на сахар. Я это умом сразу поняла, но боли еще не было. Я знала, что она должна была появиться позже. А сейчас надо пережить первые удары надвигающейся катастрофы.

Трубка еще гудела, я аккуратно положила ее на рычаг, перебрала какие-то бумажки у себя на столе, заправила в телетайп новый рулон бумаги. Надо было составлять гонорарные ведомости, но сил не было. Нас всегда учили, что в трудные минуты надо быть с родным коллективом. В коллективе над собственным горем особенно не расслабишься, не размирихлюндишься.

Я спустилась в конференц-зал и снова встала в дверях, по привычке очень занятого человека, которого всегда служебный долг может увести от интересного собрания. Говорил наш главный редактор. Наверное, толкал свою программную речь. Я не воспринимала смысл его слов, но заметила, что слушали его с особым вниманием, как слушают очень кровное. Я сдержанно, как Скарлетт О'Хара в фильме «Унесенные ветром», улыбалась сквозь сухие слезы. Я чувствовала — я была красивой и недоступной. Постепенно какие-то слова стали проникать в мое сознание. Старикан говорил что-то опять о защите самых бедных, о том, что с каждым днем их станет все больше, о том, как этим старым и бедным людям доживать и как эти старые смогут похоронить своих близких. Я еще запомнила: «...старым людям похоронить своих близких будет так же трудно, как их прокормить».

А потом старикан начал говорить о реорганизации газеты, которую, если его изберут главным, необходимо произвести. А уже в ему, и всем нам было ясно по тишине в зале, внимающей каждому его слову, что его обязательно изберут. «Чтобы газета в этих новых жестоких условиях выжила, надо сократить и уволить минимум треть людей». Он так и сказал. «Там, где у нас было два шофера, останется один, и где три секретаря, останется один, и он должен будет выполнять весь объем работ. Надвигаются, — говорил старикан, — тяжелые времена, и я не гарантирую всем, что они выживут и будут процветать». Я еще тут подумала: «Не хватает еще вдобавок ко всем несчастьям остаться без работы». Но, с другой стороны, я вроде мать-одиночка, воспитываю дочь. Посчитаются ли сейчас с этим и сможет ли защитить меня в этих новых условиях профсоюз?..

Если день с утра не задался, надо быть готовой, что и закончится он не лучшим образом. Я бы хотела посмотреть на наших редакционных дамочек, которые, получив столько пощечин и подзатыльников, как за этот день я, вообще дошлепали бы домой, а не протянули бы свои ножки. Ключ от дома, от входной двери, я забыла на работе. Вынула из сумки связку, чтобы прицепить и тот ключ, который оставил Казбек, прицепила на колечко и, вместо того чтобы связку сразу же положить в сумку, забыла на столе. Боже мой, честный человек, ключ, видите ли, вернул! Пришлось в дверь звонить, еще перед этим подумала: а есть ли кто дома? не ушелыганила ли дочурка?

Открыла Маринка, и рожа у ребенка была такая злобная, такая отвратительная, будто сразу же бросится на родную мать. «Счастливый день» продолжается, значит, наверное, опять состоится разговор про кожаную куртку, колготки со стрелками, кроссовки по колено. Как же я, спрашивается, безо всего этого росла? Чего бы ей у родного папочки не попросить? Всегда у нее такая постная физиономия, когда готовится затевать подобные разговоры. Тем более накануне она развивала теории, что, как считают все ее знакомые девочки в классе, лучше идти в путаны, чем, как нищенка откуда-нибудь из подземного перехода с Арбата или с Пушкинской площади, ходить в ветровке пошлосовкового производства из магазина «Олимп» на Красной Пресне. Я сразу ее поправила: «Теперь просто на Пресне. А потом, я понимаю, на что ты намекаешь, но у меня двух с половиной тысяч рублей тебе на кожаную куртку нет». Она мне сразу привела в пример свою подружку, у которой мать работает тоже не профессором и не королевой английской, а дочку, видите ли, одевает красиво, модно, по-настоящему. Знаю я эту ее подружку, и куртку кожаную видела, и все ее, подружкины, шмотки знаю. у меня на это не глаз, а рентген. Ничего особенного, ие турецкая курточка, а польская. Я тогда Маринке, негодной своей дочери, возразила: «Рассуждай справедливо, у подружки есть кожаная куртка, а у тебя костюм фирмы «Адидас», который я тебе по талону с работы достала, и хватит об этом говорить. Если будет индексация, то, может быть, я надумаю что-нибудь тебе купить. И точка».

Не успела я все это вспомнить и снова пережить (а ведь у самой-то этих переживаний за день, как у шелудивой кошки, ведь все надежды рушатся, даже женская жизнь!), Маринка закричала: «Где ты шляешься, и на работе тебя уже два часа нет, а здесь без тебя Серафим уже почти умер, «неотложка» приезжала».

Я сначала со злости подумала: да пусть все переумирают и передохнут, лишь бы взамен мне моего Казбечонка живым отдали. Миленький, ласковый, сладенький ты мой, сожмешь — косточки трещат. Где ты сговорчивее бабу и преданнее найдешь? Но это так, мгновенно, по инерции.

Сразу же я посмотрела через Маринкино плечо. В квартире все не так: в наши две комнаты дверь открыта, и в комнату Серафима дверь тоже распахнута. И тут на меня налетела собака, Серафимов пес Чарли. Визжит, хватает, лапочка, хвостом машет. Замучали собаку: если меня или Серафима нет, некому пса вывести во двор. Я немедленно Маринке говорю:

— Сейчас же иди выгуливать собаку. Что «неотложка» сказала?

— Ничего особенного — спазм. В больницу даже отвезти не предложили. Он сам из своей комнаты по телефону вызвал. — И уже шаля, дочка мне шепчет: — А если Серафим умрет, его комната уйдет мне, правда, мамочка?

Ну что, спрашивается, за ребенок!

Ну не то чтобы я никогда в комнате у Серафима не была, несколько раз заходила, всегда было любопытно, чем он там занимается, но нужен был предлог, а он всякие захаживания не очень любил. Но тут уже было не до предлогов. Несмотря на все свои личные несчастья и мои с ним политические споры, я сразу же влетела в комнату — все-таки соседушка. Конечно, все тот же беспорядок, что и тройку лет назад, когда я последний раз здесь была. Только груда книг в углу у окна стала больше. Раньше книги лежали горкой только на кресле, портя обивку, а теперь еще и рядом с этим переполненным креслом, и на полу на пожелтевшей с краев газете. Аккуратист! А так все по-старому, тяжеловатый холостяцкий дух, острый, как «Нарзан», запах пыли, ветхая, еще родителей Серафима, мебелишка, в основном шкафы с книгами и даже гардероб с колонками, в котором, как я знала, все равно лежали книги, потому что костюмы и пальто на плечиках под полиэтиленом висели на гвозде на стенке. Рухлядь вся эта мебель, конечно, не стоящая и дров, которые из этих гробов получились бы, но по нынешним меркам вроде антиквариат, красное дерево. Я когда влетела в комнату, сразу, впрочем, как и всегда, автоматически позавидовала люстре, висящей над столом, богатейших хрусталей, просто из дворца. И еще, пока не уткнулась взглядом в Серафима, немощно лежавшего на диване, проехала, простредьнула по стеклам каких-то, как Серафим их называл, шведских книжных шкафов. Там уже лет как пятнадцать, со смерти моей матери, стояла без рамочки, а просто прислоненная к стеклу, ее фотография. Молодая такая, в послевоенных кудряшках. И здесь же, среди прочего иконостаса, но размером поменьше, разместилась фотография моего по паспорту родного папочки. А чего здесь плохого? Чего бы там ни болтали досужие бабки из подъездов, а — соседи, с которыми Серафимом не один год прожит вместе. Еще, конечно, как я ревниво отметила, были и другие разнообразные на полках фотографии, но выставочка за последние времена расширилась — на довольно большой фотографии я собственной персоной и смеющаяся Маринка, во дворе, нарядные, во время празднования Первого мая, бывшего праздника международной солидарности трудящихся. Ха-ха! Вот дает фотограф!

Но это все впроброс, как в газете передовые статьи — хоть и печатаются крупным шрифтом, но ведь не читает их никто и не читал, в том числе и этот самый солидарный трудящийся, а все смотрят, что помельче, шрифтом букашечным, про преступления и жизнь кинозвезд. Опыт здесь нужен, чтобы правильно сориентироваться. Тут и я, словно самый опытный газетный читатель, уткнулась в самое основное — в Серафима. Как он там? То есть я, конечно, в него сразу же, как влетела, уткнулась, словно пограничник из фильма, а все остальное — это лишь попутные действия и размышления, но сердце у меня, как у невинной девочки на самом первом свидании, сжалось. Вот так у нас всегда — жалость начинает личной жизни мешать. Казбек, негодяй, на которого я делала свою жизненную ставку, как заношенную половую тряпку меня выбросил, а я-то его обстирывала, оглаживала, какая-то перевалочная база существовала в моей квартире: то ртуть, то цветы, то каких-то родственников переночевать присылал: мне бы только о себе думать, я ведь знаю, что завтра или послезавтра у меня головокружения начнутся от отсутствия мужской поддержки, полагающейся женщине по слабости и естеству, а я начинаю жалеть какого-то старика соседа!

Такая вдруг жалость оседлала меня, глупую кобылу, когда я лишь увидала Серафима, как старого воробышка лежащего на своем диване. Ну какая же женщина могла задержаться в этом доме, когда даже кровати здесь не было и нет. Так, кушеточка, продавленное гнездо. Среди своих книжек, в пыли, как в снегу, лежал этот ссохшийся старичок, а возле него, на пыльной, ничем не покрытой тумбочке, телефон, всякие капельки в пузыречках, листочки, настольная лампа и белые, свежие листочки бумаги — рецепты, которые, видимо, оставила «неотложка». Лежит, глазенками поблескивает — совсем не по-геройски, стесняется и своей обшарпанной, с замызганным пододеяльником, постели, и кушеточки с еще довоенными валиками, разброса и неуюта. Даже удивительно, а ведь выходит из дома весь наглаженный, в одеколонах, в шляпе. Показуха, жалкая жизнь без преданной женщины и детей!

Я сразу, только кивнув, схватилась за рецепты. Когда сначала ребенок с детства болеет, потом мать умирает на твоих руках, во всей этой медицине начинаешь разбираться как профессор. Да я от простуды, горл, расстройств желудка — весь бытовичок — лучше любого врача лечу. В рецептах ничего страшного: дибазольчик, папаверинчик — значит, скакануло давление. Ничего страшного, обомнется, все мужчины в болезни слабоваты, их надо поддерживать... Бывало и прежде у Серафима такое раз в года три-четыре, обычно какое-нибудь волнение. Отлежится, очухается, рано еще тебе, Мариночка, на чужую комнату рот разевать.

— Давление?

— Вы не волнуйтесь, Людмила Ивановна, — возраст и давление. — (Ну до чего вечно вежливый, с двенадцати лет меня стал звать на «вы», а с пятнадцати по имени-отчеству!) — Сделали укол магнезии и сказали, что завтра пришлют участкового.

— Вы тоже, Серафим Петрович, не волнуйтесь. — (Я иногда себе поражаюсь: халда, истеричка, дура, а почему же иногда такая выдержка?) — Если делали магнезию, то мы сейчас сообразим грелку, магнезия плохо рассасывается и может быть затвердение. А завтра я обязательно до работы сбегаю в аптеку и возьму лекарство.

— Сегодня днем заходил Казбек, — слова у Серафима шелестят как-то сами по себе, — забрал некоторые свои вещи, попрощался.

Шелестит Серафим этими словами, и вдруг я вижу: он из-под бровей — зырк на меня. А не из-за героя ли Кавказа поднялось у Серафима давление? Догадывался, конечно, что я буду очень переживать.

— Всё с Казбеком, — сказала я твердо, оглядывая соколиным взором, с чего бы здесь, коли повезло и я сюда вперлась, начать. — Всё, выгнала я его, отрубила, хватит, надоел мне этот спекулянт. У меня есть дочь, а он, подлец и спекулянт, посягает на квартиру. Забудем. Как и прежних искателей приключений. — Это все я говорю довольно твердо и энергично, а мне бы сейчас в койке отвернуться к стене, накрыться с головою одеялом и сладко во весь голос повыть. Ничего так не разгружает, как крик и слезы. Эту терапию применить сейчас нельзя, значит, чтобы хотя бы элементарно остаться целой, не заболеть, не свихнуться, не наломать дров, надо сейчас же засучить рукава и, несмотря на усталость, начинать вкалывать по хозяйству. Технология эта отработана.

И тут, когда я еще только прикидывала очередность работ: полы влажной тряпкой, на тумбочку — салфетку, проветрить, чай с клюквой или черносмородиновым вареньем — витамины, а главное — чем-нибудь легким накормить старика, накормить его собаку, которую Маринка сейчас приведет, а остальное на завтра, с утра пораньше, до работы, — тут и мелькнуло у меня соображение: а с чего это Серафим так разволновался и довел себя почти до гипертонического криза?

Широко известно, если женщина чего-нибудь возжелает, она этого добьется. Приемов здесь, самых разнообразных, немыслимое количество. И довольно быстро, через всякие вопросики и словесные ловушки, — все время, естественно, не выпуская тряпку из рук, носясь с чайником из кухни в комнату, передвигая, перестилая, вытирая, подметая, отвлекая себя от грустных мыслей, подбадривая, командуя Серафимом, Маринкой, вернувшейся со двора с какими-то новыми фантастическими известиями, от которых я пока отмахнулась, осаживая пса Чарли, который, подзакусив, или отчаянно веселился, носясь за мною по всей квартире, или, повизгивая, терся возле дивана хозяина, — занимаясь всеми этими делами, я довольно быстро выяснила, что Серафим действительно очень разволновался из-за Казбека, увидев (что соответствовало действительности) в его сборах, в упаковке своих вещей наш разрыв. Но были, оказывается, и другие причины.

Ах, этот старый ученый, мой дурак сосед! Ну, я-то понимаю его чувства, его заматерелую связь с этой преступной и разложившейся надстройкой общества, с этой, слава Богу, закрытой и почти запрещенной нашей властью партией. Но какую этот старикан всё время проявлял негибкость! Чего его-то, ученого и писаку, там держало? Разве в наше время эту категорию людей можно тронуть и на них посягать? Да они болтают что хотят и пишут любые воззвания. Он, видите ли, не желал быть ренегатом и не захотел сходить с тонущего корабля, пока капитан не даст команды. У капитанов-то денег, наверное, во всех углах мира понапрятано. И капитан вроде самостоятельно пишет книжки и издает их за немалые деньги на Западе, и капитанша при помощи лизоблюдов строчит, и тоже, наверное, не бесплатно, а за СКВ. Ему же, этому домашнему старичку, дороги его собственные моральные принципы, потому что вступил он в эту преступную партию на фронте. И даже подчеркивал: «Когда вы, Людмила Ивановна, еще не родились». Ему дорога, видите ли, его фронтовая молодость,

И тут, когда эти политические разглагольствования зашли так далеко, тут я не выдержала и, хотя предпочитаю, когда человек откровенничает, давая ему возможность выговориться, помолчать, не выдержала и возникла:

— А вы разве не видели, что эта ваша партия полностью разложилась? Вы что, не видели, как все они, когда стало выгодно и разрешили, сдавали партийные билеты и переходили на сторону демократов? Вы-то чего с вашей разговорчивостью и фронтовой биографией не сделались депутатом? Сейчас бы уже помогали всем своим знакомым получать жилплощадь.

Мне даже показалось, что разговор пошел ему на пользу, глазки засветились, щечки порозовели, исчезнувшая было шустрость появилась вновь, и Серафим заговорил поживее, помахивая кружечкой с недопитым клюквенным морсом.

— Разложилась не партия, а в первую очередь ее верхушка. Многие годы, пользуясь благами, которые партия для этой верхушки предлагала, верхушка развила в себе охотничьи инстинкты и выгрызла, как крыса сыр, смысл из партии. А теперь эта крыса снова захотела нами управлять, под другим наименованием.

— Но разве вы не понимаете — (мне так и хотелось сказать: старый болван! и загорячилась и вспылила почти по-настоящему), — разве вы не видите, что именно коммунисты довели страну до нищеты и разрухи? И, слава Богу, она, эта ваша компартия, в которую вы вступили в молодости, теперь навеки, как говорит пресса и остальная «масс-медиа», навеки похоронена, ушла с политической арены и никогда не воскреснет.

Нет, вы подумайте, он еще спорит! Того и гляди за ним, как за деятелем преступного комдвижения, придут и начнут его водить на веревочке, а он еще спорит!

— Воскреснет! В будущей истории человечества коммунизм и его идеи воскреснут еще не один раз, потому что человечество неоднократно попытается вспомнить свой библейский золотой век. Эта такая прекрасная идея, пусть и сказочная, всеобщего равенства людей. В нашей стране эксперимент не был проделан чисто. С самого начала он был погублен несовершенством людей, их жадностью, невежеством, властолюбием и корыстью. Его погубили несовершенные люди. Да и не начинали мы этот коммунизм или социализм создавать, даже не принимались строить, просто верхушка создала несколько разных этажей удобства жизни для разных партий, которые выдавались за одну. Коммунизм для Политбюро, коммунизм для партийного аппарата, а все остальные строили и строили этот коммунизм, который должен был наступить для их детей. Нас, всю страну, подвели капитаны, которым мы верили, а чтобы держаться на капитанском мостике, они кораблю во время маневров позволили биться о скалы сколько угодно. А сами кричали, что без них, без их пригляда, корабль потонет. И вот теперь вместе с кораблем гибнут тысячи и тысячи людей, которые могли бы и спастись, и закончить жизнь спокойно, если бы эти маневры были более разумными. Опять всё разрушили и только обещаем что-то построить.

Ну как я могла относиться к этой пропагандистской чуши?! У старика совершенно замороченное сознание. Другому бы коммуняке я все доказала, но здесь-то старый, весь в прошлых ошибках человек. Продукт, как говорят у нас в газете, эпохи. Я только сказала:

— Ну, почему вы так плохо относитесь к демократам? Разве все интеллигентные люди не должны быть демократами?

И тут раздался звонок телефона.

Да и не было никогда у меня привычки подслушивать чужие разговоры! Кому это нужно, я по природе своей нелюбопытна, мне бы только на себя времени хватило. Серафим взял трубку, — благо телефон стоял рядом, через открытые двери я услышала, как звякнуло на параллельном аппарате, — и тут же, еще не успел Серафим пару раз повторить, называя своего телефонного абонента по имени-отчеству: «Да, я. Борис Иорданович... Слушаю. Борис Иорданович...» — как уже побелел, глазки у него если не зашлись к височкам, так в прострации заморгали, А самое главное—из трубки, прижатой к уху Серафима, раздался такой

визг, такая истерическая, захлёбывающаяся визготня, что утерпеть и не снять в коридоре параллельную трубку мог только святой.

Нет, если бы мне все это просто рассказали, если бы я не слышала этого поросячьего визга сама, во всё происходящее я бы не поверила. Я расчудесным образом знала этого самого Бориса Иордановича. Очень интеллигентный, с орлиным взором, пожилой, лет под семьдесят мужчина, который и к нам в газету заходил, чтобы печатать свои статьи, да и по телевизору я его видела неоднократно. Я в свое время так его уважала: когда еще в разгаре первой избирательной кампании все лезли к власти, он отказался от участия в выборах, потому что, дескать, на все времени у него не хватит. Он так и сказал тогда: «У меня все время отнимает журнал, которым я руковожу».

Нет, и Серафима тоже не оправдываю, они с этим Иордановичем вроде даже немножко приятельствовали, по крайней мере, я припоминаю, перезванивались, и когда в самом начале перестройки Иордановича назначили начальником над этим самым журналом, Серафим его по телефону поздравлял. А тут истекшим летом, когда все самые передовые люди стали быстро отваливать из бывшей правящей партии, Серафим написал какую-то статью про ренегатов. Вроде бы он там не указал ни одной фамилии, потому что опять же по телефону интересующимся объяснял, что никого конкретно не имел в виду, а писал о типическом явлении и даже, дескать, не об этой загнившей верхушке партии писал, а о моральной стороне вопроса. Мол, тикáют-то в первую очередь самые любимцы этой партии.

Так вот, когда наш замечательный Президент очень по-боевому эту самую партию запретил, Иорданович, который ничего на свой счет в свое время принять не захотел, тут же и прозвонил Серафиму с елейным и нежным вопросиком: «Мне, дескать, сегодня в редакции показали статейку с вашими рассуждениями, а не скажете ли вы, милый Серафим Петрович, кого именно вы имели в ней в виду?»

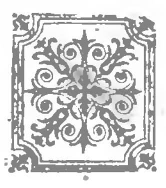
Начало разговора я еще застала прямым текстом, вернее, ответы Серафима, а уж потом кое о чем я догадалась или Серафим мне по моей просьбе досказал. Он, Серафим, когда только услышал голос Иордановича, сразу понял, что идет месть, и сразу же сам агрессивненько так подобрался. Иорданович-то начал, кого вы, мол, имели в виду, а потом и завизжал: «Я, значит, любимец партии!..» Струсил, голубчик!

Нет, это надо было слышать! Разве такие слова, как «говно» — сравнительно недавно, уже во время перестройки, я впервые увидела его напечатанным и узнала его написание, обычно раньше, очень, правда, редко, если пишущие люди его и употребляли, то в некотором камуфляже, как «г...», — так вот, разве это слово что-нибудь объясняет? Разве такие развеселые фразы, которые один старик по телефону бросает другому, как «умрешь в говне», что-нибудь объясняют? Чего здесь больше — ненависти; тайной, получившей возможность истечь злобы; безнаказанности пророчества? «Мы тебя размажем по стене». «Мы тебе теперь и продохнуть не дадим». Кстати, очень интересно, спрашиваю, как лицо сочувствующее, кто это такие «мы»? Не мои любимые демократы? Так вот, разве эти фразочки что-нибудь объясняют? Я очень пожалела, что не сообразила записать на магнитофон весь этот старческий бред. Иначе кто поверит, что семидесятилетний джентльмен мог сказать такое! А если бы эту пленочку прокрутить по какому-нибудь русскому или зарубежному радио, вот была бы потеха, вот бы концерт самодеятельности для населения? Но, к сожалению, все это слушала я одна, и должна сказать — немножко оторопела. Я ведь баба дошлая, если меня в транспорте, в трамвае или в автобусе обидят, я ведь и сама сдачи дам, не поздоровится. А здесь, в этом разговоре Серафима с Иордановичем, такой был со стороны этого Иордановича напор, что, наверное, и я на месте Серафима растерялась бы. Такая была ненависть — значит, долго Иорданович в себе ее копил... Когда все еще было в каком-то равновесии, предпочитал помалкивать, таиться, про себя, храбрец и искатель истины, злобствовать... Значит, сначала лучше себя в статье не узнавать, а когда обстоятельства продвинулись, любимцем партии быть, значит, интеллигентик, не хочешь, замечталось быть страдальцем и страстотерпцем?

О, как хотелось мне прямо, по-рабочему, в эту же телефонную трубочку несколько слов Борису Иордановичу сунуть. В его случае, как я поняла, главное — это быть понаглее и позабористее. Он ведь тоже не очень переживал, справедливы его слова или несправедливы. Главное — обидно. А значит, надо было поступить так же, как и он, — сунуть. А у меня, хотя я и не какая-нибудь писательница, а лексикон похлеще, еще с ПТУ кое-что сохранилось. Ах, гад! Ах старый импотент!.. Но вот что мне показалось в этом разговоре достойным описания. Лично я, если бы этот Иорданович со мною по телефону начал такое, я бы послала его и бросила трубку. А вот Серафим, когда Иорданович, перебив его, принялся говорить всякие неприличные слова, достойные не интеллигенции, а шпаны из подворотни, только слушал. Через параллельную трубку я только слышала, как он тяжело дышал, но сам он будто наслаждался этими словами, будто впитывал их в себя, вбирал, наполнялся этой гадостью. Это что было — казнь себе или, наоборот, давая своему бывшему другу вбежать в это самое г о в н о, он еще дальше заманивал его, давая возможность в этом самом добре и потоптаться? Один говорил и слышал, что его слушают, а другой только дышал и слушал. И первый иссяк и истек в своем говорении и, иссякнув в разбившись об это молчание, наконец бросил трубку. И тогда я услышала, как Серафим тоже аккуратно и бережно, как вообще делал он всё, положил трубку на рычаг. И тогда я снова пошла к нему в комнату, посмотреть. Но к этому времени глазки у него уже закатились, и он не просто тяжело дышал, а хрипел, как лошадь на дороге...

* * *

Этот день, в котором произошло столько разного, и не мог закончиться для Людмилы Ивановны ничем хорошим. Снова пришлось вызывать «неотложку» для Серафима. Хрипел он страшно, и пока врачи не приехали, Людмила Ивановна газетой, как веером, подгребала к нему воздух или капала в кружку собственную, то есть принадлежащую лично ей, валерьянку и самое верное лекарство от сердца — капли Вотчала. Но, несмотря на ее домашнюю терапию, приехавшая против обыкновения довольно быстро «неотложка» забрала Серафима Петровича в больницу. После этого Людмила Ивановна порывалась найти телефон Бориса Иордановича и высказать ему все, что она, как подлинная демократка, думала о нем, лже-демократе. Но телефона в записной книжке Серафима Петровича не отыскалось, и она накормила остатками вчерашнего супа пса Чарли и гречневой кашей с молоком — дочь Маринку. Когда все в квартире утомились, Людмила Ивановна легла в свою постель, накрыла голову подушкой и тут сделала то, о чем мечтала еще с утра, с собрания, нет, с того часа, когда Казбек ей объявил, что он уходит от нее к сыну Султанчику и его маме, — Людмила Ивановна всласть и во все горло завыла.





ПОЭЗИЯ

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ



КОГДА МОЛИТВА ЛЬЕТСЯ ЧИСТО...

Матери

Свете тихий, свете ясный...

Тот тихий свет, тот свет вечерний...
Не разлучиться, не пропасть,
Когда огни твоей деревни
Его, как пряжу, будут прясть.

Неизреченным словом светит
О чем-то давнем и родном,
О том, что я на Этом Свете,
А ты теперь уже — на Том.

О свете тихий, свете дальний!
Ты чем яснее, тем больней.
И с каждым годом все печальней
С душой встречаешься моей.

Когда молитва льется чисто
Никем не зримою слезой,
То в тишине иконописной
Ты здесь, родимая, со мной...

Коровы

В густые сочные долины
Бредут коровы, как былины,
Идут коровы красны, лысы,
Необычайно белосисы,
И беловымны, и важны.
Их ноздри мраморны, влажны.

Широколобы, крутороги,
Они зарею возжены,
И, как языческие боги,
Идут с восточной стороны.
А я — пастух. Мне лет немного.
Стеречь коров — моя тревога,

Забота долгая, досуг.
И солнце спутник мне и друг.
Мой кнут ременный и витой,
Храбрец, стреляет сам собой.
И он, вестимо, не для ласки,
Он стаду нужен для острастки.
Мне без него никак нельзя —
Я с ним, как Божия гроза.
Коровы водят трезвым оком.
Рыдая, травы брызжут соком,
Их шелк сворачивать привык
Крутой сиреневый язык.
Еще и солнце высоко,

Но молоко — недалеко.
Оно незримою рекой
В любой травинке полевой
Течет, как белый свет, веками.
И бабы сильными руками
Доят и мучат сладко вымя,
Заря лучами золотыми
Ударит мягко по рукам.
За этот миг я жизнь отдам!
Когда, затронув подоконник,
Звезда зайдется, высока,
И страстно падают в подойник
Слепые струи молока.

Осенины

Проводит ветер сухо по жнивью
Своей уже прохладною рукою.
Душа, как птица, тянется к жилью,
К сохранности какой-то и покою.

Листва летит, ей путь освобожден.
Она летит легко и безучастно.
Она свой срок, что был ей отведен,
Смогла прожить просторно
и прекрасно.

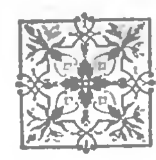
За речкой след гусиный на лугу
С пристывшим пухом тускло
индевеет.
Анализирует ворона на суку
Свой промысел, и ветер
бок ей греет.

Опята тайно плоть терзают пней.
Дряхлеет у заваленки крапива.

И, как купчина,
раздобревший воробей
По древнему рецепту варит пиво.

Садится рано солнце за бугор.
И к пойлу теплому, пыля,
спешит скотина.
Радеет пастуху в довольстве
каждый двор.
И пастуху не жизнь теперь —
малина.

Хмельным и сытым встать
из-за стола.
Потом прилечь, блаженствуя
в истоме.
И крепко выспаться, как выгореть
дотла,
На золотой, пленительной соломе...



АНДРЕЕВ Владимир Фомич родился в 1939 году в Харькове. Окончил инженерно-строительный, а впоследствии и Литературный институты. Работал на стройках страны, редактором в издательстве. Автор нескольких поэтических книг. Член Союза писателей. Живет в Москве.



ЕРЕМЕЙ АЙПИН



У ГАСНУЩЕГО ОЧАГА

ПОВЕСТЬ

ДЕНЬ ОБРЕТЕНИЯ

Я пришел на Землю в самый долгий день года. Быть может, поэтому мне кажется, что я помню себя со дня своего рождения. Помню, как Мама несла меня на руках. Помню тепло ее добрых рук. Помню тепло ее ласковых рук.

Помню трещины и зарубки на стенах домов, где мы жили, и сосну, что увидел солнечным утром, впервые выйдя на улицу.

Помню высокое-высокое небо над головой и перелетных птиц, что приносили теплую весну. Птиц, что приносили изумительные белые ночи. Птиц, что разноголосым гомоном будили всю округу, будили весь наш Север.

А за весной приходило лето с очень вкусными ягодами. Мама и моя старшая сестра Лиза приносили мне эти ягоды.

Ягоды бордовые и красные.

Черные и голубые.

Янтарно-желтые и малиновые.

Лунные и солнечные.

Помню, как наступала осень и перелетные птицы уносили тепло в далекие края. Ушла осень с грустными деревьями — и я увидел первые снежинки, медленно парившие в пронзительно прозрачном воздухе...

И первый снег, обновляющий Землю...

Но на этом снегу оставались не мои, а Мамины следы. Я ходил тогда еще ногами Мамы. Ведь я пришел на Землю совсем недавно, незадолго до первого

АЙПИН Еремей Данилович родился в 1948 году. Окончил Ханты-Мансийское педучилище и Литинститут. Работал помощником бурового мастера в Аганской нефтеразведочной экспедиции, плотником на строительстве станционного поселка близ Нижневартовска. Автор книг прозы «В ожидании первого снега», «В тени старого кедра» и романа «Ханты, или Звезда Утренней Зари».

снега, — и на своих ногах еще не держался. Я пришел в самый длинный день года, в пору очаровательных светлых белых ночей. Быть может, поэтому все жители нашего селения решили, что судьба моя будет такой же светлой, как и белые ночи нашей Земли...

И получил я счастливое имя моего Деда по Отцу — Роман. Его имя отдали мне затем, чтобы я вырос таким же благородным, отважным и сильным, каким был мой Дед. Деда своего я не видел, он не носил меня на своих крепких руках медвежатника. Его дни на Земле кончились до моего рождения. Но я слышал столько рассказов о его необыкновенной отваге, что мне стало казаться, будто я видел его, будто жил с ним когда-то рядом. Мне казалось: я и он — это один человек. Ведь я помню тяжесть и холодный блеск острия его копья. Я вместе с ним вступал в единоборство с медведем. В стужу и зной вместе с ним пробирался по тропам родной земли, по большим и малым рекам и озерам. Рядом с ним я не знал ни устали, ни покоя...

Мне отдали его имя, чтобы мое сердце стало таким же трепетным и чутким к людской печали и радости, каким было сердце Деда...

В крестные отцы мне достался столетний старец Ефрем, родной брат моего Деда. Это чтобы стал я таким же мудрым, как и мой Крестный. И чтобы прожил такую же долгую жизнь, и чтобы стал таким же сказочником и певцом, каким был старец Ефрем. Помню, как он еще промышлял зверя и птицу, плел рыболовные морды и жильники — «вар сахл», мастерил всякий промысловый инструмент... Я любил наблюдать, как все ловко делают его руки. Но еще больше любил слушать его песни и сказки, его легенды и предания. И, слушая сказки, я пристально всматривался в его иссеченное временем лицо. Старался отыскать в нем черты моего легендарного Деда, от которого, кроме имени и добрых дел, ничего не осталось. Нет даже карточки...

Когда мне исполнилось три года, на Землю моя сестра Даша пришла. Ту осень я отчетливо помню — выезжали на Обь, ловили там рыбу. Помню седоголовые волны на обской протоке, светлый-светлый берег и чистое-чистое небо. А после: зима — лето, зима — лето. Еще зима и — весна. Вытаявшее на солнце взгорье на южной окраине Домашнего Бора, сочная зелень листьев брусники, белый ягель, оранжевый ковер опавших игл. Порыжевшие сосны и — солнце, солнце, неуемное солнце отовсюду и повсюду. Вместе с весной и солнцем пришла моя младшая сестра Оля...

Это была счастливая пора познания и открытий, пора обретения людей и себя, пора обретения Отечества и Мира...

Я пришел на Землю в самый долгий день года. И был уверен, что вырасту таким же удалым и отважным, как мой дед Роман. Что стану таким же мудрым сказочником и певцом, как и мой крестный старец Ефрем. Что оставлю на земле и в сердцах людей добрый след, добрую память...

Но прошли годы. И, повзрослев, я понял, что нет во мне той богатырской отваги и благородства, чем был знаменит мой Дед. Нет во мне мудрости и удивительного жизнелюбия моего столетнего крестного старца Ефрема. Нет во мне той гармонии и жизнепонимания, что были присущи моему Отцу и Матери, дяде Василю и многим другим родственникам моим. Но с годами все острее становится память о счастливом детстве. И, размышляя о сородичах, о людях, о тех, среди кого жил и рос, вдруг, словно молния, сверкнет озарение: какие это были великие люди!

К сожалению, поняв это, осознаешь и другое: многие уже оставили нашу землю. И теперь лишь изредка, в суете сует, остановившись на миг, с запозданием извлекаем мы из глубин памяти поучительные мгновения жизни наших предков...

А о величии человека следует помнить при его жизни.

Я СЛУШАЮ ЗЕМЛЮ

Вечером, когда солнце повисло на верхушках сосен, Мама, понизив голос, попросила меня:

— Не шуми.

— Почему нельзя шуметь?

— Солнце скоро сядет.

— Ну и что — пусть садится!

— Вечером воды и земли засыпают, — пояснила Мама. — Поэтому нельзя шуметь. Дай им спокойно заснуть.

— Они спят?

— Да, они устали. Нельзя их тревожить.

Я покосился в сторону заката, на заходящее солнце, спросил Маму:

— А солнце куда уходит?

— Солнце тоже идет на отдых.

— А солнце устает на небе?

— Конечно. Вон сколько дел оно делает за день.

— А где отдыхает солнце, что там есть?

— Наверное, в своем доме... Где же еще?!

Воды и земли, оказывается, тоже спят, соображал я. И солнце уходит в свой дом, тоже спит. Значит, как и люди, они устают за день.

Спрашиваю Маму:

— А птицы ночью что делают?

— Крылатые птицы тоже засыпают.

— А звери ночью что делают?

— И ногастые звери засыпают.

— А жучки-паучки?

— И жучки-паучки.

Я стал думать, кто бы мог ночью не спать, кто бы мог обойтись совсем без сна. Вспомнил о деревьях и травах, поэтому спросил:

— А деревья и травы тоже спят?

— Разве они не живые? — переспросила Мама.

— Наверное, живые... — протянул я.

— И деревья-травы засыпают, — заговорила Мама. — Все живое ночью спит. Все живое засыпает. Вот почему нельзя вечером громко смеяться, громко разговаривать, стучать и греметь. Нужно думать о других.

Я стал прислушиваться. И вправду, замолкли пташки, что весь день весело щебетали в золотистых соснах возле нашего дома. Наверное, уже уснули в теплых гнездышках до утра. Только перед самым рассветом запоют и засвищут. А когда взойдет солнце — разбудят меня.

Потом заинтересовался, что делается вдали от нашего селения, — все ли думают о вечерней тишине? Я напрягаю слух, пытаюсь уловить все звуки засыпающей земли. Но не слышно речных куликов на Протоке Болотной Стороны. Замолкли крикливые кедровки в припроточном кедровнике. На болотных песчаных озерцах, на окраине Домашнего Бора, смолкли горластые халеи — речные чайки. Днем я хорошо слышал их беспричинный хохот. И ветер-шалун убежал за дальние реки и озера и затих, затаился там — ни хвоинка не шелохнется на ветвях старых сосен.

Тишина на болоте на севере.

Тишина на Малом Яру на востоке.

Тишина на Большом Яру на западе.

Тишина на Протоке Болотной Стороны на юге.

Тишина опускалась на Гору Осеннего Селения, где стояли дома людей нашего рода и где мы весновали в этом году.

Угомонились и ворчливые сороки, что каждый день прилетали к селению. И даже наш белый пес Харко, кажется, задремал — не звенит цепью, не подзывает меня радостным лаем.

И я убеждаюсь: все вокруг засыпает, все вокруг замирает.

Солнце садится.

Мама спрашивает в открытые двери, что закрываются с заходом солнца:

— Ты что там делаешь, Роман? Давно тебя не слышно.

Я ответил:

— Я слушаю Землю.

Отец с Матерью и сестры о чем-то тихо говорят в доме. Наверное, припоминают события прошедшего дня. Ведь за день случается столько необычного, о чем вечером обязательно нужно порасспросить родителей...

— Иди домой, Роман, — зовет меня Мама. — В постели дослушаешь тишину.

И я бегу домой.

Слушая тишину, я засыпаю. И вижу, как Солнце, опустившись за горизонт, открывает двери своего удивительного дома-дворца. Стены и потолки из длинных тонких пластин-лучей, отливающих золотом. Все сверкает, все горит. Я невольно зажмуриваю глаза. Солнце входит во дворец и засыпает. Там спят и дети Солнышка-матери — девочки и мальчики моего возраста. Когда в наш дом входит луч Солнца, Мама говорит, что это Солнышко-матушка протянуло нам свою руку. Если же лучей много, значит, по словам Мамы, это дети Солнца пришли на землю поиграть с нами, со своими ровесниками... Потом я увидел, как Солнце выходило из дворца. Мне показалось, что наступила зима: «Солнце надело шапку и варежки к сильным морозам», — говорил Папа зимой. Тогда же, зимой, я был поражен тем, что Солнце в короне очень похоже на мою Маму. Я сказал об этом Папе, и он ответил: «Солнце — это мама всех людей. Поэтому, наверное, все мамы похожи друг на друга». Мне нравилось смотреть на Солнце в короне и думать о Маме. И я немного жалел, что летом Солнце никогда не надевает свою корону и варежки... Теперь же, выйдя из дворца, Солнце так ослепило меня, что я тут же проснулся.

Было утро. И через окно в стене ласковая рука Солнца разбудила меня. Это, наверное, чтобы я поспешил навстречу детям Солнца. Им, видно, одним тоже бывает скучно. Не с кем поиграть и порезвиться...

Вечером я провожаю долгим взглядом входящее в свой дворец Солнце, смотрю на Маму и вспоминаю о вечерней тишине и о засыпающей земле...

С тех пор прошло немало лет и зим. Все чаще всплывают в моей памяти наше маленькое селение в золотых соснах и свято сберегающая вечернюю тишину моя Мама. И засыпающие воды и земли. И засыпающие деревья и травы. И звери и птицы. И засыпающее солнце. И я слышу их немой вопрос об одном и том же, об одном и том же...

Кто теперь так свято оберегает сон таежной земли?!

ХАЛЕЙ ХОХОЧЕТ

Я провожаю взглядом стаю халеев*, что летит с Протоки Болотной Стороны на приборовое озеро. Над селением стая замедляет полет и вразброд, дергаясь, начинает бестолково гоготать и гомонить:

— Каллэк! — крикнет один.

— Каллэк-каллэк! — тут же откликается второй.

— Каллэк-лэк-лэк-лэк-лэк! — захлебнется хохотом третий.

Так стая повисит над селением, а после, все еще дергаясь и хохоча, лениво уплывает к болоту.

Я бегу домой и спрашиваю у Мамы:

— Халей хорошая или плохая птица?

— Плохая птица, — не задумываясь, отвечает Мама.

— Почему плохая?

— Над людским горем хохочет...

— А зачем?

— Таким вот он уродился.

И Мама рассказала, что когда осенью халей улетает в теплые края, то кричит, чтобы за зиму многих людей не стало, чтобы многие ушли в Нижний Мир, — весной, вернувшись обратно, он захохочет над тем домом, где не стало человека.

— Вот такая плохая птица халей, — закончила Мама свой рассказ. — Все норовит посмеяться над чужим горем — поэтому ханты не любят его.

Тут мне припомнилось и другое, за что не очень жаловали халея. Весной, приезжая с рыбалки, Отец часто привозил испорченную рыбу. Халеи замечали попавшую в сеть рыбу — тут же проклевывали ей брюхо и вытаскивали жир-

* Халей — речная чайка. От хантыйского названия птицы «каллэк».

ные кишки. Ладно, если бы голодные были и всю рыбу съедали. Так нет — только лакомились.

Отец, рассердившись, иногда подстреливал халея и подвешивал его на колышке ставной сети — чтобы другим было неповадно и меньше зарились на чужую добычу.

И мне ничуть не было жаль убитых халеев. Хотя, наверное, это по-своему красивые птицы — с продолговатыми красными клювами, с желто-оранжевыми лапками и в бело-сизом оперении. Но больно они бесцеремонны и нахальны. И когда я подрос, то вместе с друзьями, с двоюродными и троюродными братьями всячески начал их травить. А способов травли было немало.

Мама, узнав о наших проделках, испуганным голосом воскликнула:

— Да разве можно так?! Над живой птицей?!

А потом она добавила, что раз халей живет — значит, он нужен земле и небу. Коли бы он ненадобен был — так не было бы ему места в жизни лесов и болот, в жизни рек и озер.

Отцу тоже не нравились мои проделки. Когда замолкала Мама, он строго говорил:

— Халеев в покое оставь!

Я оставлял их в покое, но ненадолго. При всяком удобном случае старался чем-нибудь досадить халеям.

В их бестолковом галдеже и хохоте мне чудилось что-то зловещее, темное, жуткое. Ведь они радовались кончине человека. И казалось мне, чем меньше будет халеев, тем больше людей останется в живых, тем больше людей доживет до следующей весны. Я не хотел, чтобы люди нашего селения, милые сердцу родственники преждевременно уходили в неведомый Нижний Мир.

И, быть может, поэтому я так возненавидел эту птицу.

И только после, спустя годы, однажды, задумавшись о жизни вод и земель и всего сущего, понял, что, наверное, напрасно преследовал и истреблял безобидную птицу—речного халея. От гибели халеев не убавлялось зла на земле, носителями которого являются отнюдь не звери и птицы...

КИВРИ

За водой ходили под гору, где у подножья были маленькие колодцы. Над ними сооружали островерхие навесы из жердей и болотного мха. Это «домики киври», чтобы в колодец не попадали хвоинки и листочки, крошки сосновой коры и другой сор кустов и трав. А «киври» — это и колодец на болоте или в низинке на окраине бора, это и прорубь на озере, откуда берется питьевая вода.

Я охотно ходил с Мамой под гору за водой. Воду носили в берестяных ведрах. Мама сшила для меня маленькое ведерко. Я смотрел, как она делала это. Кусок бересты, нагрев на огне, изогнула по четырем углам. Получилась куженька. Верхний край, приложив с внешней и внутренней стороны саргу *, обшила мятым корнем кедра. Папа нашел изогнутый дугой сучок сосны, обстрогал его, а концы просверлил сверлом. И кедровым же корнем пришил ручку к берестяной куженьке. Готово ведерко.

— Помогай Маме, — сказал Отец. — Носи воду!

И я бежал за водой. С Мамой или с сестрой Лизой. Одного меня еще не отпускали к колодцу.

В домике киври был берестяной ковшик с деревянной ручкой. Ковшиком черпали воду. Лезть ведром в колодец строго возбранялось. Играть и резвиться вблизи тоже не разрешалось. Единственное, что мне позволяли возле киври, — это испить воды из берестяного ковшика.

А вода необыкновенно вкусная.

Сор Осеннего Селения, или Колодезный Сор, клюквенное болото, питали неиссякаемые родники.

Вечером, если отец приходил усталый, то обычно говорил:

* Сарга — лента из лыка молодой черемухи.

— Свежей бы воды.

И мы с сестрой Лизой спешили за водой киври, чтобы напоить отца. Иногда на обратном пути нас подзывали к себе дядя Василь или мой Крестный отец старец Ефрем, который вечно мастерил что-то возле своего дома.

— Дайте свежей водицы! — просили они. — Горло совсем пересохло.

Испив холодной воды, Крестный кивал мне седой головой и говорил степенно:

— Спасибо, спасибо, крестник-сын! — И всегда добавлял свое пожелание: — Чтобы и тебе, когда доживешь до моих лет, было кому поднести свежей водицы!..

А было ему в ту пору около ста лет, и мне он казался таким же вечным, как наш Сосновый Бор, Протока Болотной Стороны, Гора Осеннего Селения.

Мы приносили Папе воду, и мне думалось, что эта вода снимает усталость и приносит человеку хорошие мысли, хорошее настроение. Ведь возле киври строго запрещено браниться и говорить всякие плохие слова. Слово упадет в колодец, и пьющий воду может проглотить его. И тогда человеку будет плохо. А разве вы пожелаете плохого своему ближнему и человеку вообще?

Я и сам чувствовал, как берестяной ковш родниковой воды прибавлял мне силы. Это была живительная вода. И вкус ее трудно передать словами. Я улавливал и запах талого снега, и вкус спелой клюквы, и аромат листочков брусники, и едва уловимый дух только что проклюнувшейся травы, и свежесть болотного мха, и смолистость кедровой и сосновой хвои, и тонкую прель прошлогодних листьев, и сок от корней многих трав и деревьев. Тут была и береза, и черемуха, и рябина, и шиповник, и смородина...

Это была вода, настоянная на лучших солях земли.

Это был сок таежной земли.

Возможно, поэтому я так любил бегать за водой под гору, где были колодцы и берестяной ковшик с деревянной ручкой.

Только после, когда я объехал многие земли, многие города и села, испил воду многих рек и озер, многих родников и колодцев, я понял, что такой воды, что была в киври под Горой Осеннего Селения, нигде больше нет. И — с годами я уверовал в это — не могло быть...

ЗДРАВСТВУЙТЕ, РОДСТВЕННИКИ!

У меня много родственников. Все жители нашего селения, до десяти домов, это люди рода Бобра — мои родственники. Кто старше моего Отца, те приходятся мне дядюшками и тетушками. Кто младше Отца — это все мои братья и сестры. С ними я играю, озорничаю, а иногда и дерусь. Среди сверстников меня перебарывает только троюродный брат Архип, сын дяди Василя. Правда, он на полтора-два года старше меня. И я все жду, когда появится во мне дедовская сила, чтобы одержать верх над соперником. Сила почему-то не спешит вселиться в меня. Но я не отчаиваюсь, жду.

Не зря же дали мне имя моего деда-богатыря.

Есть у меня родственники и за пределами нашего селения по всей нашей Аган-реке. У Мамы остались дети от первого дома — дочь Федосья и сын Галактион. Мои брат и сестра. Брат приезжает к нам не часто. Он работает «почтовым человеком» — возит почту между двумя большими селениями в разных концах реки. Зимой на оленях, летом на лодке-обласе. Изредка он заезжает домой. Я всегда с нетерпением жду его: он делает мне игрушки из дерева и бересты, мастерит луки и стрелы, охотно катает на нартах и на обласе.

Возле старшего брата всегда чувствуешь себя увереннее.

А сестра бывает у нас еще реже. Далеко она живет, вышла замуж в низовье реки. Но путники нам часто привозят от нее слово «здравствуйте!». Мы все кричим тогда хором:

— Здравствуй, здравствуй, сестра!

А Мама обычно тихо, словно сестра рядом, в нашем доме, говорит:

— Здравствуй, дочка! Здравствуй, старшенькая!

Последним, выждав, когда утихнет шум, подавал голос отец:

— Здравствуй, здравствуй, Федосья!

Мы были уверены, что она слышит нас и теперь будет здравствовать много-много лет и зим. И мы в свою очередь с каждой сказкой посылаем ей своё слово-пожелание — «здравствуй!».

Когда я стал старше, узнал, что помимо кровных родственников у меня еще есть родственники среди других народов — это манси, венгры, эстонцы, саамы, финны *. Кроме этого, все люди, у кого родоначальником был Бобр, глава нашего рода — сира, — это тоже мои братья и сестры, дядюшки и тетушки. Об этом мне говорила Мама. Говорил Отец. Говорил дядя Василь. Говорил мой Крестный отец старец Ефрем.

Где вы, люди рода Бобра?! Откликнитесь!

И я, гордый таким родством, наверное, на все стороны света посылал свое слово-пожелание:

— Здравствуйте, родственники! Здравствуйте!

В те дни зародилось и живет во мне до сих пор ощущение, что все люди Земли — это мои родственники.

ПОСЛЕДНЯЯ ОЛЕНИХА

В тот год мы басновали у Бабушки, на Яру рода Сардаковых. Возле бревенчатой избушки, на чистине, снег горел на глазах — и вскоре появилась большая проталина. На ней земля в полдень так нагревалась под щедрым солнцем, что я украдкой от Мамы босиком выбегал из дому, чтобы попрыгать на песке. Оказывается, за зиму я очень соскучился по теплой и ласковой земле.

Было много солнца. И на красно-оранжевых бревнах избушки выступала прозрачная смола. На боровых соснах сверкала и трепетала под ветерком золотистая кора. Под высоким белым яром наша Агап-река несла голубоватые льдины, и по ним скакали шаловливые лучи солнца.

В высоком небе ни облачка.

Воздух был наполнен ароматом весны.

Пахло сосновой хвоей и смолой.

Пахло теплой древесиной.

Пахло ростками первой зелени.

Нас со старшей сестрой Лизой все время тянуло на улицу. И почти целый день мы играли на проталине перед домом.

Проталина эта приглянулась и нашей оленихе. Звали ее Стройный Олень, или Стройная Олениха. Придя с пастбища, она сначала подходила к двери. Мы с сестрой бежали к ней и кормили ее с руки. Ее лакомства — поджаренную чешую с подовушек, плавники и щучьи хвосты, головы чебаков — мы заранее запасали. Знали, какие рыбьи кости следует давать оленю, а какие нет. Мама всегда предостерегала нас, чтобы мы не давали ей щучьи челюсти с острыми зубами. С щучьими зубами не мог расправиться даже наш клыкастый пёс Харко.

Я иногда выносил нашей Оленихе кусок-другой хлеба. Делал это тайком от взрослых, поскольку с хлебом в те годы было туговато. Олениха тянулась ко мне и, раздувая ноздри, шумно втягивала в себя воздух. Наверное, ловила запах поджаренной подовушки и хлеба. Она любила хлеб и, получив кусок, благодарно кивала мне головой. Так мне, во всяком случае, казалось.

Я гладил ее по светлой шее и по светлым бокам. Почти до белизны обветривалась она под весенними ветрами и солнцем. Мне нравилось, что она становилась такой же светлой, как и снежно-белый олень. Хотя скоро начнет линять — и шерсть на ней повиснет клочьями. Зато осенью я не узнаю ее в новом наряде: шерстинка к шерстинке, вся она будет сверкать и серебриться на солнце. На голове звонкие ветвистые рога. Тогда ее с рук не покормишь. Я начну подзывать ее: «Та-та-таа-а!» Она издали будет коситься на меня выразительным глазом. И как только я сделаю к ней шаг, — она, пугливая и осторожная, отступит на два. Тут уж и хлебом не подманишь, и жареными плавниками и чешуей подовушки не подзовешь.

---

* Хантыйский язык относится к финно-угорской ветви языков.

Так бывает осенью. А сейчас, полакомившись, Олениха не спеша обходила наш открытый, без городьбы, двор, потом ложилась на теплую проталину возле входа в дом. И, прикрыв большие темные глаза, жевала жвачку и дремала.

Так было изо дня в день.

С каждым днем становилось всё теплее.

Потом наша Олениха пропала. Не приходила с пастбища. По таинственным улыбкам взрослых я понял: они что-то знают об Оленихе, ничего плохого с ней не случилось, просто не говорят. Пришла она на третий день утром. Да не одна — а с маленьким красношерстным олененочком. Олененочек едва касался земли высокими тонкими ножками, словно по весеннему воздуху парил. Но на песке оставались крохотные ямочки от копытец — значит, он все-таки ходил по земле.

Нашей радости не было предела.

— Ох, олененочек! — прошептал я.

— Смотри, смотри! — дергала меня сестра. — Какой махонький! Какие высокие ножки!

— Теперь у нас два оленя — целая упряжка! — сказала Мама. — Только бы хорошо рос олененок!

— Ах-ах! — закудахтала наша седовласая Бабушка. — Ах, какой олень!

— Олень вроде ничего, — сдержанно проговорил Отец. — Хорошо на ногах стоит. Крепко стоит.

Даже муж Бабушки, сумрачный и суровый отчим нашей Мамы, вдруг улыбнулся и сказал негромко:

— Н-да, олень!..

И мы все поняли, что олененок и вправду родился хороший. Хоть куда!

Дочка Оленихи пугливо озиралась по сторонам, прижималась к боку матери. И при любом неосторожном движении бросалась прочь. Но Олениха успокаивала и подзывала свое дитя ласковым хорканьем. А Отец тихонько подкрался к ней и поймал за ножку. И мы все по очереди чмокнули ее в мордочку со словами:

— Расти большой!

— Расти сильной!

— Расти быстрой!

А мы с сестрой Лизой погладили ее по теплой головке. Отец выпустил ее из рук — она отбежала и отряхнулась. Видимо, не понравилось первое прикосновение человека. Но потом она успокоилась и вместе с Оленихой-мамой обошла наш двор. Мне показалось, что они, осматривая строения, тихо переговаривались на оленьем языке. Показывая на избушку, Олениха говорила:

«Это дом. Пахнет хлебом, поджаренной рыбой и теплом. Запоминай, дочка, эти запахи».

«А кто в доме живет?» — спрашивала дочка.

Ведь она все видит впервые. И ей, конечно же, все хочется знать.

«В доме люди живут, — отвечала мама Олениха. — Наши хозяева. Маленький хозяин и маленькая хозяйка. Большой хозяин и большая хозяйка».

«А с белыми головами кто такие?»

«Это старые люди. Наверное, родители наших больших хозяев».

«А что это за дом на чурочках стоит?»

«Это не дом — в нем нет чувала. Это амбар».

«А что в амбаре?»

«Там всякие куженьки, туески, корыта, набирки».

«Для чего они?»

«Для рыбы, для сбора ягод. Пахнет чешуей и брусникой».

«А тут почему нет стен? Одна только крыша...»

«Это навес. Так и должно быть. Под ним стоят нарты. На таких нартах мы зимой станем возить наших хозяев. Особенно любит кататься наш маленький хозяин, который каждый день выносит мне разные лакомства. Это чтобы я зимой катала его на нартах».

«А в высоком доме кто живет?»

«А-а, это ты про лабаз спрашиваешь. Видишь, он стоит на четырех ножках с насечками. Это чтобы мыши туда не пробрались. Там хранится меховая

одежда, подволоки — это охотничьи лыжи, подбитые мехом, упряжные лямки и съестные припасы. Обычно там бывает мука в мешке и сел в берестяных кадушках. Сейчас, по-моему, муки там нет — маленький хозяин почти не угощает меня хлебом».

«А что такое сел?»

«Сел — это прокопченные чебаки и подъязки, всякая мелочь рыбья. Очень вкусная. Вот подрастешь — и тебя начнут баловать такой рыбкой».

«А это что за зверь такой?» — спросила дочка, подходя к собачьей конуре.

«Это пес наших хозяев. Зовут его Харко. Ты близко не подходи. Может цапнуть за ножку».

«За что? Я ж ему ничего плохого не сделала!»

«Ни за что. Собаки все хитрые и коварные. При людях они тихие и смирные, а как хозяева отвернутся — сразу цап!»

«А тебя они кусали, мама?»

«Да. Когда я маленькой была, однажды, помню, собака отвязалась и долго гоняла нас, оленей, по пастбищу. Мы догадались — прибежали домой. Тут хозяин поймал и крепко наказал собаку. А у меня потом болели раны на задних ногах. Если нападет на тебя какая — надо всегда бежать к дому хозяина, — говорила Олениха. — Хозяин всегда выручит!»

Они подошли к таганку, где на открытом огне варилась уха и кипел наш большой медный чайник. Дело шло к обеду, и тут хлопотала Бабушка.

«А это что за красный зверь?» — спросила дочка Оленихи, показав на таганок.

«Это не зверь, это — огонь!»

«Тоже кусается?»

«Да, очень больно может укусить. Пока он под присмотром человека — за тобой не погонится. Но все равно будь осторожна, не наступай на пепел кострища — копытца можно обжечь».

«Сколько же у нас врагов! А друзья у нас есть?»

«Есть и друзья. Наш маленький хозяин, маленькая хозяйка и их родители. Это друзья, понимаешь?»

«Понимаю».

Так, тихо переговариваясь на оленьем языке, они обошли наш двор. Потом вернулись на проталину, потоптались немного и легли на горячий песок бок о бок. Мы с сестрой не подходили к ним, смотрели издали, чтобы не беспокоить зря. Как только приближался человек, пугливый красношерстный олененок сразу вскакивал.

Теперь мы с сестрой ломали голову, какое имя дать маленькому олененку, дочке нашей Стройной Оленихи. Ни одно имя не подходило, поскольку Малышка пока никакого поступка не совершила. Еще не показала свой характер, не показала свой нрав. Да и не простое это дело — придумать имя. Ведь оно должно быть таким же звонким и красивым, как и сама Малышка. И чтобы оно обязательно «пристало» к ней.

— Имя придумали? — спросила Мама.

— Нет еще, — ответили мы с сестрой. — Не пристают имена к ней.

— Думайте, думайте.

А Папа посоветовал нам:

— За ней внимательно наблюдайте.

— Зачем?

— Она сама подскажет вам свое имя.

Но мы и так почти не спускали глаз с олененка. С каждым днем он все подрастал и становился резвее. Задрав пушистый хвостик, пускался вскачь по проталине. Словно поддразнивал меня — кто быстрее, кто быстрее! И я удивлялся: только родился, а бегает быстрее меня. Я не мог догнать его. Ай да олененок!

Было тепло. Границы проталины заметно раздвигались — вместе с ними расширялся и мир моих владений. Я все дальше и дальше уходил от избушки вслед за тающим снегом.

Шли дни. Малышка подрастала, а имя все не приходило. А потом мы и

вовсе забыли об имени. Как-то днем, покормив Олениху, я забежал домой. Тут следом влетела Бабушка и крикнула Маме:

— Вера, вашей Оленихе плохо стало!

— Что с ней? Где?!

— Там! На проталине! Беги!

— Зови Отца! — крикнула мне Мама и выбежала из дома.

Весь дом всполошился. Все забегали, засуетились. Все что-то кричали, кого-то звали.

Я тоже выскочил на улицу. Олениха на одном месте кружилась посреди проталины. Вдруг ноги ее подломились, и она, задрожав всем телом, рухнула на землю. Забила ногами и, загребая копытами песок, неловко поползла по кругу. В правую сторону. На правом боку.

— Может, подавилась! — крикнула Бабушка и глянула на меня. — На подоконнике гвозди лежали. Может, с чешуей отдали ей!

— Не давал я гвоздей! — закричал я. — Не было там гвоздя.

— В рот, что ли, ей загляните! — попросила Мама.

Отец приподнял голову Оленихи с закатившимся глазом, подержал немного, а потом осторожно опустил.

Отец молчал. Все притихли.

Наконец отчим Мамы сумрачно выдавил:

— Все. Кончилась.

И проталина вдруг сузилась до пятачка, на котором лежала наша неподвижная Олениха. И мы стояли возле нее и молчали. А вокруг нас с горьким плачем носилась Дочка Оленихи. Она не могла пробиться через людскую стенку к своей матери, не видела ее, но поняла, что случилось несчастье. Услышав ее плач, мы с сестрой тоже заплакали. Но Бабушка тут же зашикала на нас и увела в дом.

— По оленю нельзя плакать, — сказала она. — Утрите слезы.

Мы размазали слезы по лицу и забились в темный угол.

И нам стало холодно и жутко.

Приходили соседи, люди рода Сардаковых. Вздыхали, о чем-то расспрашивали Отца и отчима Мамы. Я сначала улавливал лишь не очень понятные слова: «война», «фронт», «груз», «червь в сердце», «войны время». Потом понял, что говорили о нашей Оленихе. У нее сердца не стало. Олениха нас всю войну везла и «из войны» вывезла, говорили взрослые. Иначе бы мы не выжили и войну бы не одолели.

Последняя Олениха.

Военная Олениха.

А недавно, приехав в отчий дом, я вспомнил ту послевоенную весну далекого детства. Вспомнил нашу последнюю Олениху. Оказалось, что и мой Отец не забыл ее.

— Да, — сказал он. — Это была последняя Олениха вашей Мамы. И ты помнишь ту весну?

— Да.

— Война и олений род подорвала...

Потом, встряхнувшись от дум, стал расспрашивать о жизни людей Земли, о войне и мире.

И надолго замолк. Видно, в его памяти всплыло, как он выражался, «войны время», те тяжкие годы, о которых напомнила ему наша последняя Олениха.

ПРИСТАНЬ

Хорошо, когда у человека есть своя пристань. Хорошо, когда в непогоду есть куда причалить...

Помню, как меня в первый раз повели на пристань. Папа поехал ставить сети, и мы с сестрой Лизой пошли его провожать. Нужно было помочь ему отнести сети, новые поплавки и грузила в берестяных одеждах-покрышках. Мне,

правда, дали нести только маленькую круженьку для черпания воды. Мал еще, сказали мне, свой живот до пристани дотащил бы.

Больше всех беспокоилась Мама. Помогая мне одеться, она наставляла старших:

— Смотрите, чтобы он в воду не упал!

— Будем смотреть! — отвечала сестра.

— Чтобы на мостках не оступился!

— Хорошо.

— Чтобы руки-ноги не оцарапал!

— Ладно.

Маме все казалось, что я еще очень маленький и на пристани мне делать нечего. Поэтому не хотела отпускать меня так далеко от дома. В общем-то, она была права: делать мне на пристани нечего. Но уж очень я просился туда. Хотелось собственными глазами взглянуть, что это такое «Осеннего Селения Пристань». Как только открывалась вода, я каждый день слышал на языке взрослых: «Осеннего Селения Пристань» да «Осеннего Селения Пристань». Конечно же, через эту пристань меня возили. Но я был настолько мал, что ничего не запомнил. И вот теперь я загорелся желанием побыстрее взглянуть на эту таинственную пристань.

Мама все беспокоилась, все напоминала старшим:

— Чтобы комары его не искусали!

— Будем следить.

— Вы такие — за ним не уследите...

— Да куда он денется?..

Папа заметил:

— От комаров пусть уж сам отбивается... Никто его на пристань не звал. Сам напросился.

А Мама, провожая нас, переспросила сестру:

— Ты слыхала, Лиза, что я тебе сказала?

— Слыхала-слыхала, не беспокойся, Мама!

И мы взяли вещи и пошли. По светлой песчаной дорожке спустились под Гору Осеннего Селения и остановились у высокого сухостойного пня. К нему прислонены слеги. Каждый выбрал слегу по своему росту. Папа — большую. Сестра Лиза — среднюю. Я — самую маленькую. И, опираясь на слеги, по шатким мосткам из двух рядом уложенных бревен-сухостоин двинулись через широкий сор — ровное болото без больших кочек и деревьев. Весной сор заливало талой водой, а когда вода сходила, мы бегали сюда собирать клюкву. Сейчас впереди, оглядываясь на меня, шел Отец. Я — за ним. А сестра Лиза — за мной. Сухостоины-настилы шершаво-неровные, и по ним было легко идти. Но местами талые воды приподняли их и сделали шаткими. Поэтому раза два я оступился и намочил правый ичирк.

— Вот Мама тебе задаст — придешь домой! — проворчала сестра.

— Как бы тебе самой не попало! — пробурчал я.

— Под ноги смотри!

— А я куда смотрю, по-твоему!

— А ты, как сова, вертишь голову во все стороны!

Я-то знал: от Мамы никакой нахлобучки не будет. Она высушит ичирк — и все дела. Поэтому нисколько не расстроился.

Кончились мостки — и мы прислонили свои слеги к засохшему на корню кедру. Я потрогал его замшелый ствол. Кора давно отвалилась и, наверное, уже сгнила. А его тело — серое и крепкое — все еще поблескивало на солнце. Кедр гордо возвышался над всей округой. И мне он показался стражем вот этих мостков, клюквенного сора и ближнего леса. От старости он весь высох и замшел, но продолжал стоять на своем посту. Так он живой или мертвый? Высох — значит, умер. Но он стоит и охраняет округу — стало быть, живой. Разве мертвый может держать слеги и стоять на страже?!

Такие мысли пришли мне в голову, когда я прикоснулся к стволу древнего кедра.

— Пойдем, — позвал Папа.

— Он что-то бормочет, — улыбнулась сестра Лиза, останавливаясь возле меня.

— Что ты там стоишь-то? — спросил Папа.

— Кажется, со стариком кедром разговаривает, — сказала сестра Лиза.

— Пойдем, потом поговоришь, на обратном пути...

Я оставил кедр и поспешил за Папой.

Мы шли по смешанному лесу. О деревьях я уже кое-что знал. Знал, что на верхушках мягкохвойных кедров к концу лета поспеют шишки. Папа принесет их, я поджарю плоды на костре, чтобы не стало смолы. И начну шелушить. Какие вкусные орехи! Это мое первое лакомство!.. Я поглядывал и на березы, не забыл еще вкус сладкого весеннего сока. А елку немного недолюбливал — хвоя у нее больно колючая, до крови может уколоть. Мама говорит, что это тоже дерево нужное — белки любят еловые шишки. Раз кормит белку — пусть стоит себе, думал я про елку, на почтительном расстоянии обходя ее ветви. А что до красноствольной сосны — так это наше «домашнее» дерево. Я смотрел на сосны как на давних знакомых. Хвоя — для большого черного глухаря, шишки — для белки, ствол — на стены дома и лабаза, сучья — пища для теплого очага. Все в дело идет.

Крепко пахло цветущей черемухой и молодой листвой.

Я вдыхал этот терпкий дух леса и радовался тому, что меня взяли на причал. Тут и про комаров не вспомнишь.

— На тропу смотри, — просила сестра Лиза, когда я приближался к мочажинам и корневищам на дороге. — Упадешь ведь!

За руку она меня не могла взять — тропинка слишком узкая. Рядом была широкая оленья дорога, но по ней тоже не пройдешь — сплошные мочажины, ступить негде.

Наконец мы поднялись на поросшую соснами гриву, и я увидел причал и Протоку Болотной Стороны. На воде лежала «солнца рука», о которой говорила мне Мама, — золотисто-серебряная дорожка. Она искрилась и переливалась — ветерок слегка рябил воду.

Пахло посоленной рыбой и смолой. Пахло нагретой древесиной и сосновой хвоей. Пахло мокрыми сетями и травой.

Пахло рекой.

Вдоль берега лежали перевернутые вверх дном малые обласки *. Так они отдыхают после плавания, говорила Мама. А на воде покачивались дощатые лодки-неводники **. Они тяжелые, их на сушу не вытаскивают. Мне очень хотелось посидеть на лодке, покачать ее на волнах, но сестра Лиза не пустила. Говорит, еще в воду упадешь.

Папа возился с сетями возле деревянных бочек, что стояли в тени. Я знал — в бочках солили рыбу. Когда они наполнялись, Отец на большом обласе отвозил рыбу на Аган-реку. Там недалеко от наших Летних Домов, на Домашнем Острове, был приемный пункт — избушка и длинный высокий склад-лабаз. Рыбу принимал добродушный Кудрявцев-старик. Его хозяйство называли просто Приемная. Меня брали туда очень редко, хотя я часто просился — хотелось все увидеть своими глазами.

У воды комаров больше, чем в сухом бору. И Папа выпроводил нас домой. Мы шли теперь без Папы, одни. И за каждым валежником и замшелой корягой мне чудились таинственные лесные существа из сказок и легенд. Я их немного побаивался и поэтому ни на шаг не отставал от сестры Лизы. И раза два уже наступил ей на пятку.

— Куда так спешишь? — упрекнула она. — По моим пяткам все идешь!

Я напомнил ей старинную примету, которую слышал от Мамы: если кому-то наступил на пятку, значит, ровно через год с тем человеком по той же тропе пройдешь. Разве это плохо, бормотал я.

— Хорошая примета, — согласилась сестра Лиза. — Но ты мне пятки оттопчешь.

---

* Облас — лодка-долбленка из цельного ствола дерева.
** Неводник — большая лодка из кедрового теса, шпангоуты — из кедровых корневищ.

Потом и вправду мы не раз ходили с ней по этой тропе. По ней, когда наступило время неводного лова рыбы, мы перетаскивали вещи на пристань и на большой лодке плыли на Аган-реку, где стояли наши Летние Дома, наше Летнее Селение. Там тоже было много интересного и нового. По реке проходили катера с баржами на буксире, на обласках и лодках заезжали к нам на чай путники, жители других селений. Изредка посещала нас Красная Лодка — кино показывала и говорила на непонятном языке о неведомых краях, путь в которые начинался с пристани.

Все начиналось с пристани.

Отсюда и я начал свой путь в неведомый мне мир. Бродя по дальним тропам и дорогам, скитаясь по другим рекам и морям, в мыслях я не раз возвращался сюда...

ПЕРВАЯ ВОДА

На пристани Осеннего Селения, когда мы со всеми вещами погрузились в нашу большую лодку и оттолкнулись от берега, Мама смочила забортной водой мою макушку и сказала:

— В будущем году чтобы в это же время ты сел в лодку!

Потом она капнула на головы моих сестер и сказала те же слова:

— В будущем году чтобы в это же время ты села в лодку!

После всех, окинув прощальным взглядом пристань и Протоку Болотной Стороны, Мама снова смочила руку забортной водой и, сдвинув платок, провела по своей голове, проговорила:

— В будущем году чтобы в это же время я села в лодку!

Лодка наша покачивалась на своей волне. Никто не греб. Мы с сестрой тянули руки к смоченным забортной водой макушкам, улыбались, радовались дороге. Хорошо на воде. Хорошо омываться водой. Только Папа не смочил свою макушку. Он сидел на корме, положив перед собой весло поперек бортов. И, оглядывая причал — не забыл ли чего? — вытащил табакерку.

Я, конечно, тут же повернулся к Маме:

— А почему Папа свою макушку головы не смочил водой?

— Папа давно уже встретил первую воду, — сказала Мама.

— Когда — давно?

— Ранней весной, когда только Протока открылась.

— А, он ездил ставить сети, — вспомнил я.

— Да, помнишь — он привез первую рыбу?

— А потом — первую утку...

— Да, и первую утку этой весны...

Мама поправила моим младшим сестрам платки, усадила их как следует. Потом, глянув на меня, проговорила:

— Однажды придет время — и ты первым начнешь встречать первую воду. Как Папа, принесешь своим детям первую рыбу, первую утку...

Когда еще придет это время, подумал я. Сейчас меня интересовало другое. Я повернулся к Отцу:

— Папа, а ты правда смочил макушку первой водой?

— Конечно, — как всегда неспешно, ответил он.

— Все люди так встречают первую воду?

— Конечно.

— И мой дядя Никита?

— И дядя Никита.

— И дядя Василь?

— И он.

— И мой Крестный?

— Да, и твой Крестный, старец Ефрем...

Тут Отец спрятал табакерку в карман, опустил весло в воду, сказал:

— Кажется, ничего не забыли. Ну, поехали...

— Если что и забыли — так не навечно уезжаем, — сказала Мама, берясь за весло. — Поехали...

И наша лодка поплыла вверх по Протоке Болотной Стороны, в Летнее Селение на Агане, в Летние Дома.

Мы с сестрой Лизой все норовили сунуть руку за борт, поплескаться, поиграть бегущей навстречу лодке водой. Но Мама строго сказала нам:

— Хватит! Священную воду не трогайте!..

И мы на время отвлеклись от воды, занялись другими играми. Над лодкой солнце. В лицо — теплый ветерок. На воде — серебристая, похожая на рассыпанную чешую, рябь. То справа кедры, то слева. То слева березы, то справа. И где-то, в деревьях, щебетали невидимые птички.

Когда остановились на недолгий отдых, я сел поближе к Матери и спросил:

— Почему именно такие слова нужно говорить, когда смачиваешь голову водой?

— Чтобы сбылись твои слова.

— А зачем им сбываться?

— А чтобы в следующем году ты в это же самое время сел в лодку.

— А если я сяду в лодку не в это же время, а немного раньше или немного позже? Это плохо?

— Нет, почему же. Главное — чтобы ты сел в лодку, то есть до первой воды будущего года дожил. Понимаешь? А потом скажешь эти слова — и дальше живи. И так от одной воды до другой, от одной весны до другой... Ничего с тобой уже не случится.

После, по веснам, я стал наблюдать за взрослыми.

Дядя Василь, впервые столкнув обласок в воду и сев в него, снимал кепку, весело хлопал мокрой пятерней по своей макушке и, громко, уверенно, с добродушной улыбкой, будто уже заглянул в следующий год, говорил:

— В будущем году чтобы в это же время я в лодку сел!

И, гребнув веслом, отправлялся по своим делам.

А мой Крестный, старец Ефрем, сначала поудобнее устраивался на сиденье, потом снимал островерхую старинную шапку, приглаживал свои редеющие белые волосы и лишь затем всеми пятью сведенными пальцами, смоченными в воде, легонько постукивал по самой макушке головы и негромко говорил слова-заклинания:

— Ох-хо, в будущем году чтобы в это же время в лодку сел!

Так в нашем роду встречали первую воду после зимних льдов.

Так с этой весны я начал встречать первую воду.

Сажусь в лодку, устраиваюсь поудобнее, запускаю руку в забортную воду, капну на голову и бодро так говорю:

— Чтобы в будущем году в это же время в лодку сел!

И делал так из года в год. Младшим сестрам, когда они были маленькими, я тоже капал первой забортной водой и за них произносил магические слова.

Немного позже я по-настоящему понял Мамино объяснение. Как смочу макушку первой водой — у меня появлялась уверенность, что обязательно доживу до весны будущего года, ничего со мной не случится. Проживу хорошо лето, осень, зиму, весну. А там реки-озера очистятся ото льда, и, когда я первый раз сяду в лодку, произнесу эти слова — снова целый год спокойно живи, ни один черт тебе не страшен. И так можно жить долго-долго. И так можно жить вечно-вечно. И жизнь никогда не кончается. Только в каждую весну, в первый раз садясь в лодку, надо говорить эти вещие слова.

ГРОМ-СТАРИК

Летней весной, когда над нашим селением Гром впервые подавал голос, Отец с Матерью подымали головы и говорили:

— Здравствуй, Гром-Старик!

И нам, детям, обычно говорили:

— Поздоровайтесь с Громом-Стариком!

И мы тоже смотрели на небо и здоровались с невидимым Стариком неба:

— Здравствуй, Гром-Старик!

Мы молча слушали, как покрикивал Гром-Старик над селением.

Отец, помолчав, обычно говорил вслух, ни к кому не обращаясь:

— Вот и Гром-Старик пришел...

— Да, вернулся... — поддакивает Мама.

К этому времени я уже знал, что все перелетные птицы прилетают с юга. Стало быть, Гром-Старик тоже откуда-то приходит. Может быть, он улетает осенью в теплые края вместе с перелетными птицами? Наверное, он побаивается холода, побаивается зимы. Ведь зимой я его не слышу. Так где же он зимует?

И я спрашиваю Отца:

— Скажи, с каких земель-небес к нам Гром-Старик пришел?

Отец молча прислушивается, как бы припоминая, к негромкому голосу Грома, потом говорит:

— Издалека Гром-Старик пришел.

— Откуда — издалека? — допытываюсь я.

— С реки Салым...

— А где эта река находится?

— Далеко, это вниз по Оби...

— Он там живет?

— Да, в старину-то, говорят, Отец, Повелитель всех Громов там, в верховье этой реки, жил...

Так я узнал, что у Грома-Старика, как и у всех людей, есть отец. Что отец Громов жил когда-то в верховье Салыма на самой высокой сопке. У него были дети. Их еще иначе зовут Цухи. Как только наступает лето, они разлетаются по всем небесам и землям. И на реку нашу Аган прилетают. И на другие соседние реки — Тром-Аган, Казым, Вах, Юган — тоже прилетают, тоже приходят. Возможно, они еще совсем молодые. Но мы их уважительно называем Громами-Стариками.

Бывает, как бы переговариваясь, они вдвоем или втроем поднимают голос над селением. Значит, они встречаются на небе, ходят иногда одними небесными тропами.

Так я узнал, что Гром-Старик — это добрый бог. Он летает по небу и зорко смотрит на землю. И как только увидит злого Духа, который обычно прячется под деревом, прильнув к стволу, с грохотом бьет стрелой по нему. После, говорят, забирает поверженного злодея-духа и снова взмывает в небо. На стволе остается лишь след его огненной стрелы.

Такие следы-полоски мне приходилось видеть на деревьях.

Бывает, Гром-Старик после грозы ищет свою стрелу, что выпустил по злому духу. Невдалеке от обстрелянного дерева он садится на ветку в облике птицы копалухи. Поэтому после грозы ни в коем случае нельзя трогать копалуху. Нельзя в нее целиться, нельзя в нее стрелять. Словом, нужно ее обходить стороной.

Если Гром-Старик не подбирает свою стрелу, то люди иногда находят ее наконечник. Не то каменный, не то металлический. Обычно след стрелы разыскивают на земле. Пройдя по стволу, стрела идет дальше по корневищу дерева. Если идти по этому следу, раскапывая дерн, то можно найти наконечник стрелы. Он приносит удачу. И люди хранят его в священных сундуках вместе с домашними богами, хранителями очага.

Мне, конечно, очень хотелось иметь стрелу Грома-Старика. Вернее, наконечник его стрелы. Но сколько ни просил Отца, он так и не занялся поисками. Почему? Этого я до сих пор не знаю. Хотя Гром-Старик являлся покровителем и нашего Дома. Он жил в нашем священном сундуке в облике птицы. Наверное, в облике копалухи.

Так я узнал, что в грозу, когда Гром на небе и ты от дождя прячешься под разлапистым кедром, нельзя прислоняться к стволу. Ведь так можно ввести в заблуждение Грома-Старика, и он примет тебя за злого Духа и ударит огненной стрелой по дереву, под которым ты притаился. Если же дождь сильный и нигде другого спасенья нет, то нужно над головой воткнуть в дерево топор или нож и сказать:

— Гром-Старик, под этим деревом я, человек. Не трогай меня.

И только тогда можно встать вплотную к дереву.

Такого нрава был Гром-Старик из далекого Салыма.

Так я узнал, что вниз по течению, ниже устья нашей реки Аган, Великий Ас* имеет на своем левом боку-берегу другую реку Салым. По-хантыйски «Солхэм» — значит «созданная», «сотворенная» в высочайшем смысле этих слов. После я стал улавливать «Солхэм» в сказках и в древнейших мифах изумительного народного карнавала-праздника Медвежьи пляски, что устраивались в нашем роду каждый раз, когда низводили «в урмане ступающего». На Солхэме, оказывается, еще в незапамятные времена жили боги, а затем поселились там мои сородичи, ханты. Стали их звать «Солхэм йах» — «Салыма люди», «Салыма народ».

Но в моем представлении там жили не люди, а боги. Я видел, как в самом верховье реки, на вершине таежной сопки-горы восседал Отец всех Громов. Видел, как весной, когда наступало тепло, его дети-Цухи расправляли крылья и разлетались по всем Небесам и Землям. Аганские летели на Аган, юганские — на Юган, казымские — на Казым. Они разлетались-расходились зорко следить-смотреть, чтобы злых Духов было как можно меньше, чтобы те не притесняли людей всех больших и малых рек, чтобы не взяли верх над человечеством Земли. Быть может, поэтому каждого дитя-Цухи, прилетавшего на нашу реку, мы называли Громом с уважительной приставкой «Старик»...

Вот каким большим и очень нужным делом был занят Гром-Старик, приходу которого я вместе со всеми радовался, крича:

— Здравствуй, Гром-Старик!

И я был уверен, что он слышит и мой голос, и мое приветствие. И, летая над нашим Аганом, будет поглядывать и на меня. И я, под его всевидящим оком, вырасту удачливым и счастливым.

Поэтому, быть может, я никогда не пугался Грома-Старика, как бы громко он ни кричал, как бы неистово ни гремел над нашим селением и рекой. Ведь он всех видит, всех помнит.

Правда, он иногда, видно, увлекшись, забывался. Если он особенно неистово, теряя рассудок, кричал поблизости от нашего дома, Мама говорила Отцу про Грома-Старика:

— Покричи ему, успокой его!.. Пусть детей не пугает!..

Отец не сразу, выждав некоторое время, поднимался и, приоткрыв дверь, словно нашалившему ребенку, кричал в небо сердитым и строгим голосом:

— Эй, Гром-Старик, потихоньку иди! Разве дом и людей не видишь?! Не пугай детей, потихоньку иди!..

И, будто услышав человека, небесный Старик умерял свой пыл и вскоре, понизив голос, поварчивая, вместе с тучей удалялся восвояси.

Женщины никогда так не обращались к расшумевшемуся не в меру Грому-Старику. Если Отца не было дома, то Мама просила моего Крестного старца Ефрема, чтобы тот приструнил грозного Грома-Старика.

. . . .

Салым, Солхэм.

Созданная, сотворенная.

Созданная, сотворенная людьми ли, Богом ли?..

И живут там не люди, а боги,

Во всяком случае, о верховье и говорить нечего — принадлежит богам, принадлежит семейству Небесных Громов. Громов, что заняты одним — истреблением злых духов, истреблением всего нечистого и злобного на Земле.

СОТВОРЕННОЙ РЕКИ ЧЕЛОВЕК

В те дни я еще не знал, что спустя годы увижу первого человека Салыма, первого неземного ханты «Сотворенной Реки» Геннадия Райшева. Увижу и воочию придется убедиться, что на этой сказочной реке, рядом с языческими богами ханты, живут люди «Солхэм йах», Салыма люди, Салыма народ. А не-

* Ас — хантыйское название реки Обь.

много позже Художник, Сотворенной Реки Человек, познакомит меня со своими земляками.

— Это Салымские мужики, — скажет он.

Егор Большой.

Илюшка.

Миша Лемпин.

Сергей Петрович.

Ефрем.

Я всмотрюсь в них. Я попытаюсь их понять. Я попытаюсь охватить их мир. И после пойму, что их мир безграничен, что их мир беспределен. Что каждый из них — это мир. Мир необъятный. И — удивительное дело — они похожи и одновременно не похожи на казымских,юганских, ваховских и моих, аганских мужиков. Они и салымские и не салымские. Сотворенные человеком и сотворенные Богом.

Все доступно и в то же время ничего не доступно и не понятно мне.

Потом я увижу другое. Обыкновенное и необыкновенное.

Утки.

Утки-деревья.

Красивые женщины.

Болотные бабы.

Берестяные бабы.

Травяные мужики.

Травяные мужики и болотные бабы.

Рощи-леса.

Все с детства знакомое и близкое. Утки, болота, трава, Сосны в борах, Кедры в урманах, Березы в прибрежьях. Я знал с самого рожденья, что в тайге каждая веточка, каждая иголочка, каждая травиночка — это живое существо. Все они живут. Все они чувствуют тепло и холод, ласку и боль. Все они имеют свое дыхание, свое дыхание-жизнь. Но, оказывается, утка может обернуться деревом, а дерево — уткой. Болото может быть женщиной, а высокая трава — мужчиной-охотником. Раньше все это было только в сказках, и я мог все это представить лишь в воображении. Теперь же сказка стала реальностью, и я все вижу наяву и могу прикоснуться к ней.

Весла.

Лодки.

Женщины-лодки.

Мужчины-молоты.

Бабы-морошки...

МОРОШКА

Загадка моего детства. Так загадывается:

— Загадка-загадка моя,
посреди сора,
посреди болота
женщина в красном платке
стоит-красуется.
Что это такое?

— Это морошка! — слышу я восторженные голоса своих сверстников.

Я, как и мои сверстники, обожал эту Царицу болот. Она начинала мне сниться задолго до своего появления на свет, с первыми проталинами на сорболоте возле нашего Осеннего Селения, где мы обычно встречали и весну. Сначала морошка застенчиво приоткрывала свое румяное личико, а потом быстро наливалась соком, становилась прозрачной и оранжево-золотой, как солнце, и приподнимала болото своим сочным светом.

К сожалению, век морошки очень краток. Не успеешь болото перейти — нет ее, ушла она. «В мох канула», — говорил обычно Отец. «Следующим летом вернется», — успокаивала Мама.

Надо непременно дожить до лета, дождаться ее.

Это была самая желанная, самая вкусная ягода моего детства. Почему?

Может быть, потому, что она красивая. Красивая и похожа на солнце. Идешь по болоту, а вокруг тебя много-много солнц. И тебе от них и красиво, и тепло, и весело.

Это была самая желанная, самая красивая ягода нашей Земли.

Наверное, и Художнику она впервые повстречалась в раннем детстве на щедрых землях Салыма. Повстречалась и с той поры заворожила она Творца, Сотворенной Реки Человека...

БАБУШКА

Мне кажется, Бабушку, Мамину Маму, тоже помню чуть ли не с самого рождения. Правда, в моей детской памяти она то появлялась, то исчезала. Она с мужем, отчимом Мамы, жила то у нас, то в селении Лосиного Рода Людей, Сардаковых. Это выше нас по Агану. Из этого рода был ее второй муж, суровый и сумрачный дядя Никита. Он возил почту между Верхним и Нижним поселками. Я его немного побаивался и при нем старался поменьше резвиться, проказничать. Словом, держался подальше от него. И летом бегал на улицу поиграть с их пестрым псом Ай Амп, что значит «Малый Пес».

Малый Пес, казалось мне, более доброжелательно настроен, чем его хозяин. Я приносил ему чешую от водовушки. А он, повизгивая и помахивая пышным хвостом, пытался лизнуть меня в лицо. И, в отличие от нашего Харко, сразу исполнял мои команды. Если я просил левую лапу — давал левую. Просил правую — поднимал правую. А Харко церемонился, злил меня. Возможно, поэтому я чаще бегал поиграть с сообразительным Малым Псом. И окраска у него была необычная — белый с палевыми пятнами.

В середине лета, в самое комариное время, когда обоих псов, жалеючи, спустили с цепей, они крепко подрались. И Малый Пес прокусил сбоку шею нашему Харко — на белой шерсти выступила кровь. Получилось, что Бабушкин пес одержал верх. Я неодобрительно косился на него — обидно стало за своего Харко. В отместку за это их опять посадили на цепь. Не оценили свободы...

После, когда Бабушка осталась одна, она тоже жила то у нас, то у младшей дочери Натали в Верхнем поселке. Натали вышла замуж за довольно зажиточного ненца. У них были олени. Помню, зимой, проезжая по Царской дороге, иногда тетя Натали заворачивала в наш дом. Румяная, молодая, в добротной ягушке, в белых узорчатых кисах, в ярких платках, с упитанной тройкой в упряжке, она смотрела на нас, наверное, как на бедных родственников. Правда, много лет спустя они растеряли своих оленей и все переменилось. Тогда мне вспомнились слова Бабушки, которая часто повторяла: «Зря собаку иль человека не обижай — в жизни, бывает, даже к самому последнему псу с нуждой придешь!»

Что верно — то верно. В нашем доме никто и не думал оспоривать Бабушку.

И после ухода Мамы наша Бабушка также продолжала жить то у нас, то у тети Натали. Когда она приезжала — мы радовались ей. Она готовила нам еду, обшивала и обстирывала нас вместе с нашей старшей сестрой Лизой. Только одно мне не нравилось: слишком часто и жалостливо она повторяла:

— Ох, без опоры-связки горькие сиротинушки!.. Ох, без опоры-связки мои сирые сиротинушки!..

Видно, когда ей становилось совсем невмоготу, она говорила:

— Ох, внук Вася мне снится!..

Вася — это старший сын Натали.

После таких слов Отец сам отвозил или с попутчиками отправлял Бабушку в поселок, к Натали. Хотя своенравная, избалованная жизнью Натали, по слухам, не очень-то жаловала свою старенькую мать. Но проходило некоторое время — весна, лето, а бывало, и осень — и когда нам становилось совсем тяжко, Отец от нашего имени посылал Бабушке устное приглашение посетить нас. И мы с этого дня начинали жить ожиданием Бабушки.

И приезд Бабушки — конечно же праздник для нас.

Но мне почему-то больше запомнилось то, как Бабушка жила у нас при Маме. Помню, сидит Бабушка на малых нарах, возле чувала. Волосы белые-белые, как перо халея. Глаза светятся ярким и теплым огнем. Голову держит высоко, спину — прямо. Сидит Бабушка перед маленьким столиком — чай пьет. Сидит Бабушка, как царица. Высокая. Неторопливая. Грациозная. Как теперь я понимаю, в молодости она была очень красива.

Я подсаживаюсь к Бабушке. Бабушка в маленькую чашечку наливает мне чай. Пьем с Бабушкой чай, разговариваем.

— Мамина Мама, отчего у тебя голова такая белая? — спрашиваю я.

— Вот доживешь до моих лет, — неторопливо заводит речь Бабушка. — И твоя голова станет такой же белой, как и моя. И тогда ты поймешь, отчего белеет голова...

— Ладно, — киваю я.

— Только не спеши...

— Так-так... А откуда ты, Мамина Мама, на нашу Реку приехала?

— А приехала издалека. С реки Турм Явэи.

— С Божьей Реки?! — удивляюсь я.

Турм Явэн, или по-русски Тромаган, переводится как «Божья Река».

— Да, — степенно говорит Бабушка. — У Божьей Реки есть небольшой приток — называется «Пиндер Явэи». Там я родилась. А папу моего, то есть твоего прадедушку по материнской линии, звали Пиндер Явэн Ики — Пиндера Реки Старик...

— Мамина Мама, а у тебя есть братья-сестры или ты совсем одна?

— В семье я была самая старшая, — вспоминает Бабушка. — За мной идет сестра. Голова у нее уже такая же белая, как и моя. Да ты, Роман, наверное, видел ее, мою младшую сестрицу?..

— А кто она такая?

— Это мама Иосифа из болотной ветви Лосиного рода. Они в верховье Ягурьяха живут.

— Конечно же, видел, конечно же, знаю ее! — воскликнул я.

— Вот это и есть моя младшая сестрица...

— Она очень похожа на тебя, Мамина Мама!

— Что ж ты думал: одна грудь нас вскормила. Одна мать, один отец нам жизнь дали.

— Я не знал, что это твоя сестрица.

— А теперь знай и помни: моя сестрица — это и ваша родственница, а с родственниками надо жить по-родственному, Роман.

— Мамина Мама, а братья у тебя есть?

— У меня три младших брата есть... Ох-а, я их сто лет уже не видела! Ох, хоть одним глазком взглянуть бы на своих братьев, на всех своих родичей!.. Какое это счастье!..

— Так в гости бы к ним съездила! — наивно предлагаю я.

— На чем?! — почти кричит Бабушка. — На одноглазых хорах-быках?! На «одноглазых» — значит, несуществующих.

— А колхоз разве не даст тебе упряжку олешей на одну поездку?

— Колхоз?! — пуще прежнего сердится Бабушка. — Этот жилодер кому что и когда давал?! Ну-ка, скажи!.. Он только жилы из народа тянет!..

Я не знал, что на это ответить. Но знал другое: почти ни у кого нет своих оленей, а у колхоза — есть стада.

— Память у колхоза короче моего мизинца на ноге, — вздыхая и немного успокаиваясь, говорит Бабушка. — Когда колхозу было тяжело, я работала на него днем и ночью. Я была колхозная, как все люди нашей Реки. А теперь стала старая, колхозу совсем не нужная...

Бабушка замолкает. Я тоже сижу, молчу. Швыркаю чай.

В глазах Бабушки все еще полыхает огонь гнева. Но постепенно она отходит и, почти совсем успокоившись, говорит мне:

— А ведь ты, Роман, пожалуй, прав: колхоз мог бы мне упряжку выделить, ничего бы с ним не случилось... Сколько я ему сил и слез отдала!.. Да

вот с памятью у него не все в порядке — не помнит, кто ему делал добро, а кто зло...

— Может, он того... память у него еще восстановится, — осторожно говорю я Бабушке. — Ну, поумнеет, что ли, — и про тебя вспомнит, Мамина Мама...

— А-а-а!.. — Бабушка безнадежно машет рукой и твердо добавляет: — Если это когда-нибудь и случится, в чем я крепко сомневаюсь, — то не на моем веку!

Бабушка делает большую паузу, задумывается о чем-то, потом поднимает на меня излучающие тепло свои очи и неторопливо говорит:

— Наверное, мне уж теперь не придется побывать на моей родной Божьей Реке. Не придется, наверное, своих братьев и родичей увидеть. А у тебя, Роман, впереди долгая жизнь. Коль попадешь на мою родину, обязательно всех моих родственников из рода Тэвлиных разыщи. Слышишь, Роман?

— Да-да, слышу, — отвечаю я.

— Это и твои и твоих сестер кровные родственники. Так вот, разыщешь их, моих братьев и родичей, разыщешь их детей и, коль я буду жива, передашь от меня слово «Здравствуйте!». Слышишь, Роман?

— Слышу, — говорю я.

— А коль меня на этом свете уже не будет, — продолжает Бабушка, — то расскажешь обо мне и обо всех моих внуках и внучках, то есть о себе и всех своих родственниках на Агане. Ты меня слышишь, Роман?

— Да, — глухо выдавливаю я, потому что мне совсем не хочется, чтобы Бабушка ушла из нашего Среднего Мира.

— А потом в свою очередь расспросишь родственников Божьей Реки о их житье-бытье. Узнай о каждой ветви рода Тэвлиных, поинтересуйся судьбой каждого человека. А когда вернешься домой, все это расскажи своим близким и дальним родичам. Чтобы вы все знали о своих родственных связях, все знали друг о друге, понимаешь?

— Ах-а, — киваю я. — Вроде бы понимаю...

— Ладно, подрастешь — все поймешь... — говорит Бабушка.

Мы сидим с ней, пьем чай. Я начинаю расспрашивать ее про своего деда, маминого папу. Кто он был и где жил, кто из его рода остался?

— О, это был мой первый дом... — вздыхает Бабушка.

Она смотрит куда-то вдаль поверх моей головы, будто в прошлое вглядывается. А я медленно плыву по волнам ее голоса и многое-многое узнаю. Оказывается, мой дед Савва еще в начале века сосватал мою Бабушку и привез в свое Маут Яун Селение в низовье нашего Агана. В ту пору это было довольно большое селение на устье Маут Яуна, левого притока нашей главной Реки. Там родилась наша Мама. У нее были две сестры. Обе вышли замуж, но через несколько лет их не стало. Из жизни ушел и дедушка Савва. И Бабушка осталась совсем одна-одинешенька. В эти годы пришли русские, начали строить Нижний поселок, который назвали Интлетовы. Позже переименовали в Аган. Начали организовывать первый колхоз. Вот тогда Бабушка и хлебнула лиха. Ведь поселок возводили совсем рядом с селением Маут Яун, на противоположном берегу. Всех — никого не спрашивали, хочет или не хочет — записали в колхоз. Особенно тяжко пришлось вдовам и одиноким женщинам. Либо оставайся в своем селении и тяни полный план по рыбе или пушнине, либо подряжайся на перевозку грузов — в основном рыбы, либо перебирайся в поселок на «русские работы». Это был самый нежелательный вариант. Жили в общем бараке, где один угол, как выражалась Бабушка, на несколько семей приходится. Там Бабушка лес валила, а потом его на постройку новых домов в поселок возила. Ближе к весне, когда распутица начиналась, дрова для всех поселковых учреждений пилила, колола и в длинные поленницы на просушку укладывала. Летом рыбу потрошила и в больших бочках-чанах солила. А когда приходил катер с баржой, она эту рыбу на носилках туда загружала, чтобы в город отправить. Зимой она мерзлую рыбу в мешки затаривала и на подводы грузила. Тоже для города. Летом также на поле работала — картошку и другие овощи выращивала. Траву для скота косила, а зимой на оленях или конях в

поселок ее вывозила. На скотном дворе за коровами и лошадьми — тут Бабушка говорит неприличное слово — гребла...

— Вся работа колхозная тяжелая, ручная, неженская, — вздыхает Бабушка. — Кто был послабже — надорвались и умерли, кто посильнее — выжили, теперь последние дни свои доживают...

— Это в войну так было? — спрашиваю я.

— И до войны, и в войну, и после войны так было и так есть, — сердито говорит Бабушка.

— А я думал: только в войну...

— Ну, в войну еще тяжелее пришлось — хлеба не было, все по норме...

Бабушка опять поднимает взгляд, смотрит поверх моей головы в прошлое и опускает на меня тяжеловесные слова:

— Тяжелее русской работы на этом свете нет ничего...

И, словно пытаясь взлететь, избавляясь от тяжести, она невольно встряхивает кисти рук. И из недалекого прошлого переводит на них свой взгляд.

— Болят? — спрашиваю я сочувственно.

Бабушка, иронически глянув на себя сверху вниз, усмехнулась над собой:

— Боли старых людей, если начнешь их считать, концов не имеют...

Она сделала паузу, потом добавила:

— Поэтому нечего их считать...

При этом, как это ни странно, сколько я себя помню, Бабушка ни разу не пожаловалась на боли и болезни. Ни разу, помнится, она не болела. Охать она охала — но больше всего от удивления и негодования. Реже — от досады.

— А как русские женщины русскую работу терпят? — спрашиваю я Бабушку.

Бабушка призадумывается, молчит. Потом говорит:

— Их за много веков приучили к русской работе. Так я думаю.

— А кто приучил их?

— Ах, Роман, все тебе хочется знать!.. — ворчит незлобиво Бабушка. — Кто-кто?!. Наверное, русские мужчины приучили. Жизнь нелегкая приучила... Кто еще?!.

— А дела ханты легче, да?

Обычно четко подразделялись эти понятия: у ханты — дела, а у русских — работа. А дела — это и охота, и рыбная ловля, и выпас оленей, и постройка дома, и шитье одежды, и уход за ребенком, и многое-многое другое. Словом, все то, без чего невозможно прожить...

— Дела ханты, может быть, и не легче, но они привычны нам, мужчинам и женщинам, — говорит Бабушка.

— А кому они не привычны?

— Тем, кто не ходил по нашим тропам-дорогам, кто не знает наш язык и быт, кто не знает нашу жизнь...

— Значит, таким наша жизнь покажется тяжелой, да?

— Да, конечно. Как вот мне в поселке...

— О чем ты в поселке думала, Мамина Мама?

— О чем думала?.. Да о многом. Главное, о том, что человеку нужно. А ханты-человеку нужно, чтобы Земля с птицами-зверями, с травами-деревьями, с ягодами-шишками была. Чтобы Воды — реки-озера — с рыбами-птицами, с рыбами-зверьми были. Чтобы Дом с женщинами-мужчинами, с детьми-девочками, с детьми-мальчиками был. И чтобы он жил так, как велит ему Сердце, Разум и наш Верховный Турм...

Бабушка, словно прислушиваясь к своему внутреннему голосу, долго молчит. Я же в это время готовлю ей новый вопрос:

— Что же дальше было с тобой, Мамина Мама, в Нижнем поселке — Интлетовых?

Бабушка будто не слышит меня, все молчит. Но потом, как бы очнувшись, переспрашивает меня и продолжает свой рассказ. Оказалось, в ту пору одним из «почтовых» людей стал дядя Никита из рода Лося. Его в семейном кругу еще звали «Икэлы» — что значит «Мужичок», или «Старичок». Так вот, Икэлы сосватал и привез Бабушку в свое селение возле Верхнего поселка. Таким образом я попала во второй дом, вздыхает Бабушка. А жизнь людей Верховья Реки была так же тяжела, как и в Низовье. Тут колхоз — и там колхоз. Тут неволя — и там неволя. Одно и то же и тут, и там. Все одинаково. Только колхозы назывались по-разному: в Верхнем поселке — имени Кирова, в Нижнем — имени 1 Мая. Но от этого не легче никому.

— Во втором доме появилась моя младшая дочь Натали, — вспоминает Бабушка. — Она из речной ветки рода Лося — родная сестра нашей Мамы.

— А ваши кровные родственники по маме, — Бабушка кивает на меня и моих сестер, — Это все люди реки Маут Яун, это все Покачевы низовья Агана...

— Сколько же у Дедушки нашего родственников было? — задаю я вопрос.

— Кто ж их считал! — удивляется Бабушка. — Да и грех считать живых людей...

— Ну а братья-сестры были у него?

— Конечно же, были. В самом Маут Яун Селении трое младших братьев вашего Дедушки жили. Те братья своих детей имели. У тех детей — свои дети есть. И все они — ваши родственники!..

— Сколько же у нас родственников?..

— А разве плохо иметь много родственников?

— Наверное, хорошо.

— Только жить нужно с ними по-родственному, — напоминает мне Бабушка. — По-родственному, по-человечески!..

— Что же — могут жить и не по-человечески?

— Бывает, родственники близкие, а друг на друга не смотрят — будто чужие, — говорит Бабушка. — Вот такое в жизни не годится.

— Я буду смотреть на своих родственников, — уверяю я Бабушку.

— А, все вы так говорите, пока малые, — ворчит Бабушка. — А как вырастете — редко кто родственников вспомнит...

Хотя Бабушка и ворчит, но я вижу, что она довольна моими словами.

Многое мне нравилось в Бабушке. Нравилось то, как она разговаривала с моим Отцом: всегда уважительно, с большим тактом и вниманием. Правда, и Отец в разговоре с ней держался так же, как и она с ним. Они между собой строго соблюдали обряд избегания: обращались друг к другу только на «Вы», исключив из лексикона все неблагозвучные и вульгарные слова и обороты речи. Бабушка за низко опущенным платком прятала свое лицо, а Отец, входя в дом, еще за дверьми легким покашливанием предупреждал о своем появлении.

Бабушка никогда сама не ввязывалась в мужской разговор, если кто-то к нам приезжал. Но ежели спрашивали ее мнение, она всегда отвечала с достоинством, твердо и уверенно, как равный равному.

Сидим, пьем с Бабушкой чай, разговариваем. И хотя на ее столике та же еда, что и у нас, но все у нее кажется мне вкуснее. Ведь я у нее как бы в гостях, она меня угощает. Как бы невзначай, почти незаметно для меня, она пододвигает на мой конец столика жаренную на колышке рыбу, есть которую я не собирался. Но она на таком расстоянии, что не взять ее нельзя. А отодвинешь — хозяйку обидишь. И я беру рыбу и не замечаю, как от нее остаются лишь ребрышки и хребтина. Потом появляется сахарница. Тут я сахару могу слопать столько, сколько мне угодно. Ведь я гость — лицо неприкосновенное, почти священное для хозяйки. Стало быть, что бы я ни делал, никто ничего мне не скажет, ни в чем не упрекнет. Но в то же время я знаю, что нельзя Бабушку оставлять без сахара. Знаю, что в гостях нельзя брать последний кусок с тарелки. Знаю, что в гостях нужно держать себя скромно и солидно, чтобы после твоего ухода или отъезда о тебе хорошо сказали в этом доме. И поэтому я стараюсь держать себя так, как и подобает настоящему гостю...

У Бабушки много интересных вещей. Есть у нее и заварной чайничек с длинной, как у куропатки, шейкой-носиком. Правда, он поменьше куропатки. Но такой же белый-белый. Наверное, если эта птица болот при опасности съежится и притаится в ямке возле кочки, то в точности напомнит Бабушкин чайничек. Бабушка осторожно берет его двумя руками и наливает мне чай. И этот чай мне кажется особенно ароматным и вкусным.

— Откуда твой чайничек, Мамина Мама? — спрашиваю я.

— О-о, он еще с Белого Царя времен! — торжественно произносит Бабушка, оглядывая чайник.

— Как он к тебе от Белого Царя попал?

— Мой папа — твой дедушка после твоего деда, Пиндер Яун Старик — из города привез.

— Из какого города?

— Из Сургута-города.

— Он там с Белым Царем встречался?

— Про то, там он с Белым Царем встречался или нет, — ничего не скажу. А вот о том, как он туда каждый год на ярмарку ездил, — рассказать могу...

— Расскажи...

И Бабушка начинает рассказ. Когда у нее хорошее настроение, ее рассказам нет конца. Я молча удивлялся: все она помнит, все она знает. Наконец Бабушка замолкает. Но у меня для нее уже готов новый вопрос:

— Чего тебе больше всего хочется в жизни, Мамина Мама?

— Светлого Неба...

Это значит — Жизни, понял я.

— Сколько ни живи — все мало, — грустно вздыхает Бабушка. — Чем дольше живешь, тем больше хочется жить. Тем Жизнь милее...

— Так вечно живи, Мамина Мама, — говорю я. — Ведь ты никому на Земле не мешаешь...

Бабушка ненадолго задумывается, потом поднимает голову. Ее глаза излучают тепло.

— Конечно же, буду жить, — улыбнувшись, уверенно говорит она и обводит взглядом весь дом — Маму, моих сестер, меня — и добавляет: — Во всех вас буду жить. Вашими глазами на Солнце и Луну буду смотреть. Вашими ушами Небо и Землю стану слушать...

И, уловив мой молчаливый вопрос, поясняет:

— А потом... в ваших детях буду жить. Глазами ваших детей на Светлое Небо стану глядеть...

— А после?..

— После в детях ваших детей буду жить. Их глазами Небо и Землю увижу. Их ушами Мир услышу...

— И так вечно будешь жить?

— Да, вечно буду жить...

И я поверил в вечность ее бытия. Разве я мог представить себе жизнь без Бабушки?! Конечно же, не мог. Моя Бабушка в вечности. Я поверил. И это, возможно, одно из самых прелестных мгновений детства...

ОЛЕНИ ДЕДА

Шли мы с Отцом по Большому Яру. Яр, заросший давно возмужавшими соснами, с одной стороны круто нависал над Протокой Болотной Стороны, с другой — обрывался над болотным сором. Наверху, на остром мысу, ямы и рвы под соснами. Это следы древнего городища, селение Арэх Ях — Песенных Людей. Так их называют в наших сказках и мифах.

Мы молча постояли на мысу и в поисках оленей направились в сторону Осеннего Селения.

Была осень. Было влажно. И белый сочный ягель на обочине тропы, если мы наступали на него, тотчас же распрямлялся. Тропа, усыпанная оранжевой хвоей, зарастала брусничником. У Отца осталось мало оленей — и они, видно, теперь редко заходили в эти укромные уголки Домашнего Бора.

Мы шли на восток. Справа, под склоном, тянулся сор — ровное чистое болото. А слева стелется белый ягель с кустиками брусники в сени притихших сосен. Потом мы подошли к чуть заметному взгорью, густо покрытому молодыми соснами. Среди них виднелись два или три покосившихся столба, покрытых мхом-лишайником. Отец повернул в ту сторону голову и, замедлив шаг, сказал:

— Зимний дом твоего Деда тут стоял...

Я подошел к столбам. На месте дома осталось углубление почти квадратной формы — пол и нары. Все давно заросло ягелем.

— А когда тут жили? — спросил я Отца.

— Много лет назад...

— Ты помнишь, как вы тут жили?

— Да, на моей памяти мы здесь жили...

Мы немного помолчали. Отец достал табакерку, осторожно, чтобы не рассыпать табак, открыл ее. Я же оглядывал заброшенное селение — нет ли где еще следов жизни; оленьих рогов и черепов на деревьях, старых нарт, основания хлебной печи за коралем и многого другого, что остается после человека на земле. Но все почти стерто временем, все покрыто белым ягелем. Ягелем, который так любят олени. И я спросил Отца:

— А у моего Деда сколько оленей было?

— Когда мы жили здесь, было у Деда около ста оленей...

— Можно было на них жить?

— Жить было можно.

— А когда олений род Деда кончился?

— После того, как его не стало — в тяжкие колхозные времена...

Помолчал Отец.

Хорошее место, подумал я. И пока мы стояли, мысль моя сходила во все четыре стороны света. На север — бор, болото с реками и озерами, затем большая река Ватьеган, где древнее селение моего Деда. В сторону Восхода Солнца — белоягельные боры до самого верховья реки Агана. В полдень — сор болотный, Протока Болотной Стороны, Аган, черные урманы. На запад, в сторону Захода Солнца — бор, Священный Ручей, снова бор... И, возможно, моему Деду Роману, кроме всего этого, больше ничего не нужно было...

— Твой Дед не был ни богатым, ни бедным... — сказал Отец. — По его словам, и у прадеда твоего тоже было столько же оленей. Ни много и ни мало...

И мы пошли дальше.

— Олени Деда когда-нибудь вернутся к тебе, — внушал мне Отец, шагая по древней, зарастающей брусничником тропе.

Удачливым он был, скорым он был. А удача бесследно не уходит, бесследно не исчезает. Стало быть, Дедова удача достанется мне, его внуку. Значит, его олени рано или поздно вернутся на мое стойбище. Так было испокон веков. И теперь, шагая за Отцом и слушая его, я уверовал в то, что так будет и в скором будущем.

— Если, конечно, будет у нас Земля, — закончил свою мысль Отец и повернул голову в сторону Протоки, за которой тарахтел вертолет, летавший по буровым.

Тогда я не обратил внимания на вертолет, который беспокоил моего Отца.

Я думал об оленях моего Деда, о его оленьем роде. Был уверен, что придет время — и по этим зарастающим тропам побегут олени. Я слышал стук их копыт, звон их рогов, их говор между собой. Без оленей я не мог представить тогда нашу Землю и человека на ней.

Мы шли с Отцом по тропе. И я слышал, как паслись в бору невидимые олени моего Деда Романа...

БОЖИЙ ХЛЕБ

— Наш Верховный Бог-Отец из снега сделал муку, — рассказывает брат Галактион. — Но наступило лето — и мука растаяла. Тогда снова Он взялся за дело. Тоже ничего не вышло. И только на третий раз Бог сотворил муку. Так люди получили хлеб. Так сказывали наши древние старухи-старики...

Брат отвечает на мой вопрос: «Хлеб откуда взялся?!»

Мама отослала меня за ответом к Отцу, Отец — к брату. А брат вспомнил то, что слышал о первохлебе от бабушек-дедушек.

Наверное, хлеб больше всех нуждается в помощи, размышлял я. Ведь Мама часто говорила: «В помощь хлебу!» Порса, мелко толченые кости копченой рыбы — в помощь хлебу. Костный жир, вытапливаемый весной, — в помощь

хлебу. Ягоды летом-осенью — в помощь хлебу. Стало быть, хлебу надо помогать. Стало быть, хлеб надо беречь. Хлеб надо уважать.

Мама уважала хлеб.

Мама берегла хлеб.

ХАНТЫЙСКИЙ ХЛЕБ

Мама обычно пекла нам «хантыйский хлеб» — тонкие круглые, как Луна на небе, лепешки. Я любил смотреть, как она делала хлеб. Вот замешивает тесто на бульоне или на ухе. Вот обваляла кусок теста в муке — получился шарик с выдровую голову. Берет горячую сковородку, чуть посыпает мукой и кладет туда «выдровую голову». И ладонью, легонько надавливая сверху, разглаживает тесто ровным слоем по всему дну сковороды. Потом ножом или палочкой выдавливает на лепешке прямые строчки — треугольные ямки, очень похожие на глухариные следы на песке. Будто Глухарь, красивая и важная птица, «проплыл» по нашему хлебу и укрылся в своей укромной лесной чаще. Мне очень нравились «Глухаря следы» на хлебе. Бывало, Мама доверяла мне нож или палочку, я и старательно выводил на хлебе «глухариные следы» — след к следу, строчка к строчке.

И на обратной стороне, когда хлеб переворачивали, ставились такие же следы.

— Зачем ты следы на хлебе делаешь, Мама? — спросил я.

— Наши древние так хлеб пекли, — ответила Мама.

— А для чего эти следы?

— Чтобы, наверное, хлеб лучше пропекался, до самого нутра...

— А может, для красоты?

— Может быть — и для красоты, — согласилась Мама.

— Ведь красивый хлеб вкуснее, да?

— Да, конечно.

Тут Мама сняла со сковороды хлеб и осмотрела его со всех сторон. Потом, прислонив к колышку и подложив снизу щепочку, поставила хлеб у огня. Теперь нужно дожарить те края, которые не совсем хорошо пропеклись.

Хотя хлеб был из ржаной муки, но получился светлым, почти белым, как Луна на дневном небе. Потому что валян в муке и сковорода посыпана мукой. Такой хлеб печется по-быстрому, на скорую руку. Или когда нечем смазать сковороду — нет жира. Обычно же на смазку идут жирные щучьи потрохв. В этом случае тесто кладется в сковороду плоской лопаточкой и верх разглаживается ложкой, которая обмакивается в чашку с водой. У такого хлеба корка не светлая, а темно-коричневая. Тут, бывало, я дожидался последней лепешки. Мама оставляла на дне сковороды кусочки потрохов. Они вдавливались в тесто и напитывали корку свежим жиром, от чего хлеб становился особенно вкусным.

Есть и третий способ выпекания хантыйского хлеба. Тесто кладется на сковороду толстым слоем, и когда пропечется с двух сторон, вдоль края, по всему кругу, делается надрез. И лепешка суровой ниткой разрезается на две половинки. Получается два хлеба. У каждого с одной стороны корка, с другой — мякоть. На мякоть ножом наносятся косые, крест-накрест, линии. Потом, прислонив к колышку, хлеб поджаривается на открытом огне. Подсыхая, на мякоти начинает вырисовываться своеобразная сетка. Как я понял, сетка заменяет здесь «глухариные следы»...

Выпекая двойной хлеб, хозяйка экономит свое время.

Сейчас я сижу, жду, когда хлеб испечется. И Мама отломит мне краюху горячего хантыйского хлеба из Божьей муки.

С ИКРОЙ ХЛЕБ

Изредка, обычно под осень, Мама выпекала хлеб с икрой. Замешивая тесто, добавляла туда свежую икру. После обычного хлеба икряной казался нам особенно вкусным. Можно было в мякише разыскать целые икринки, а на корке — пропеченные. Мы с сестрами любили икряной хлеб. Он напоминал веселую рожицу с забавными веснушками-икринками. Казалось, стоя на кухонной полке, он озорно подмигивал: «Попробуй съешь меня! Попробуй достань меня!»

Будто с икрой хлеб был живым.

Почему он появлялся в нашем доме под осень? Наверное, в предзимние дни Мама выкраивала свободные минуты, чтобы испечь такой хлеб. Ведь оставались позади тяжкое комариное время и хлопотная пора сбора ягод. Там не до изысканных яств — быть бы живу. Вся наша семья держалась на Маме. Ведь Отец все лето занят с утра до вечера: колхоз требовал рыбу, рыбу и еще раз рыбу. Только поздней осенью, перед самым ледоставом, у него выпадало несколько свободных дней, и он мог половить рыбу для дома, чтобы запастись ею хотя бы на первозимье. Рыбу потрошили и подвешивали на вешалах. Становилось настолько прохладно, что ее не нужно было ни коптить, ни солить. Она не портилась.

В эти дни в доме появлялась икра. И мы с сестрой просили:

— Мама, испеки нам марн няны..

Марн — икра, нянь — хлеб. С икрой хлеб.

И Мама замешивала тесто, чтобы порадовать нас веселым веснушчатым хлебом с икрой.

КРОВЯНОЙ ХЛЕБ

Зимой Мама иногда выпекала кровяной хлеб. В бульон, где замешивала тесто, добавляла оленью или лосиную кровь. Такой хлеб выпекался на сковороде. Получался он строгим-престрогим, черным-пречерным, как осенняя ночь. От него веяло чем-то далеким, старинным, сказочным. На вкус был довольно своеобразным. Но я, помнится, вкушал с удовольствием. И на трапезе восседал с видом тихим и смиренным пред строгим ликом этого древнего хлеба.

Возможно, наши предки много веков назад впервые испекли такой хлеб.

КОТЛА ДНА ХЛЕБ

Выпекала Мама из белой муки и «котла дна хлеб». Еще называли его «котлодонный хлеб», или «с жиром хлеб». Главное тут — котел. Да нужен котел не просто с ровным дном, а из хорошего металла. Мама предпочитала котлы времен Белого Царя из «хантыйского металла» — ханты вах. «Вах» — металл. Хантыйским металлом именовали медь. Особо ценились старинные медные котлы. Красноцарские же котлы не годились — в них пригорал хлеб.

В медный котел заливается жир, и в нем печется белый хлеб.

Я смотрю, как Мама хлебной лопаточкой укладывает тесто на дно шипящего жиром котла и разглаживает его. А котел шипит, урчит, словно тихую песенку напевает, похожую на молитву. Проходят мгновения — и хлеб оживает. Начинает пошевеливаться и приподниматься. Особенно центр тянется вверх, словно хлеб пытается выскочить из котла. Тут Мама берет йангк — заостренный прут для приготовления подовушки на открытом огне — и острием на хлебе делает пять-семь отверстий. Из них с шипением вырывается жир и пар. Хлеб опускается на дно и успокаивается. И котел продолжает свою ровную песню-молитву.

Потом Мама переворачивает хлеб на другую сторону.

И вот из медного котла выходит вкусный ярко-золотистый хлеб, похожий на солнышко. В доме от него становится светлее и теплее. Это я чувствую и вижу. Это чувствуют и видят и мои сестры. Это же, наверное, чувствуют и видят и Мама с Папой.

Солнышко-хлеб.

Чудо-хлеб.

Праздник-хлеб.

Обычно с таким хлебом, собрав на стол все лучшее, устраивался пир для домашних богов. Сначала боги брали дух нашей пищи, а потом за стол садились мы, люди. И после таких праздников нам всегда становилось легко и весело...

К сожалению, котлодонный солнышко-хлеб Мама выпекала довольно редко. В те послевоенные годы ржаная-то мука не всегда была, не говоря уже о пшеничной мелкого помола, из которой создавался божественный чудо-хлеб.

РУССКИЙ ХЛЕБ

Делала Мама и русский хлеб. Это немного сложнее, чем печь хантыйский хлеб. Вернее, времени и хлопот нужно побольше. Первым делом на дне хлебной берестяной кадки Мама ставила закваску. Выждав день-другой, замешивала туда тесто. Зимой, завязав верх чистой тряпкой, укутывала кадку теплой одеждой, обычно меховой ягушкой, чтобы тесто было в тепле и быстро поднялось.

Помню, как делается русский хлеб, впервые я увидел летом, жарким безоблачным днем. Мы летовали с аганскими рыбаками на дедовских местах на реке Ватьёган, на берегу огромного, как море, озера Имнлор. С одного берега не видно другого. Наверное, поэтому дали ему имя, которое в переводе с хантыйского языка означает «Священное Озеро».

На болотистом берегу, в багульнике, стояла избушка. А рядом с ней — наш временный «тундэх хот» — берестяной дом. Между домами на жердинах дремали нарты. Под кормой одной нарты сидело, как мы говорили, эмалированное ведро с тестом. Почему ведро? Наверное, не привезли с собой берестяную кадушку.

Сверху, на тесте, выдавливался крест.

— Крестовую метку сделаем, — говорила Мама.

— А зачем? — удивлялся я.

— Чтобы видно было, тесто поднимается или стоит на месте, — пояснила Мама.

— А-а-а...

— С крестом, говорили наши древние, хлеб лучше поднимается, — добавляла Мама.

— Значит, крест тянет хлеб вверх? — спрашивал я.

— Выходит, да — тянет, — соглашается Мама.

— Чудно!..

Чудного, впрочем, было немало. Мы с сестрой долго не могли понять, отчего поднимается, почти на глазах растет хлеб, то есть тесто. Тесто еще называли «сырым хлебом». Помню, теста в ведре было до половины, когда отнесли на улицу, в солнечное тепло. И вдруг оно стало расти, прибавляться, ползти вверх. Мы с сестрами бегали к нартам посмотреть, насколько вырос сырой хлеб. Дружно наклонялись головками к ведру и спрашивали Маму:

— Ну как, хлеб растет, не растет?

— Креста метка есть, нету?

— Насколько хлеб вырос?

— До половины ведра?

— Выше половины, ниже?

— Рас-тет, рас-тет, — ласково говорила Мама, словно хлеб был живым.

А потом полушутливо-полусерьезно добавляла:

— Не смотрите долго на него — вдруг он испортится!..

— Как испортится? — удивлялись мы.

— Перестанет расти.

— А-а, понятно.

И мы отходили от хлеба, потому что нам совсем не хотелось, чтобы он перестал расти.

Зимой мы тоже садились возле Мамы, как только она начинала раскутывать хлебную кадушку. Всегда интересно смотреть на растущий хлеб. Бывало, упускали момент — и хлеб «убегал». Поднявшись, сползал через края кадушки. Тут начиналась настоящая паника. Мы хватали чашки-миски — что под руки попадется — и мчались к Маме, к «убежавшему хлебу». Мама деревянной лопаточкой собирала «беглый хлеб» в миски-тарелки, что мы ей подносили. И она лишь тогда переводила дух, когда полностью подбирала весь хлеб.

Не чудно ли: было мало хлеба — стало много! Вырастал хлеб прямо на глазах, за полдня!

Крест, исполнив свою работу, напрочь исчезал. Как я понял впоследствии, он не только поднимал хлеб. Была у креста и другая забота: не подпускать к хлебу, отпугивать от него всякую нечисть — всех и все, что может повредить человеку, что может повредить нам, нашей семье. Ведь хлеб должен приносить нам только чистую силу, только добрые помыслы в жизни.

Дома, в нашем Летнем Селении на Агане, летом кадушку с тестом тоже ставили на улице, ничем не укутывали. Мама поручала мне приглядывать за младшими сестрами, чтобы они не лезли к сырому хлебу. Случалось, все же они добирались до кадушки, если я ненадолго куда-нибудь отлучался. Тут они устраивали настоящий «пир». Первым делом, конечно, тыкали пальчики в тесто и пробовали его на вкус. А потом играли с растущим хлебом. Я возвращался и не узнавал сестер: руки — в тесте, лица — в тесте, волосы — в тесте. Об одежде и говорить нечего. Я кое-как оттаскивал их в сторону и звал Маму. Мама, увидев их, очень пугалась: поди, наелись сырого хлеба — что теперь будет с их животиками?! Но, помнится, все кончалось благополучно. Видно, малыши не столько наедались теста, сколько измазывались им.

После русский хлеб садили в уличную «нянь кер» — «хлеба печку» из глины. Пекли в формах. А формы все разные: тут и старые сковороды — большая и малая, и медный котелок, и эмалированная миска, и металлическая поварешка без ручки, и старинная кружка с щербинами, и продолговатые, как лодки, самодельные посудины из листового железа. Словом, нет двух одинаковых форм. Значит, нет и двух одинаковых хлебов.

Это особенно забавляло меня с сестрами. Ведь каждый хлеб получал свое имя — «Большой Сковороды Хлеб», «Малого Металлического Блюда Хлеб», «Медного Котелка Хлеб», «Ковша Головы Хлеб». Хлеб укладывался под уличным навесом, на хлебной полке. И обычно, отправляя меня или сестру Лизу под навес, Мама называла имя хлеба, что нужно принести в дом к обеду или ужину.

В день выпечки хлеба наш дом оживал с самого раннего утра. Каждому находилось дело. Я помогал Маме носить дрова. И вскоре хлебная печка начинала клокотать огнем. Пламя вырывалось из дымового отверстия и устья печи. Она очень хорошо должна прогреться, чтобы испечь русский хлеб. Печка басовито гудела и дышала густым дымом. Мне казалось, она улыбается — так в этот день была довольна своей жизнью.

Но самое интересное — это посадка и затем выемка хлеба из печи. Сырой хлеб в формах после печи вырастал вдвое! Разве это не чудо?! Вот так «русский хлеб»! Был он особенно ароматным и вкусным из нашей старенькой глиняной печи. Недаром я старался, вместе с сестрой помогал Маме. Перед тем как наполнить формы тестом, большим глухариным пером я охотно смазывал их рыбьим жиром. Знал, чем лучше это сделаю, тем хлеб станет вкуснее.

У печи мы с сестрой Лизой ждали свои хлеба. Мой хлеб — из медного котелка. Получался он круглым, как мяч. Стоял у самого устья, с правой стороны. Как только Мама начинала открывать дверцу, я нетерпеливо спрашивал:

— Поспел ли мой хлеб?

— Погоди... — говорила Мама.

— Как он там?!

— Сейчас и до твоего хлеба доберусь, — почему-то медлила Мама.

— Хорош ли?!

— Хорош-хорош...

Тут и сестра моя забеспокоилась, спрашивает:

— А мой хлеб где?!

— И твой хлеб здесь, — отвечает Мама.

— Поспел?

— Да, да!..

Наконец мы с сестрой получили свои хлеба. У сестры — побольше, она старшая, у меня — поменьше. У нее «Ковша Головы Хлеб», у меня — «Медного Котелка Хлеб». Мы идем домой. Хлеб был очень горячим, и я его перебрасывал с ладони на ладонь. Дома я его поставил на стол и залюбовался им. Подрумяненный, красочный, казалось, сейчас оживет, покатится по столешнице. Даже жаль было кусок откусить.

У младших сестер Даши и Оли тоже есть свои хлеба. У Даши — «Круж-

ки Хлеб». А самой младшей Оле определили хлебушек из самой маленькой формы — «Поварешки Хлеб». Хотя она еще хлеб-то не могла есть. Мы со старшей сестрой и для Отца с Матерью выделяли хлеб. Из большой сковороды — отцовский, из малой — материнский.

Русский хлеб нам нравился. Единственное, о чем я жалел, что на нем не рисовались «Глухаря следы». Те, которые делались на хантыйском хлебе. Поэтому тайком от Мамы, когда она ставила формы с тестом на доску, чтобы отнести к печи, я, бывало, ставил на хлебах различные знаки. Крестик, кружок, три точки — глаза и нос хлеба, две палочки — оленьи рога. Хлеб с таинственными крестиками и палочками мне кажется, был вкуснее.

Помню строго-таинственное, как море, Священное Озеро Имилор, два дома на берегу, высокое небо, жаркий солнечный полдень, шепот набегающих волн и запах багульника и растущего русского хлеба...

ПЕЧИ ДНА ХЛЕБ

Когда Мама спешила и не хватало времени, она пекла «печи дна хлеб», или подовый хлеб. Сначала она старательно выгребала из печи золу, затем бралась за метлу из свежего кедрового лапника. Обмакивала ветви в куженьку с водой и вторично обметала дно печи. Это те же хантыйские лепешки, с теми же «Глухариными следами». Но потолще и размером поменьше, чем сковородные. Все они с полную Луну в зените. Не считая, конечно, двух-трех маленьких хлебиков — для нас, детей, чтобы мы не канючили.

Я обычно ходил за кедровыми ветками. В метелку их уже связывала Мама. У меня просто на это не хватало сил. Возможно, поэтому мне казалось, что подовый хлеб был с привкусом кедрового ореха. Ведь и кедр помогал выпекать атот хлеб.

ЗОЛЫ ХЛЕБ

Отец рассказывал, что выпекают и «зольный хлеб» — в золе костра. Это делается на охоте, если нет сковороды или не окажется котла.

К сожалению, золы хлеб не едал, не пробовал.

ПЕЧЕНЫЙ ХЛЕБ

По словам Отца, на охоте делают и печеный хлеб. Круто замешивают тесто, затем лепешку из него обваливают в муке и насаживают на колышек, на йангк. И пекут на костре, на открытом огне.

Печеный хлеб мне тоже не приходилось видывать.

Мама была строга, когда дело касалось хлеба. Дома не разрешала делать с хлебом то, что можно в лесу, на охоте. Дома же все это считалось баловством.

ВАРЕНЫЙ ХЛЕБ

Бывало, Мама потчевала нас вареным хлебом. Небольшие лепешки из круто замешанного теста варились в бульоне. В котле с мясом. Они делались из остатков теста после стряпни.

Закончив выпечку хлеба, Мама обычно сама принималась за посуду, где замешивала тесто. Ножом соскабливала с хлебной лопаточки, с большого деревянного блюда или берестяной кадушки остатки теста. Из них лепились одна или две лепешечки. И когда Мама варила в котле, сверху, на мясо, осторожно опускала в бульон последние хлебики. Таким образом ни одна горсть муки не тратилась впустую, ни один кусочек теста не пропадал даром.

Мама знала цену хлеба.

Когда подросла старшая сестра Лиза, то Мама ей поручала хлебную посуду. Только собрав ножом все тесто, можно было помыть водой и лопаточку, и деревянное блюдо, и берестяную кадушку. Словом, все, к чему прикасалось тесто.

После ухода Мамы, спустя годы, я вспоминал, как она пекла хлеб и как относилась к хлебу. В то лето колхоз назначил Отца оленьим пастухом. На каникулы он забрал меня с собой. И все лето мы кочевали по Приамипутинским болотам. Отец сутками пас оленей вместе с другими пастухами, а я вел хозяйство. Варил чай и выпекал на сковороде хантыйский хлеб. Было мне лет десять—одиннадцать. И я вначале самонадеянно решил: что мне стоит — испечь хлеб! Дело знакомое, несложное! Но знать — это одно, а сделать — совсем другое. Хлеб у меня получался далеко не самый лучший. То я его передержу и он подгорит, то слишком убавлю огонь, и он не пропечется. То тесто замешивал жидковатым и, когда переворачивал лепешку на сковородке, она разваливалась на части. То посолить забуду. И я понял, что пекарь из меня никудышный. Но деваться-то некуда: испечь хлеб некому, а есть-то надо... Со временем, правда, лучше пошли мои пекарские дела.

Так я постигал премудрости хлебопечения.

Закончив стряпню, я брался за посуду. Очень скоро я понял, что тесто легче смывать водой, нежели соскабливать ножом. Быстрее, меньше возни. Но тут мне вспоминалась моя Мама. Я знал, что она сказала бы на это. И я молча тянул руку к хлебному ножу.

Так, между делом, как я при Маме, из остатков теста в нашем доме стал появляться вареный хлеб.

БОЖИЙ ХЛЕБ

— Почему у Бога с первого раза не получилась мука? — спрашиваю я брата.

— Кто знает... — отвечает брат.

— Почему у Него во второй раз ничего не вышло?

— Не знаю, — чистосердечно признается брат Галактион.

— Если муку сделал Бог, то почему ее привозят русские?!

— Бог сотворил первохлеб, а русские переняли у Него — стали растить!

Мне хотелось многое выяснить.

— Как же так: Он все знает, все может — а дважды ничего не получилось? — усомнился я. — Разве такое возможно?!.

— Спроси у Отца, — говорит брат.

Отец помолчал, потом сказал неторопливо:

— Боги, по словам наших древних, иногда бывают как малые дети...

Я задумываюсь над этими словами Отца. Замолкает и задумывается весь дом.

— А дети бывают неразумными, — тихо добавляет Отец. — А дети малые иногда такое вытворяют...

— Хоть на третий раз первохлеб сотворил!.. — закончил Отец свою мысль.

— Вот мы и делаем хлеб из Божественной муки... — сказала Мама.

Повзрослев, я увидел, где и как люди растят хлеб. Но все давно во мне осталось с детства усвоенное отношение к хлебу как к Божественному творению...

Окончание следует

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



АРСЕНИЙ ГУЛЫГА

ФОРМУЛА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Формула немудреная — «православие, самодержавие, народность». Автор формулы — министр просвещения при Николае I С. С. Уваров. Нам (довоенным студентам философского факультета), да и тем, кто учился после нас, внушали: Уваров — ретроград и мракобес.

Как третировали его формулу! Самодержавие? Ха-ха-ха! Николай Палкин! Культура? Варварство царило при нем в России. А как же Пушкин, Лермонтов, Гоголь? Они творили вопреки... Православие? Хи-хи-хи. Материя первична, сознание вторично, в научной картине мира нет места для Бога. (В перерыве между лекциями мы, правда, распевали: «Материя первична, сознание вторично, а если нам прикажут, то все наоборот: сознание первично, материя вторична, а если нам прикажут...»— и так далее.) Народность? Какая могла быть народность при царе? Только официальная, ложная, Уваров имел в виду крепостное право.

Но вот мне попалась на глаза книга Г. Шпета «Очерк развития русской философии». Изданная после революции (но уже запрещенная). Автор — левых убеждений (но уже репрессированный) — симпатий к Уварову не питал, однако как человек знающий и объективный давал ему беспристрастную характеристику: Уваров «был просвещеннейшим человеком, одним из самых просвещенных тогда в России...» За годы его министерства «...университеты наши стали на ноги. Иностранцы были уже не нужны, появился целый ряд своих ученых, преподавание по многим кафедрам стояло на европейской высоте», «О философском национальном сознании до уваровской эпохи говорить не приходится». Тут было над чем задуматься. Но времени для этого не было: началась война, и пришлось мне вместо истории философии штудировать Боевой устав пехоты.

Возвращение мое в философию состоялось после войны. Пришел я, собственно, не в науку, а на факультет для получения диплома, который полагался всем, ушедшим на фронт после четвертого курса, при условии сдачи государственных экзаменов. На экзамене мне попался вопрос «Философия Гегеля».

Я бодро сказал, что Гегель был идеалист. Даже по тем временам этого было мало. Экзаменатор не стал ко мне приставать. Получив от меня заверение в том, что я никогда больше философией заниматься не стану, он сказал «хорошо» и поставил «отлично».

1

Увы, обещания своего я не сдержал и через несколько лет уже редактировал статью моего экзаменатора в журнале «Вопросы философии», куда поступил работать после увольнения из армии. О чем была статья, не помню, но об уваровской «народности» в ней речь шла. Я снова раздобыл книгу Шпета и выписал из нее то место, где речь идет о немецком происхождении этого понятия. В 1810-м вышла книга Фр. Яна «Deutsches Volkstum». Там шла речь о том, что правитель должен стремиться к тому, чтобы единая человеческая культура возникла в государстве как своеобразная народная культура. Последняя не создается по приказу или принуждению: «Культура народа в настоящем всегда есть результат жизни народа в прошлом». Когда я при обсуждении статьи изложил все эти соображения, на меня зашипели: Шпет — не авторитет, а враг народа, чтобы я имя его позабыл и никогда на него не ссылался, что я старательно выполнял, пока «Вопросы философии» (разумеется, в новом редакционном составе) не переиздали однотомник Шпета (М., 1989), по которому я его и цитирую.

Проблема, однако, продолжала меня интересовать. Особенно когда я стал заниматься эстетикой. Я понимал, что дело не сводится к проблеме доступности искусства (чтобы искусство было «понятным», этого требовал Гитлер, а приписали мысль Ленину, так легко было спутать «вождей»). А тем более не к тому, чтобы художественное произведение воспроизводило простонародную жизнь; квас и кислая капуста — основные категории такого искусства, над чем смеялся еще Белинский.

Что такое народ? А. Григорьев полагал, что народ — это «собирательное лицо, слагающееся из черт всех слоев народа, высших и низших, богатых и бедных, образованных и необразованных, слагающееся, разумеется, не механически, а органически, носящее общую, типическую характерную физиономию, физическую и нравственную, отличающую его от других подобных ему собирательных лиц... Литература бывает народна в обширном смысле слова, когда она в своем миросозерцании отражает взгляд на жизнь, свойственный всему народу, определившийся, только с большей точностью, полностью и, так сказать, художественностью в его передовых слоях».

Народность русской классической литературы состоит в том, что она раскрывает сокровенную жизнь национальной души. Воплощением такой народности был и остается Пушкин. Недаром сам поэт называл себя — «эхо русского народа». Гоголь говорил: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа». Белинский любил повторять эти слова. С них начал свою знаменитую пушкинскую речь Достоевский, который обрисовал духовный облик русского народа, отметив как наиболее характерную его черту «всемирную отзывчивость», то есть способность к пониманию любой другой культуры, стремление к объединению человечества.

Вот почему нет оснований опасаться русского шовинизма, его просто нет и быть не может. Когда мы говорим «мы», «наши», это не призыв к вражде, это не значит «бей других» — это призыв к внутренней солидарности. Сегодня мы на краю пропасти, и только общими усилиями сможем от нее отползти. Отсутствие национального самосознания — причина наших бед, спасение — в национальном возрождении. Иван Ильин пишет по этому поводу: «Народ с колеблющимся инстинктом национального самосохранения и помраченным духовным самосознанием — не может отстаивать свою жизнь на земле; а заменить этот инстинкт и это самосознание нельзя ничем. Народ должен чувствовать в поддонных глубинах своей души — свое единство, свою неразрывную связь и сопринадлежность, свою самобытность и духовную драгоценность своего своеобразия перед лицом Божиим; он должен чуять свое «мы» и его величие, он должен верить в свои силы, в свою правду, в свою богоблагословенность... Нация есть живая система самоутверждения и самопомощи».

Запад кичится идеей личности. А мы можем противопоставить этому более высокий принцип — соборность. Есть, правда, знатоки «русской души», которые видят в соборности лишь недоразвитость мысли. Так некто И. Голомшток утверждает: «Соборность — типично русское понятие. Но я продолжаю считать, что национальные особенности тут ни при чем. Каждый народ проходит стадию коллективного сознания. Потом это рассыпается. Русское сознание просто отстало от европейского» («Еврейская газета», 12.03.1991).

Коллективизм — не соборность, а сборность, отмечал еще Бердяев. Коллективное, безликое единство — принцип мусульманского Востока. Запад бросился в другую крайность — атомизм личного интереса. Россия, расположенная и в Азии, и в Европе, являющаяся своеобразным мостом между двумя культурами, призвана объединить эти два принципа, дать их высший синтез. Таковым и служит идея соборности. В диалектической логике давно вызрела идея неформального, конкретного всеобщего, не противостоящего единичному, а вбирающего в себя его богатство. Гегель настаивал на этом, встречая непонимание и обвинения в софистике. А вот русская культура подтвердила истинность этой идеи. Может быть, именно благодаря соборности русская культура так высоко котируется на «мировом рынке». Я имею в виду тот огромный интерес, живое внимание, коими окружена на Западе наша литература и философия.

Нам скажут, если вы такие умные, такие святые, почему же вы оказались в дерьме и нищете, протягиваете руку за подаянием. Ответим: благими намерениями вымощена дорога в ад, мы там побывали и вам туда не советуем, скажите спасибо за наглядный урок, нас туда загнали; слава Богу, хватило разума повернуть назад, к вере отцов, к устоям.

2

Один мой знакомый, когда его спрашивают, верит ли он в Бога, вопрос отводит: вера — дело интимное, как любовь. Нельзя ведь спрашивать, влюблен ли ты или нет. Мой знакомый прав и не прав. Любовь любви рознь — одну скрывают, другая сама просится наружу. Когда создают семью, любовь не прячут. Любовь к детям, к отечеству должна проявиться в делах. Так и вера может быть сугубо личной, а может принимать публичную форму. Церковь — объединение верующих. Нательный крест, хотя и носят под одеждой, но не скрывают. «Миром Господу помолимся», — провозглашает священник. Это формула православной соборности. Каждый возносит личную молитву, но следует общему правилу и ощущает себя членом общины.

Мой путь к православию был тернист и извилист. Отец казачий офицер, затем инженер, бравировал своим неверием. Мать потеряла веру в юности, когда умер первый ее ребенок. Меня не водили в церковь, не учили молитвам. В школе трид-

ГУЛЫГА Арсений Владимирович, родился в 1921 году. Окончил Московский государственный университет. Доктор философских наук. Автор книг «Гегель», «Кант», «Шеллинг» и др., а также многих публикаций в периодической печати. Живет в Москве.

цатых годов, а затем на философском факультете (куда я пробрался окольными путями из-за репрессированного отца) учили атеизму и классовой морали: нравственно то, что служит делу партии, сегодня одно, а завтра другое — в зависимости от обстоятельств

Война, казалось, опровергала библейские заповеди. Сказано «не убий», а тут «Убей немца!», «Сколько раз ты увидел, столько раз его и убей!» Когда я вступал в партию, меня не пытали насчет коммунистического манифеста, спросили лишь, сколько я убил вражеских солдат Я ответил, что убивать — не мое дело, служу в разведке, наша задача приводить живых пленных и допрашивать «Ну хоть одного убил?» — «Нет» — «Тогда тебе не место в нашей партии». В партию меня приняли, но в боевую характеристику все же записали «убил одного немецкого солдата» и посоветовали, «При случае пленного застрели».

Нет, я не мог убить пленного Помню, после прорыва под Витебском фронт откатился сразу километров на двести. И вот в глубоком тылу в расположении политотдела армии объявился пленный солдат Без оружия, жалкий, голодный Что с ним делать? Кто-то сказал: «застрелить его», — другие зашумели, повели его на кухню. Я отдал ему пачку папирос

В Восточной Пруссии под Кенигсбергом мы стояли в городке, покинутом жителями. Остался только пастор. Женатый на еврейке, он полагал, что «советы» ему не страшны. Я ходил к нему в гости, чтобы упражняться в немецком языке, а он учил меня закону Божьему Я возражал как мог, но аргументы мои были неубедительны. Ссылался на войну «Воевать тоже можно по-разному», — говорил он.

Потом был Кант с его категорическим императивом. Над Гегелем, который свел мораль к параграфу в философии права, я уже мог иронизировать.

Очень почитал я двух ученых мужей — Николая Иосифовича Конрада и Алексея Федоровича Лосева Им я обязан окончательным просветлением мозгов. Оба были глубоко верующие люди. Когда скончался Николай Иосифович, у вдовы собрались ученики покойного. Один спросил меня: «Вы верующий?» — «Нет». — «Странно, Николай Иосифович говорил, что вы верующий. Все равно приходите на отпевание, гроб некому нести, у вас хоть вид православного». Отпевание потрясло меня. Не столько красотой обряда, сколько каким-то приобщением к вечности и к чему-то родному, что я не мог себе объяснить.

Я рассказал об этом Лосеву. Могучий старец, потерявший зрение в сталинских лагерях, сказал мне: «Не знаю, какой у тебя вид, думаю, что нормальный, а душа у тебя христианская. Ты хоть и говоришь, что в Бога не веруешь, но ты христианин; раз русский, значит, христианин. Прочти, что Розанов пишет о Хомякове».

Я отыскал статью Розанова о Хомякове. Розанов говорит там о христианской любви как главной черте русской культуры. «Евангелие с не меньшим вниманием, чем на Востоке, читали и на Западе, но почему-то ни папы, ни Лютер не останавливались на этом как на главной стороне христианства. Почему? Да недостаточно сказать формулу, произнести слово видеть слова, — нужно совсем другое Нужно внутреннее и врожденное сродство натуры с формулой Хомяков и выразил, что в натуре русских лежит что-то, что делает русских первым настоящим христианским народом. Русские — христиане. Вот, в сущности, главное его открытие, усиленно потом повторенное Достоевским (только повторенное!), которое, с одной стороны, кажется обыкновенным и простым до заношенности, до полной неинтересности, до скуки и отвращения, а с другой стороны, кажется до того странным и невероятным, что невозможно этому поверить и хочется заушить говорящего так человека. Хомяков и получал «заушения» всю жизнь и после смерти главным образом за эту формулу: «русские — христиане», то есть это единственные на Земле христиане, эту религию понявшие и даже прямо рожденные христианами, рождающиеся христианами».

Я спросил Алексея Федоровича, это ли место имел он в виду. «Да, именно это,— согласился он, — раз ты считаешь себя русским, ты православный, и нечего дурака валять, православие ты усвоил с молоком матери, обряд крещения лишь закрепил, что дано тебе от рождения, от воспитания, от окружения. А философией ты зря, что ли, занимался? Религия — вера в абсолют, а философия — знание об абсолюте. Ведь ты в церкви катарсис наверняка испытываешь».

Катарсис — очищение. Вот что я почувствовал, когда отпевали Слово было найдено. Очищение от житейской скверны, мелочей и гадостей жизни и причащение, причастность к культуре родного народа. Переживание через понимание и понимание через переживание. Понимание того, что ты частица великого народного целого, его истории, радость от сознания этого.

«Ты ведь не одного только Канта читаешь, — говорил Лосев, — он — рационалист, просветитель, лютеранин. Вот мы с тобой Соловьева готовим к изданию, это православный мыслитель. Кант — для немцев, а нам нужен Соловьев» Толкование русской культуры как «третьей силы», долженствующей свести Запад с Востоком, дано Соловьевым.

В 1989 году отмечалось 400-летие Московской патриархии. Мне предложили выступить с докладом на конференции, посвященной юбилею. Вместо конференции я угодил в больницу, но послал тезисы, которые размножил Издательский отдел, а парижский «Вестник русского христианского движения» опубликовал — «Религия в современной жизни. Позиция неверующего». Со смешанным чувством вины и беды, надежды и тревоги писал я о том, что вижу в религии единственное надежное средство воспитания морали. Это было вполне по Канту, соответствовало религии «в пределах только разума». Человек по природе зол, его надо воспитать к добру, для этого нужна «этическая община», каковой является церковь.

По Лосеву был изложен второй аспект современного значения религии — национальный Без православия нет русской культуры Это сверхрационально, но это так. Хотите постичь Пушкина и Достоевского, Соловьева и Бердяева, — проникнитесь духом православия. Был и третий аспект, навеянный и Кантом, и Лосевым,— ценностный. Религия дает святыни, без которых человеку нельзя. Православная церковь — создатель и хранитель национальных святынь, которые дают катарсис русскому человеку (тому, кто считает себя русским). Третий аспект связан со вторым (как и с первым)

Кому-то (мне передавали, что и Солженицыну) мои тезисы понравились. Кто-то упрекал меня в умозрительном отношении к религии А откуда взять другое человеку изуродованному советской школой (средней и высшей)? Таких, как я, миллионы. Дай Бог, чтобы у них возникло хотя бы почтительно-благоговейное отношение к церкви. Глядишь, через два-три поколения дело изменится. Моя дочь искренне верит в Бога и водит детей своих в воскресную школу.

3

Самодержавие. А какая еще другая форма правления возможна в России? Демократия? Отзываться о ней критически сегодня опасно. Боюсь, но решусь Цену русской демократии показал Февраль. Демократия быстро выродилась в охлократию (власть толпы) и демонократию (власть «бесов», по Достоевскому).

Я служил референтом по театрам Управления военного коменданта, а заведующим литературной частью Немецкого театра им. Макса Райнхардта был русский эмигрант Георгий Бакал, в прошлом член ЦК левых эсеров. Я его при первом удобном случае спросил о мятеже левых эсеров. Ответил он не сразу (только после того, как убедился, что я его не продам), ответил, что никакого мятежа не было, просто большевикам надоело делить власть с кем-то другим, вот и устроили провокацию; Мирбаха убил Блюмкин, подручный Дзержинского (если не по его заданию, то во всяком случае с его ведома, даром что был «прощен»); Бакал из союзника большевиков стал их врагом, оказался у белых, а затем в эмиграции, где и без него было полно социалистов Корнилов, кстати, — один из деятелей Февраля (арестовал царицу), потом схватился за голову, но было поздно, Деникин тоже придерживался «левых» убеждений, монархисты у белых встречались не часто. Да, я сам помнил, как мой отец — командир бронепоезда в Добровольческой армии — говорил, что воевал не за царя, а за Россию.

Историю надо знать. Она не учит только тех, кто не желает учиться. А мы пристально вглядываемся в прошлое, пытаясь увидеть в нем свое будущее. Так вот, история учит, что демократия — не панацея, а порой даже опасная вещь. Еще в древности демократия скомпрометировала себя процессом Сократа. «Пятьсот афинских торговцев и матросов приговорили к смерти Сократа за неправильные философские убеждения» (Зощенко). Немудрено, что ученик Сократа Платон видел в демократии «сильнейшее и жесточайшее рабство» Кант был во всем антиподом Платона, сходился только в одном — в неприятии демократии. «Демократия неизбежно есть деспотизм», — его слова. А другие великие умы? Гегель и Шеллинг (в зрелые годы) были монархистами. Пушкин и Достоевский — то же самое.

Павел Флоренский, томясь на Лубянке в ожидании казни, написал политическое завещание — трактат «Предполагаемое государственное устройство в будущем», исполненный тревоги за судьбу родины Трактат сохранился и опубликован в журнале «Литературная учеба» (1991, кн. 3), он достоин внимательного прочтения. «Бюрократический абсолютизм и демократический анархизм равно, хотя с разных сторон, уничтожают государство... Политическая свобода масс в государствах с представительным правлением есть обман и самообман масс, но самообман опасный, отвлекающий в сторону от полезной деятельности и вовлекающий в политиканство. Должно быть твердо сказано, что политика есть специальность столь же недоступная массам, как медицина или математика, и потому столь же опасная в руках невежд, как яд или взрывчатое вещество. Отсюда следует соответственный вывод о представительстве: как демократический принцип оно вредно и, не давая удовлетворения никому в частности, вместе с тем расслабляет целое. Ни одно правительство, если оно не желает краха, фактически не опирается на решение большинства в вопросах важнейших и вносит свои коррективы; а это значит, что по существу оно не признает представительства, но пользуется им как средством для прикрытия своих действий»

А вот предостережение другого мудрого патриота — Ивана Ильина: «Замечательно, что на введении демократии в грядущей России настаивают, во-первых, неосведомленные и лукавые иностранцы во-вторых, бывшие российские граждане, ищущие ныне разложения и погубления России. На самом деле «демократия» не есть легко вводимый и легко устрояемый режим. Напротив — труднейший... Демократия предполагает исторический навык, приобретенный народом в результате долгого опыта и борьбы, она предполагает в народе культуру законности, свободы и правосознания; она требует от человека— политической силы суждения и живого чувства ответственности. А что же делать там, где всего этого нет? Где у человека нет ни имущественной, ни умственной, ни волевой самостоятельности? Где все подготовлено для своекорыстия и публичной продажности? Где дисциплина не сдерживает личного и совместного произвола? Где нет ни характера, ни лояльности, ни правосознания? Все-таки вводить демократический строй? Для чего же? Чтобы погубить государство и надругаться над всеми принципами демократии? Чтобы все кончилось коррупцией, безобразной смутой и разложением государства? И все во имя доктрины?» Как будто предвидел Ильин нашу сегодняшнюю ситуацию.

Демократия для своего существования, считал Ильин, предполагает в народе чувство государственной ответственности, собственного достоинства, элементарной честности, политического кругозора, политических знаний. Всего этого наш народ за десятилетия рабского состояния был лишен. Народ нищ, подавлен, запуган, развращен. Вот почему нельзя вводить в России немедленно демократию любой ценой. Нет, не демократия нужна сегодня России, а **«твердая национально-патриотическая и по идее либеральная диктатура, помогающая сверху выделить свои подлинно лучшие силы и воспитывающая народ к трезвлению, к свободной лояльности, к самоуправлению и к органическому участию в государственном строительстве.** Только такая диктатура и может спасти Россию от анархии и затяжных гражданских войн».

Кивают на Запад. Так ведь там давние традиции народовластья. Вспоминается один невинный анекдот: американец в гостях у англичанина восхищается газоном, спрашивает, как сотворить такую красоту. Ответ: нет ничего проще — подстригайте траву каждый день, и через триста лет все будет в порядке. Так и с демократией, нужно, чтобы сменилось несколько поколений, воспитанных в духе самостоятельного политического мышления и правопорядка, тогда можно будет провести дискуссию о преимуществах того или иного способа правления.

Монархия обладает для нас целым рядом несомненных достоинств. Прежде всего это символ единства страны. Монарх возвышается над партиями и национальностями. Дореволюционная Россия была «семьей народов» (Вл. Соловьев) благодаря царю. Смертельная межнациональная вражда — порождение послеоктябрьской диктатуры.

Самодержавие вытекает из православия: царь помазанник Божий. Он носитель не только высшей власти, но и высшей благодати. Увидеть его — катарсис. Толстой рассказывает о волнении молодого Ростова, увидевшего Александра I. Ну а в XX веке? Вот переживания офицера на маневрах в присутствии Николая II: «Опять волшебная солнечная сказка о Русском царе, Божием помазаннике... Слезы заволокли глаза Саблина туманом. В реве людских голосов, в могучем, за душу хватающем гимне он видел всю Россию с ее степями и лесами, с горами, покрытыми белыми ледниками, с голубыми озерами, с маленькими темными деревушками, с зелеными церковками, с простой, трогательной верой и ее великим царем. И что любил он, чем восхищался, перед чем благоговел он, не знал. Перед Родиной ли своей, или перед ее олицетворением — Царем. Если бы ему в эту минуту сказали, что Царь — человек со всеми его слабостями, что он пьет водку, курит толстые папиросы, что он просто молодой, двадцатипятилетний полковник — он не поверил бы. Все снова было задернуто туманом удаленности от людей, озарено солнечными лучами, льющимися на него, а он являлся отмеченный Богом как его помазанник» (П. Краснов. «От Двуглавого Орла к Красному Знамени»).

Сверхъестественная аура возникла по инерции и вокруг лжесамодержца — Ленина, еще больше — вокруг Сталина (очень уж старался, да и выигранная война помогла). А вот Брежнев, как ни старался, все равно выглядел случайной фигурой. И дело тут не только в маразматической внешности и одиозной политике, просто после горького многолетнего опыта народ понял: временщики — не монархи. Есть в легитимной монархии еще одно бесспорное преимущество: отработанный механизм передачи власти. Наследник известен, его сызмальства готовят к высокой роли (и высоким обязанностям!). «Король умер, да здравствует король!» А тут, что ни смена «генсека», то государственный переворот. Сталин пробирался к власти тихой сапой, отстраняя и уничтожая своих соратников — соперников. Хрущев (устраняя Берию) вывел на улицы танки, сам слетел в результате дворцовой интриги. А как называть происходящее сегодня? Если это демократия, то что такое анархия?

Не следует путать цель и средство. Помните:

> ...Свое природное кокетство
> Она поставила как средство,
> Тогда как надо бы — как цель.

«Демократия — это средство, а не цель» — из откровений Хрущева («Бодался теленок с дубом»). Для него (и некоторых других) это было действительно средство «жить не по средствам», схватить власть и «насладиться властью». Иное дело демократия как цель, как благо народа, которому дают править там, где он должен быть хозяином — в собственном поле, доме, на предприятии. В этом смысле русские цари были подлинными демократами. Страна процветала, народ благоденствовал, а самодержец от народа не отгораживался. Не мчался на бронированном автомобиле, давя зазевавшихся прохожих. (Это не преувеличение, я знаю семью, где сына сбила правительственная «Чайка» без каких-либо последствий для водителя.) Романовы прогуливались без охраны; Пушкин не придумал заключительную сцену в «Капитанской дочке», такое бывало повседневно, и не только в XVIII веке. Николай II любил ходить пешком, здоровался за руку с прохожими, а на Светлое воскресенье христосовался с солдатами. У Романовых — аура легитимности и мученичества. Им царствовать.

Подлинный аристократизм — демократия духа. Аристократ не кичится ни своим происхождением, ни богатством, если таковое имеется. Русские дворяне всегда стеснялись (порой — стыдились) своих привилегий, отсюда «хождение в народ», стремление «опроститься». Был я как-то приглашен в родовой замок Гумбольдтов Тегель (в свое время я выпустил труды Вильгельма фон Гумбольдта на русском языке). Самое сильное впечатление от визита — простота обращения, угощения и обстановки. А за окном дикие олени бегают, как и триста лет назад. Каждый может сюда прийти, чтобы поклониться праху великих братьев, чьи могилы здесь, никаких трехметровых заборов (которыми отгораживаются от народа наши «вожди»).

От единовластья нам не уйти. Весь вопрос в том, какого рода единовластье нас ожидает: выросший из демонократической анархии новый бюрократический абсолютизм или «либеральная диктатура», как предрекал ее Ильин, оставивший, правда, без уточнения это понятие. Впрочем, все ясно. Нам не нужна «диктатура пролетариата», как понимал ее Ленин — «не ограниченная законом, опирающаяся на насилие». Повторять пройденное нет нужды. Дай нам Бог диктатуру, ограниченную законом и опирающуюся на моральное сознание. Либеральный значит «свободный» (но отнюдь не слабый, речь идет о сильной власти). Либеральная диктатура свободна от беззаконий, коррупции и всех других теневых достижений «военного коммунизма» и «развитого социализма». Где ее взять? Кто возложит на себя ответственность? По какому праву?

Не по избирательному, которому «место в крематории» (П. Флоренский). Выборы — не панацея. Гитлер пришел к власти парламентским путем. Об этом не следует забывать, глядя на некоторых государственных деятелей в нашей стране, которых встречают «бурными аплодисментами, переходящими в овацию». Отсюда до культа — один шаг.

«Большинство — это глупость. Разум — всегда у немногих» — предупреждал Шиллер. Победа на выборах — «ловкость рук» (из средств массовой информации). Сила — тоже не право на власть. Танки на улицах — признак бессилия (по крайней мере умственного). Помимо традиционной легитимности существует только одно бесспорное право — государственная мудрость, она покоряет своей очевидностью.

«На созидание нового строя, долженствующего открыть новый период истории и соответствующую ему культуру, — писал Флоренский, — есть одно право — сила гения, сила творить этот строй. Право это одно только не человеческого происхождения, и потому заслуживает названия божественного. И как бы ни назывался подобный творец культуры — диктатором, правителем, императором или как-нибудь иначе, мы будем считать его истинным самодержцем и подчиняться ему не из страха, а в силу трепетного сознания, что перед нами чудо и живое явление творческой мощи человека».

Но где гарантии, что перед нами именно «чудо», а не очередной самовлюбленный, безграничный, обезумевший «культ»? Есть отработанный механизм ограничения самовластья, и мудрость правителя прежде всего в том, что он к нему прибегает — разделение властей. Не в том смысле, что один президент издает указ, а другой его отменяет. Это пагубное двоевластие, чреватое насилием. Речь идет о другом, о том, что Кант называл «республиканизмом» и считал осуществимым как раз в рамках монархии. Одна инстанция издает законы, другая управляет на основании этих законов, а третья судит и контролирует. Монарх стоит над ними как воплощенное правосознание.

Фридрих Великий — герой Канта — вошел в историю не только своей отчаянной вооруженной борьбой за сохранение Пруссии, которую готовы были уничтожить европейские державы, но и тем, что заложил основы немецкого правосознания. Характерна легенда о мельнике из Сан-Суси. Рядом с летним дворцом Фридриха стоит ветряная мельница. Говорят, что ее шум мешал монарху. Он хотел купить мельницу, но хозяин отказался продать ее. Король подал в суд и проиграл дело. Пришлось королю смириться. Скорее всего так не было, но легенда красноречива.

А вот не легенда, а случай из жизни «времени застоя». В академическом институте, где я работаю, мелко нахулиганил научный сотрудник. Состоялся суд. До начала заседания судья вызвал «воронок», то есть без всякого разбирательства уже знал: приговор будет обвинительным. Так оно и произошло — год тюрьмы. Мера наказания явно превышала меру правонарушения. Забеспокоилась «общественность». Нашли «ход» наверх, к лицу, которому благоволил «самый главный», «хозяин» (Ильич Второй). Сверху последовал звонок, и приговор немедленно отменили. Наш сотрудник оказался дома без каких-либо неприятностей, даже штраф не заплатил — из крайности в крайность! До революции у нас существовал суд присяжных. Не пора ли восстановить его?

На право надейся, но сам не плошай! Когда нет моральных устоев, ничто не поможет, рухнет любое право. О нравственности мы давно ведем разговор. Смекнули наконец, что без единой для всех морали — нельзя. Побасенки о классовой морали — прикрытие бандитизма, каковой у нас сегодня в расцвете. Совместима ли политика с моралью? Безусловно. Более того, «истинная политика не может сделать шага, не присягнув заранее морали». Кант, которому принадлежат эти слова, указал и гарантию моральной политики — гласность.

Гласность — великое благо. Отмена цензуры и партконтроля за печатным словом открыли глаза на сущность режима. Стало ясно, что виноват не только Сталин, но и его предшественник «со товарищи». Открыто заговорили о послеоктябрьском антирусском геноциде и о других наших бедах.

Но, увы, все переходит в свою противоположность, «разум становится безумием, благодеяние — злом» («Фауст»). В недобросовестных (аморальных) руках печать, радио, телевидение превращаются в средства массовой дезинформации, в орудие манипуляции сознанием. Глас комментатора — не глас Божий.

Русские склонны к покаянию: чувство вины — основа морали. Расставаясь, навсегда или надолго, русский просит простить его — «прости, прощай» (немец в аналогичных случаях просто желает всего доброго — Lebwohl). Но без предела каяться нельзя. Чтобы зажила рана, надо, очистив, оставить ее в покое.

В 1947 году довелось мне видеть на сцене театра им. Геббеля (Берлин) «Мухи» Сартра — парафраз «Орестейи» Эсхила. История о том, как сын царя Агамемнона Орест отомстил убийцам своего отца, убил мать — Клитемнестру и ее сообщника Эгисфа, который захватил трон Агамемнона.

Сартр использовал древний сюжет для экзистенциалистских размышлений о свободе личности. Режиссер Юрген Фелинг перенес акцент на актуальную для послевоенных немцев проблему вины и покаяния. Перед зрителями предстала гнетущая картина города Аргоса, проклятого богами за совершенное в нем преступление, — стены домов, измазанные не то запекшейся кровью, не то экскрементами, люди в черной одежде, и висит над городом черное солнце. Боги Аргоса (и царь Эгисф) ловко держат народ в повиновении, нагнетая истерическое состояние непрерывного самооплевывания. Режиссер как бы говорил, да, мы, немцы, несем ответственность за фашизм, но нельзя без конца нам тыкать этим в лицо, дайте передохнуть, взгляните на себя.

Сегодня нас, русских, обвиняют в смертных грехах — действительных и мнимых: мы приняли Ленина, затем Сталина, затем Брежнева, мы империалисты и захватчики. Гитлер всего на несколько недель опередил нас. Должны мы только каяться, каяться, посыпать голову пеплом и рвать на себе одежду. Мы действительно попали в беду, но чтобы покончить с ней, выбраться из трясины, нужны ориентиры, нужны опоры, в том числе и в истории. Нельзя жить одной «чернухой». Неужели (в прошлом у нас) все черным-черно и не на что опереться?

4

Я пишу эту статью в писательском дачном поселке Красновидово. Чем ближе конец, тем явственнее я понимаю, что придется вернуться к началу, к автору формулы русской культуры Уварову. Что мы знаем о нем? Получивший аттестат зрелости (проверено на внуке) даже не слышал такого имени. Юноша с дипломом гуманитарного факультета (тоже проверено) усвоил привычное — «реакционер». Где я последний раз встречал такое клеймо? Да у нашего закордонного поучителя, знатока закулисной советской истории Авторханова. Его книга «Империя Кремля» издана в 1990 году в Вильнюсе (совместно с Московским объединением избирателей). Автор упоминает Уварова в ряду с другими «крайне реакционными идеологами царизма». Вот так работают прогрессисты. Ну хоть бы факты какие привел, нет, «реакционер», и баста. Шпет у меня под рукой, но из него я все взял. За остальным придется ехать в Москву: копаться в справочниках и старой периодике. Насколько мне известно, последняя биографическая заметка об Уварове была в «Русском архиве» в 1871 году. А может быть, есть что-нибудь новое? Зарубежное? Поездки в Москву не избежать.

Бывают, однако, совпадения! Или тут рука Провидения? Написал предыдущий абзац, вышел подышать свежим воздухом. Соседка Нина Васильевна Минаева, профессор русской истории, поливает клумбу, рассказывает моей жене о поездке в Америку: привезла много интересных книг, в том числе биографию Уварова — не верю ушам своим! Какого Уварова? Того самого? Сергея Семеновича? Через пять минут сокровища в моих руках. На суперобложке портрет: представительный сановник средних лет, высокий лоб, правильные тонкие черты лица, глубоко посаженные умные глаза, открытый, ясный взгляд.

Книга называется «Истоки современного русского образования: интеллектуальная биография графа Сергея Уварова (1786—1855)». Вышла в 1984 году. В книге 348 страниц, библиография содержит 60 наименований опубликованных работ Уварова. Автор — Синтия Уиттекер, профессор Нью-Йоркского университета.

В введении автор отмечает: советские и западные историки сошлись на том, что Уваров не имел собственных идей, в молодости повторял либеральные фразы за Александром Первым, а потом стал столь же послушным рупором реакционных воззрений Николая Первого. Однако в последние годы американские исследователи стали давать иные оценки и деятельности Уварова, и всей николаевской эпохе. Это не было время сплошной стагнации, шла подготовка будущего подъема. Не последнюю роль в этом деле сыграл Уваров.

Сергей Семенович — потомок старинного дворянского рода. Его пращур ордынец Минчак Косаев перешел в XV веке на службу к Московскому князю и был наречен Уваровым. Крестная мать будущего министра — Екатерина Великая. Дядя — генерал Федор Уваров — участник переворота 1801 года, в результате которого на троне оказался Александр I. Уваров получил блестящее образование, свободно владел французским, английским, итальянским, латинским и греческим. Учился в Германии, служить начал на дипломатическом поприще в Вене. Первая опубликованная работа «Мысли о заведении в России академии азиатской» была написана и издана сначала по-французски. В. Жуковский перевел ее на русский и напечатал в «Вестнике Европы». Интерес к культуре восточных народов Уваров воспринял от немецких романтиков. Когда Наполеон вторгся в Россию, Уваров оставался на гражданской службе, но посильно боролся с врагом. Он сблизился с Моро.

Здесь необходимо сделать отступление (для тех, кто не читал романа В. Пикуля «Каждому свое», там эта история описана подробно и увлекательно). Якобинский генерал Жан Виктор Моро, одержавший под Гогенлинденом блестящую победу, затмившую славу генерала Бонапарта, победителя при Маренго, принял участие в перевороте 18 Брюмера в надежде на то, что Бонапарт, разогнав разложившуюся Директорию, укрепит французскую республику. Так не произошло, и Моро пришлось покинуть Францию. Его выслали в Америку. Президент США предлагал ему возглавить американскую армию. Но Моро выбрал Россию. Моро стал советником при русской ставке. Погиб под Дрезденом. На месте гибели французского генерала, не скрывавшего своих республиканских убеждений, русские офицеры воздвигли памятник с изображением фригийского колпака. Похоронили Моро с фельдмаршальскими почестями в Екатерининской церкви в Петербурге.

Организатором похорон, на которых присутствовал император, как отмечает С. Уиттекер, был Уваров. Он произнес надгробное слово, которое затем было опубликовано на четырех языках (французском русском, немецком, английском). Русский вариант — «Исторические известия о Моро» — появился в январской книжке «Вестника Европы» за 1814 год.

«Уваров увидел в истории Моро микрокосм событий эпохи», — пишет С. Уиттекер. Сначала революционный энтузиазм, затем ужасы террора и моральное очищение от них, исправление заблуждений, борьба с узурпатором и геройская смерть.

Уваров — последователь Карамзина. В 1815-м совместно с Дм. Блудовым он создает кружок «Арзамас». С. Уиттекер отмечает: Жуковский и Батюшков и их наследник Пушкин воплощали «дух Арзамаса» в литературе, Уваров — в политике. Он был уже несколько лет попечителем Петербургского учебного округа. В 1818 году (тридцати двух лет от роду!) становится президентом Петербургской академии наук (и остается им до своей кончины).

Область научных интересов Уварова — философия истории. «Обычно считают, — пишет С. Уиттекер, — что Т. Грановский, профессор истории Московского университета с 1839 по 1855 год, мыслитель, находившийся под сильным влиянием Гегеля, первым высказал в России взгляд на историю как на прогресс к высоким и благородным идеалам человечности, но в действительности это сделал Уваров. В 1818 году Уваров выступил с речью на собрании Главного педагогического института по случаю создания кафедры всемирной истории и восточной культуры. Речь содержала изложение теории истории от грехопадения до 1500 года и возникновения современной Европы. Уваров говорил о том, что Провидение замыслило свободу для всего человечества и последнее слово здесь скажет Россия. Наша родина — «младший сын в большой европейской семье». Петр Первый — наш Людовик XIV. Скоро Россия достигнет зрелости, будут созданы гарантии гражданских свобод. Освобождение души с помощью просвещения должно предшествовать освобождению тела с помощью законодательства. «Реакционер» Уваров был близок Грановскому, которого он всячески поддерживал, когда оказался на посту министра просвещения.

Свою знаменитую триаду, формулу русской культуры, он сформулировал в 1832 году в пояснениях к отчету об инспекции Московского университета (опубликовано в сборнике постановлений по министерству народного просвещения. Спб. 1876). Став во главе министерства, Уваров создал условия для расцвета преподавания и научной деятельности. Глава седьмая книги С. Уиттекер называется «Ренессанс университетов и академии наук». Здесь мы узнаем, что по инициативе Уварова была создана Пулковская обсерватория, приглашен в Россию Александр Гумбольдт, совершивший свое знаменитое путешествие в центральную Азию. Русским ученым принадлежит ряд важных открытий в области электромагнетизма, они создали телеграф за десять лет до Морзе.

Уваров не уставал повторять, что русская культура — продукт национального духа и западного просвещения. Да, при Уварове был закрыт «Телескоп», а редактор его Надеждин, опубликовавший «Философическое письмо» Чаадаева, был сурово наказан. Но взгляды Чаадаева вызвали протест в русском обществе (в том числе у Пушкина), а мера наказания была определена царем. Пушкин, в «арзамасские» времена близкий Уварову, затем разошелся с ним. Произошло это на личной почве. Как и неприязнь Пушкина к заместителю Уварова по Академии наук князю Дондукову-Корсакову («В Академии наук заседает князь Дундук...»).

Уваров — первый министр просвещения, которому пришлось решать вопросы национальной культуры поляков, немцев, евреев, мусульман. В 1833 году он открыл университет св. Владимира в Киеве. Половина преподавателей здесь были поляки, большинство студентов — католики. Интерес к восточной культуре был у Уварова смолоду. Министром будучи, он поощрял изучение и преподавание восточных языков. По его инициативе в Казанском университете впервые в Европе началось преподавание монгольского языка. Русификаторские устремления Уварова никогда не принимали репрессивного характера.

После того, как в 1848 году Европу стали сотрясать революции, а в русской столице возникло дело петрашевцев, положение Уварова пошатнулось. В 1849 году Уваров подает в отставку, которая принимается. Через шесть лет его не стало. Так закончилась жизнь, отданная служению русской науке и культуре.

Было время, когда историки СССР и живописатели нашего прошлого пробавлялись чем-то вроде детской игры «кто дальше плюнет» и «чей плевок смачнее». Русские нигилисты и разрушители устоев глорифицировались. Некто хотел взорвать Зимний дворец — честь и хвала ему, и высокогонорарная книга о нем уже заказана — в серии «Пламенные революционеры» Политиздата. Ныне перестроившийся Политиздат переключился на доходную эротику. Может быть, пришло время начать серию «Пламенные реакционеры» или попросту «Русские патриоты»? Уваров — подходящая тема.





ДМИТРИЙ БАЛАШОВ

АНАТОМИЯ АНТИСИСТЕМЫ

Когда заходит разговор о тайной политике, о тайных организациях, враждебных Великой России, то многим тотчас в голову приходит, как условный рефлекс, стереотипный ответ: евреи и масоны, или даже так — «жидомасоны». Опять повторим: ответ простой, но ровно ничего не объясняющий, хотя бы и того, почему это тайным организациям (пусть и «жидомасонским»!) столь легко действовать в нашей стране? Ежели мы все — потенциальные предатели своей Родины и нас нужно только пальчиком поманить, как мы тут же начнем продаваться, то никаких и жидомасонов не надобно, а попросту пора закрывать лавочку и писать мелом поперек: «Здесь была Россия...»

В своем интервью, показанном в «Шестистах секундах», один из претендентов на русский престол, Владимир Кириллович, привел слова Александра Третьего, сказанные им перед смертью нашему последнему монарку, Николаю Второму, — «Помни, что в Европе друзей у России нет».

В самом деле: не только у Европы, но и у Америки подымающееся русское государство на рубеже веков было бельмом на глазу. Страна, до того ввозившая предметы роскоши и обмен на сырье (помните: «и по Балтическим волнам за лес и сало возят к нам»!), начала теснить европейских и американских конкурентов на международном рынке уже своей, готовой продукцией. Возникал и уже возник промышленный гигант, и неудача бездарно проведенной русско-японской войны лишь подхлестнула его развитие. Новый броненосный флот, лучший в Европе (!), взамен потерянного в Цусимском бою, был создан всего за несколько лет, в сроки, учитывая качество кораблей, прямо-таки небывалые.

Поэтому естественно, что целый ряд промышленных и финансовых корпораций Европы и, главным образом, Америки (в том числе и ряд крупных европейских фирм) работали на развал России и щедро финансировали русскую революцию. 300 миллионов золотом было передано ими партии Ленина. Ежели учесть, что на белую Добровольческую армию удалось собрать, кажется, всего только четыреста рублей добровольных взносов, то можно сказать, что уже на этом этапе наша революция была обречена на победу. Прибавьте пятьдесят миллионов золотом, полученных Лениным от кайзера, опять-таки на устройство революции, и это только широко известные, не раз приводившиеся в печати суммы. Это — финансовая помощь. Но были и тайные политические организации, усердно работавшие на развал страны. Это масоны, организация «повышенной секретности», в прошлом и позапрошлом столетиях усердно вербовавшая в свои ряды дворянскую элиту многих стран и державшая в своих руках уже тогда едва ли не всю дипломатическую службу Европы. Масонскими были и два одновременно устроенных заговора против монархии, «верхний» и «нижний». «Верхний» — среди тогдашних финансовых воротил и генералитета. (Позднее, в 1917 году, поезд государя был остановлен, и Николай был арестован и принужден к отречению от престола членом именно масонской организации, генералом Н. В. Рузским.)

«Нижний» заговор был организован параллельно «верхнему», Троцким и Парвусом — в виде «советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», которыми, разумеется, руководили не рабочие, не крестьяне и не солдаты, а узкий и очень дисциплинированный круг революционеров-марксистов.

Первую революцию 1905—1907 гг. Столыпину удалось «усмирить». Но к 1917 году Столыпина уже убрали. Убийцу, Мордку Богрова, в день убийства в Киеве видели в ресторане за одним столиком с Троцким. Видимо, Богрову была обещана если не безнаказанность, то, во всяком случае, помощь и судебное снисхождение. Однако его предпочли спешно казнить, дабы не оставить следов слишком скандальных связей убийцы не только с членами марксистской партии, но и с членами царского госаппарата. Во всяком случае, тогдашний министр внутренних дел, Курлов, выдавший Богрову билет в театр, где находился Столыпин, будучи арестован после революции, был большевиками — явно в награду за помощь в устранении Столыпина — освобожден и выпущен за границу. (Хотя чиновников такого ранга и должности большевики, как правило, расстреливали!)

Масоны в свою очередь, как полагают, зависят от международной еврейской организации «Сион» (отсюда и слово «сионист»). Еврейских организаций, однако, было несколько, и между ними шла постоянная борьба. Был «Бунд» (евреи-марксисты с националистическим оттенком), и он целиком вошел в партию большевиков. Были организации западноевропейского еврейства, которые отнюдь не стремились к свержению режимов и прочим потрясениям; была и радикальная, созданная в России Ахад-Гаамом (Ашером Гинцбергом). Относительно этой организации много неясного (именно Ахад-Гааму приписывают авторство «Протоколов сионских мудрецов»). Во всяком случае идейных разногласий в лагере самого организованного еврейства хватало. Основные направления были такие:

а) Западническое... Нас устраивает существующий буржуазный режим и наше место в нем (идеолог Теодор Герцль).

б) Евреи должны вернуться на свою историческую родину, в Палестину. (Идея эта родилась в России, а потом уже утвердилась и в Англии. Успеху ее осуществления много помог своими проскрипциями Гитлер.)

в) Народ Израиля — народ, избранный Богом. Его задача — мировое господство и заселение мира. Что же касается России, то это земля обетованная, подаренная Господом народу Израиля.

г) Евреи должны отбросить свое еврейство и войти в партию коммунистов, дабы создать коммунистический строй во всем мире.

Как видим, разброс идей достаточно велик, и агрессивны лишь по отношению к России две последние. Добавим также, что любой народ имеет право на свою землю, и проблему бытия государства Израиль вряд ли можно было решить мирным путем.

Как бы ни шла теперь борьба евреев с арабами в Палестине и как бы ни вели себя евреи в этой борьбе, но желание получить и отстоять свою историческую родину всегда много честнее желания завоевать чужую. Спорить тут можно о многом. Для арабов Палестина также давно уже родина, а Иерусалим — город трех религий. Государство Израиль, однако, состоялось. Да и то сказать: евреям, не имевшим ионсе своей земли, предоставлялись лишь два исторических выбора, поскольку жизнь в замкнутых гетто ныне невозможна, это — исчезнуть, слившись с вмещающей нацией, или... бороться за власть, пытаясь подчинить себе аборигенов, как это было в Хазарии, да и не в ней одной. Симптоматичен описанный в Библии (кн. «Эсфирь») погром евреями ассирийской элиты.

Относительно периодически возникающей в истории идеи мирового господства какой-либо одной нации и расселения по всей земле одного народа надобно сказать следующее.

Да, к подобному господству пусть не на всей земле, но хоть в пределах своего тогдашнего мира приближались многие. Да, господство в наши дни, во всяком случае в Европе и в Америке, международных тайных, по-видимому, в значительной мере еврейских организаций, впрочем, работающих едва ли не под управлением ЦРУ, стало фактом уже сейчас. Политика советского государства давно уже потеряла последнюю видимость национальной принадлежности. Позорная война в Афганистане, например, была затеяна исключительно в интересах США и Израиля (требовалось подорвать авторитет России на Ближнем Востоке), как и прежняя брежневская интервенция в Чехословакию, кстати.

Однако всякая попытка вообще заменить разнообразие этносов каким-либо одним заранее обречена на неудачу. Вспомним, что разнообразие этносов продиктовано природою. Этнос-победитель должен будет или разделиться после долгого и мучительного «перегнивания» на новый ряд разнообразных этносов (так, на месте победоносного римского этноса с течением времени возникли испанцы, итальянцы, французы, румыны. Так, уже сейчас американцы в корне отличны от англичан, и т. д.), или погибнуть от вырождения, пройдя отмеренный срок. Что будет означать в последнем случае тотальную смерть человечества.

Так что идея мирового господства, с заполнением всей земли одним этносом, изначально безумна и неосуществима, каким бы успешным ни казалось ее осуществление в начальном периоде подобной экспансии. Никому мировое господство, к которому стремятся многие, — ни победителю, ни побежденным не принесет блага!

Последний вывод не означает, однако, что против подобных идей не надобно бороться. Борьба со злом — постоянный долг христианина (и не только христианина!).

Вообще надо сказать, что многовековое развитие европейской мысли постоян-

---

БАЛАШОВ Дмитрий Михайлович родился в 1927 году. Окончил Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского и аспирантуру при Институте русской литературы АН СССР. Кандидат филологических наук. Автор повести «Господин Великий Новгород», романа «Марфа-посадница» и цикла книг «Государи московские», а также ряда научных работ в области русского фольклора. В 1991 году стал лауреатом премии журнала «Наш современник» за роман «Похвала Сергию» и статью «Союз равных народов». Живет в Новгороде.

но вращается вокруг одних и тех же противоборствующих идей: ветхозаветной идеи предопределения и христианской — свободы воли.

По первой поведение человека и человеческих сообществ предопределено заранее. Есть избранный народ и прочие, «гои», подобные скотам. И этим избранным следует лишь строго исполнять данные свыше заповеди, дабы получить воздаяние в виде вполне земных и материальных благ.

Христианство принесло прямо противоположную идею: людям вручена свыше свобода воли, т. е. и погибнуть и спастись должны они сами, и в этом отношении их выбор совершенно свободен. Избранных нет, и те, кто пришел к осознанию истины, равны пришедшим раньше (см. притчу о виноградаре). Наконец, по этой идее Господь отнюдь не дает верным в награду земные блага, но только царство Божие в том, загробном мире.

Идея предопределенности (обреченности добру и злу) через манихеев проникла в учение католической церкви и еще более — в протестантизм.

Библейскую идею избранного народа взял на вооружение Гитлер, создавая теорию «арийской расы».

Наконец, идея предопределения, предначертанности (независимо от воли людей!) отразилась и во фрейдизме (подсознательные сексуальные начала), и в марксизме — всевластие экономики, которая якобы постоянно влияет на изменение структуры общественных отношений (что неверно, ибо и сама-то экономика зависит впрямую от политических структур, то есть от воли народов).

Идея предопределения, проведенная последовательно, до конца, говоря строго, избавляет человека от моральной ответственности за совершенные поступки и приучает к социальной пассивности (все равно ведь сделать, изменить ничего нельзя!). Ибо ежели некоторым, стоящим вне нас началом (Богом или экономикой!) определены наши поступки и судьбы, то при чем тут какая-то мораль?

Мораль возможна только при наличии свободной воли, свободы выбора. (Почему, например, тюрьма не может служить средством перевоспитания. Несвобода отнимает саму возможность пробуждения морально-нравственного императива в человеке.)

Все это имеет самое прямое отношение к России.

Никакие — ни тайные, ни явные антипатриотические силы не сработали бы в нашей стране, не будь она в состоянии надлома. Провидческим оком Столыпин углядел эту трудноту, почему и говорил, что надо прожить хотя бы четверть века без потрясений и войн, дабы выросло новое поколение крепких хозяев. Увы! В подобные эпохи судьбы наций подчас висят на ниточке жизней одного-двух гениальных государственных деятелей, которых столь легко уничтожить! Да, были бы и при Столыпине и свары, и споры, и кровь, но хоть направленного геноцида с истреблением лучшей части нации могло бы все же не быть!

Однако благие возможности, едва ли не все, как-то ослабить «надлом» оказались упущены, и Россию постигла самая жестокая из возможных судеб.

Сейчас в ряде современных изданий, и в журнале «Наш современник», опубликовано чудовищное письмо Ленина об изъятии церковных ценностей. Оказывается, голодающему Поволжью никто не собирался помогать. Голод был удобной ширмой для тотального разгрома церкви. Собранные сокровища ушли неясно куда, скорее всего ими Ленин с лихвой расплатился с теми, кто финансировал революцию. Во всяком случае, на покупку семенного хлеба (умирающих с голоду никто и не думал кормить) ушло не более полупроцента собранных сумм.

Опубликован и бухаринский перечень социальных групп, подлежащих уничтожению в России. В него входит, по сути, вся русская нация. Опубликовано и «письмо большевика», принадлежащее, как полагают, тому же Бухарину, из которого предельно ясно, что нашу страну они рассматривали лишь как вязанку дров в костре мировой революции. Даже сами слова «Россия», «русский» были в 1930-х годах почти что запрещены (так что Брежнев с его «нечерноземьем» вовсе не оригинален). Словом, как ни верти, но главной организацией, направленной к уничтожению России, явилась опять-таки РКП(б) и руководящие деятели партии большевиков.

Но, возразят мне, какая же это «тайная организация» — сама советская власть?! Отвечаю: речь идет о той политике советской власти, которая была скрыта от широкой общественности и творилась тайно, порою в тайне даже и от подавляющего большинства партии.

Обычному уму то, что происходит в нашей стране, трудно понять. Систему власти любой из граждан, раз уж она есть, воспринимает именно как систему, то есть как хоть плохую, хоть неумелую, но, однако, власть, аппарат, защищающий национально-государственные интересы. Представить, понять, что мы живем в антисистеме, — слишком чудовищно. Любую государственную мерзость мы представляли и представляем себе как искривление, как действие плохого чиновника, вместо того чтобы сообразить, что все эти «плохие» действия, ведущие к уничтожению страны, и есть система, точнее — антисистема нашей власти.

Так, высылаемые крестьяне («кулаки») искренне не могли понять, за что их репрессируют. Мы же даем хлеб стране! И понять, что вот именно за это их и казнят, они были не в состоянии. Слишком фантастической была такая реальность!

Ленин начал с призыва к поражению собственного правительства в войне (заметим, в войне не с каким-то социалистическим государством, но — с немецким кайзером!). Русское государство и государственность предполагалось уничтожить. Россия интересовала его только как плацдарм для захвата мира. И не его одного! Характерно начало второй мировой войны: обезглавленная армия, уничтоженные укрепления на старой границе, баки самолетов, залитые водой, размонтированная тяжелая техника, командиры в отпусках — и это за считанные дни до начала войны! (Сохранен был лишь флот, по-видимому, нужный для дальнейших планов уже совместных с немцами действий против Англии.) Кто в тот период всеобщего страха, кроме наших всесильных «органов», мог провести столь широкую подрывную деятельность? Что же, большевики ждали Гитлера? А почему бы и нет! Напомним, что гитлеровцы были тоже социалистами (только лишь национал-социалистами), что режим был тот же и что в случае объединения наших стран фашизм мог бы и победить! Да и ленинские традиции нелишне вспомнить! Ну и партизан, за их заслуги угодивших и наши лагеря, не забудем! Не забудем и того, что виновники позорного начала войны, наши военные преступники, так и не были изобличены и наказаны. На них не было и нет доселе своего Нюрнберга.

Не забудем, что Сталин, тайно предлагая сепаратный мир Гитлеру, отдавал ему Прибалтику, Белоруссию, Молдавию и Украину. И именно такой кусок должен был быть выделен из тела Великой России по планам ЦРУ. И этого именно добились сейчас наши «демократы»! Не чудесно ли столь трогательное единство душ?

К отделению Крыма от России призывал еще громогласно Маяковский. Никита Хрущев, ни с кем не советуясь, и меньше всего с жителями Крымского полуострова, «передает» Крым, словно свою крепостную вотчину, Украине. Казалось бы, подобные бандитские акты советской власти все должны быть отменены. Однако нынешние «демократы» с трогательной поспешностью закрепляют Никитино дарение, опять же игнорируя мнение населения Крыма. Не чудно ли?! Относительно левобережья Днестра уже говорить не приходится.

Да полно, так ли уж враждебны наши демократы прежним коммунистам? Да не состоялось ли где, в святая святых мирового тайного правительства (ежели таковое существует), при участии того же ЦРУ (агенты коего деятельно работают нынче в Прибалтике!), секретное совещание, где постановили убрать, как отработавших свое и устаревших, большевиков, заменив их новой холуйской популяцией «демократов», перед которою была поставлена задача окончательно развалить страну по тем трещинам, которые были проведены коммунистическим режимом, дабы затем пустить ее в дешевую распродажу?

Естественно, большинство наших демократов не ведает, что творит, и не видит, куда их толкают. Так и должно быть!

Однако вот факты: развал и распродажа страны, развал хозяйства, финансов, вывоз за рубеж золотого запаса и алмазного фонда, оголтелое западничество во всем — фирмы, инвестиции, компьютеры, валютные проститутки всех мастей и обоего пола... А земля по-прежнему без хозяина и ждет не дождется возобновления столыпинской реформы, а жрать, простите, скоро будет совсем нечего, а колхозы и совхозы по-прежнему запахивают урожай, рабочим все так же не позволяют зарабатывать, т. е. повышать производительность труда, а хлеб опять гибнет и картофель гниет!

На глупость все это слишком мало похоже... Больше — на строгий и упорно внедряемый умысел.

Любая самая развитая и устроенная бюрократическая система (даже римская!) есть лишь механизм власти, а отнюдь не ее идейное основание. Римский бюрократический аппарат работал, пока были в правящем сословии настоящие римляне, то есть патриоты своего Отечества. Ибо без этого бродила, без начал любви — патриотизма всякая государственно-бюрократическая система становится как бы слепой, теряет смысл, стержень, само оправдание своего существования и начинает вертеться вхолостую, подминая и калеча всякого, кто случайно попадет под лопасти этого чертова колеса. Точно так же, как и аппарат церкви, лишенный верующих, теряет и смысл, и цель своего бытия. Интеллигентам, которые упорно, по всякому поводу — идет ли речь о школе, детях, природе, гуманизме, науках, благотворительности, памятниках старины — стремятся создавать новые бюрократические структуры, не мешало бы понять эту простую истину.

Любая бюрократическая структура будет работать в нужном направлении лишь руководимая патриотами того дела, которому сия бюрократическая структура обязана служить. Иначе ничего доброго не получится. И все подобные затеи, будь то охрана памятников или агропром, становятся лишь еще одной кормушкой для еще одной своры чинуш, повисая мертвым балластом на том деле, коему призваны были служить.

Наша бюрократическая система с самого начала была чудовищной, ибо флагом ее деятельности являлось уничтожение страны. Но долго ли можно вдохновляться идеей ликвидации России? Неодолимое сползание в обычный бандитизм, казнокрадство и канцелярщину выявились в советском аппарате уже в первые годы советской власти. Личный аскетизм при всевластии, при том, что все экономические рычаги общества находятся в твоих же руках, был в этих условиях слишком ненормальным, чтобы оказаться массовым явлением. При Сталине, под гнетом всеобщего страха и перед лицом еще не разрешенных государственных задач, бюрократическая система еще как-то работала, правда, в одном единственном направлении. Но уже

со времени Хрущева начинается вакханалия воровства. При Брежневе, который «хапал» и сам, и позволял «хапать» другим, сложилась такая ситуация, что любого чиновника, любого деятеля Госплана можно было купить за какие-то сущие пустяки — поездку за рубеж, заграничную машину, после чего заключаются явно невыгодные контракты, подмахиваются сомнительные соглашения, словом, открывается возможность для любых экономических да и политических диверсий, которые мы, по традиции, приписывали во время Оно пресловутым шпионам.

Истинные виновники распродажи страны долго сидели в Минфине и прочих организациях — словом, и аппарате центра (боюсь, что и в аппарате России), до предела облегчая работу любого секретного зарубежного ведомства, которое захотело бы или посчитало нужным провести ряд деструктивных акций, направленных к развалу нашей страны.

Но нельзя ли переделать антисистему в систему? Переменить все прежние ориентиры на противоположные? Ведь и те, кто ходит сейчас со знаменами, отстаивая «чистоту ленинских идей», — эти безнадежно запутавшиеся люди связывают с партией большевиков именно патриотические начала, не видя, что современный развал державы подготавливался в те, прежние времена. Увы! Ходили бы вы с флагами, дорогие товарищи, когда наших ребят посылали в Афган или когда Никита дарил Крым — Украине, а не теперь, когда это дарение принято как норма! Нет уж! Надежды ваши напрасны. Черного кобеля не отмоешь добела! Верхушка партии готова была использовать патриотизм в своих целях (и использовала в период войны!), но отнюдь не исповедовала патриотическую идею. Готова была даже и опереться на помощь Церкви в пору очередной политической трудноты, но не поверить в Бога! Могут они даже и партбилеты выложить на стол, и к демократам перекинуться (лишь бы удержаться у власти и лишь бы по-прежнему продолжать уничтожать страну...)

На чем, на какой основе строится наше нынешнее, вновь внедряемое погубление Великой России? Увы, на той же самой, что и в 1917 году! На основе гигантского количества тунеядцев и просто обывателей, привыкших к распределительному принципу и не чающих жизни иной. На той части нашей молодежи, что охотнее пойдет в рэкетиры, чем в работники... Все это основа для дальнейшего действования в стране тайных и явных деструктивных сил. И поскольку не словами, но делами проверяется истина, вернемся опять к конкретной государственной (точнее — антигосударственной) политике наших руководителей и начнем с кровоточащего вопроса о Курилах, непонятно, то ли уже обещанных, то ли являющихся объектом торга с Японией. Ибо все можно спасти, восстановить и отыграть, пока не потеряна земля, пока не ушла от нас сама территория Родины.





Летопись России: история в лицах

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

...ДОБРА ХОЧУ БРАТИИ И РУССКОЙ ЗЕМЛЕ

Господи, когда же мы перестанем, наконец, подтверждать правоту старых книг? Когда наше развитие достигнет той необходимой степени, на которой мы будем читать пергаменты и свитки, грамоты и поучения многовековой давности с одним только простым историческим любопытством — вот как это было при пращурах и как уже никогда не будет? Пока не откроешь книги, можешь обманывать себя мыслью, что только в твой час человечество вправе зваться человечеством, что оно, слава Богу, ушло из потемок времени и истории невозвратно и может лишь улыбнуться своему ужасному детству. Но уж как открыл...

Не знаю, как профессиональные ученые, кто сделал старую книгу работой, предметом изучения — у них зрение иное и их, вероятно, мало занимают современные аллюзии. Они замыкают книгу в своем столетии и видят ее идеи более в исторической горизонтали — там и тогда. А у нас, людей с улицы, правила чтения попроще, и мы сначала вертим книгу со снисходительной улыбкой («ну, что они еще могли знать о человеке десяток столетий назад»?), а вчитавшись, с благодарной горячностью откликаемся на «похожие» мысли и сначала с удивлением, а там со стыдом и любовью чертим на полях свои вопросы и восклицания.

Да и время в таком чтении хороший помощник. Гармонией и красноречием старых текстов можно наслаждаться в покойные годы, когда слух ловит стилистические тонкости, а ум — скрытые исторические намеки и обдуманные недомолвки. А когда жизнь сгущается до опасных пределов, когда ткань времени натягивается до разрыва и человек начинает ощущать беззащитность перед слепой исторической стихией, то тут уж не до снисходительных размышлений о «детстве человечества» и не до дробных различий политики угасших династий. Сердце слушает любое слово прежде ума и реагирует слишком близким и малоакадемическим образом, сужая и накаляя текст до нынешнего газетно-обиходного свойства.

* * *

«Поучение Владимира Мономаха» и прежде обращало на себя внимание русской мысли. И. А. Ильин в статье «Искусство строить федерацию» уже напоминал о том, что «единство Руси, осознанное и выговоренное Владимиром Мономахом», могло найти историческое развитие только при условии крепкого правосознания, но поскольку русское правосознание толковало обязательства с коварным своеволием («мое слово — хочу дам, хочу назад возьму»), то «договорное объединение Руси» неизбежно должно было смениться унитарным. И если молодая Россия все-таки была при Мономахе крепка и если по слову летописи, переложенному С. М. Соловьевым, «он просветил (Русскую землю) подобно солнцу, испускающему лучи свои», и по кончине его плакал о нем «весь народ, все люди, как дети по отце», то не только потому, что он был «братолюбец и нищелюбец», но потому прежде всего, что он был «добрый страдалец за Русскую землю».

И не зря уже современный историк и богослов протоиерей Иоанн Мейндорф, зная о «договорных тенденциях» Мономаха при устройстве России, все-таки зовет его «символом имперской традиции, унаследованной русскими от Византии». И не зря И. А. Ильин подчеркивает, что именно Мономаховичи (праправнук Владимира Мономаха Александр Ярославич Невский и сын его Даниил Александрович) начинают «единодержавное собрание Руси от лица Москвы». Так уже было отчетливо в Мономахе тяготение к

крепкой целостности Руси и так действительно была сильна в нем материнская кровь Византии, жившей римской политической традицией, греческим литературным наследством и православной верой. И вспомним-ка, чья шапка была тяжела Борису Годунову и всем последующим русским государям и в чьей шапке написан на современной иконе последний государь-мученик.

Отчего сегодня так опасно современен разговор об этой стороне наследия киевского князя? Да, наверное, оттого, что мы сегодня стоим перед теми же проблемами, которые живо мучили Ярослава внука — как собрать разбегающиеся «уделы» под единое главенство, не оскорбив достоинства и самого малого «стола», какие найти слова, какие социальные и нравственные принципы, чтобы собираемая дедами держава не рассеялась на бессильные честолюбивые провинции. И. А. Ильин, оглядев все попытки федеративного устройства, не раз предпринимаемые Россией, сказал уже, чем они неизбежно кончаются. А теперь у нас есть и собственный горький опыт, и все же мы вновь расходимся по сторонам («несем Русь розно»), чтобы попытаться проверить правоту исторического закона еще раз.

И сейчас, как никогда, Мономахово «Поучение» подобает носить в седле и разгибать, как сам он разгибал «Псалтирь», чтобы найти духовное укрепление и руководство. Только боюсь, мы опять пропустим в нем главное, как прежде торопились прочитать и прокомментировать собственные Мономаховы слова, миновав, как декоративный или только обязательный жанровый элемент, выписки князя из «Псалтири» и Василия Великого, его настойчиво повторяемые в начале, середине и конце «Поучения» молитвы. Между тем, выписки — это прямые признания, которые порой дороже собственных слов, потому что в чужом человек находит лучше всего сформулированное свое самое интимное, самое живое и нужное сердцу, что хотел бы и сам сказать, да вот таких великих и единственных слов не находил. Выписки — это скорбь и упование, присяга и обязательство, невольный автопортрет мысли киевского князя.

«О чем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня?» Разве это цитата из 42-го псалма Давида? Это стенание старого человека, прошедшего жизнь в походах, которые он перечисляет в своей беспримерной автобиографии со статистической простотой, словно это были не битвы, полные утрат, горя, тяжких испытаний, а «служебные командировки» по скучной казенной надобности: «...И потом ходили на Боняка к Лубну... и потом ходили к Воиню со Святополком... и потом к Минску ходили на Глеба... и потом ходили к Владимиру на Ярославца...» Великая Россия примирена и согласована, враги укрощены, в державном доме достаток и лад, но ни один поход не прошел без рубца на сердце, потому что разве ходили только на Боняка и Аепу? Нет, «и к Стародубу ходили на Олега», и «к Минску ходили на Глеба», и «к Владимиру на Ярославца». На своих, на своих... И вот мир-то миром, а душа, эта шаткость добрососедских согласий, больно сама обрывает на пороге «Поучения» и вместо начала обещанной беседы вырывается это Давидово восклицание: «О чем печалишься, душа моя?». Ведь он не гадает тут на «Псалтири» (как подсказывают комментаторы); он, может быть, только в первую минуту раскрыл ее для гадания, а там зачитался и вот не просто выписывает, а исповедуется, кается, молится и вместе проповедует с Давидом, надеясь, что услышат его дети «или кто другой», что поймут они святые уроки и не повторят отцовской судьбы, не изведут жизнь в седле, смиряя корыстных братьев.

И когда он взывает: «О владычица Богородица! Отведи от бедного сердца моего гордость и буйство, чтоб не величался я суетою мира сего...», то разве он свои «гордость и буйство» разумеет? Он уже «на санях» сидит... Ему в последний путь вот-вот. Нет, он их, детей своих, рядом перед Богородицей на колени ставит, как в детстве, чтобы они в общей молитве скорее услышали желанную ему Истину.

И когда следом за 103-м псалмом князь славит весь Божий мир и то, «как небо устроено или как солнце или как луна, или как звезды и тьма, и свет, и земля на водах положена», то он и тут не Священное Писание перечитывает, а идет за Давидовым гимном к родной земле, к красоте милой Руси, которую он так узнал, сидя на разных княжеских столах, и которую перемерял в походах и мирных миссиях — из края в край. Нам уже не хватит воображения понять сердцем этот медленный, шагом коня измеряемый ритм жизни. И уже не обнять Родины с такой любовью, потому что наш скорый путь лежит мимо мертвых рек и истощенных земель, опустевших лесов и страшных для человека городов. Да князь не к нам и обращался. Это он опять детей и современников, на кого оставлял Россию, звал к ответственности перед Богом за ее живую, объединяющую людей красоту.

Мне нравится у С. М. Соловьева одна малая деталь в его «Чтениях по истории России». Когда Святополк и Владимир Мономах проиграли половцам сражение на Стугне, то оставшиеся в живых, измученные походом и поражением люди, тоскуя, «спрашивали друг друга о родной стране: один говорил, я из такого-то города, а другой: я из такой-то веси». Велика сила любовного воспоминания о милом доме и великое это лекарство для русского человека от тоски — нежность к родимой земле. Не этот ли поход и память о нем побудили старого князя прославить с Давидом чудо земной красоты?

* * *

Мне кажется тем более важным сказать об этом, отодвигая на второй план собственные Мономаховы учительные слова, что тут в любящем пересказе дорогих мест Писания, пожалуй, впервые отчетливо слышно, как Христос говорит по-русски, как прививается греческая вера на русской земле, как Русь впитывает и живо принимает еще такое молодое для себя учение. Может быть, именно в Мономахе впервые является настоящий тип уже подлинно христианского государственного деятеля, который понимает Православие как могучую осознанную опору единой Руси. И до него князья целовали Крест, считая это высшей клятвой перед единственно неподкупным Судьей, но молодость страны и недостаточная укорененность веры еще допускали лицемерие и коварство. Он самою настойчивостью и обширностью цитат из Писания звал утвердить неделимость христианского слова и христианского дела.

По существу он писал духовную конституцию. Имперская византийская подкладка выглядывала только в отеческисамодержавной интонации, словно он наставлял не руководителей княжеств, а писал руководство по содержанию дома, просто и спокойно, как учат детей, устанавливая им этические принципы, порядок дня, правило души. «Ни правого, ни виноватого не убивайте и не приказывайте убить его... Если же будете крест целовать братии или кому иному, то, проверив сердце свое, на чем можете устоять, на том целуйте, а поцеловав... блюдите... Сторожевую охрану сами наряжайте..., а оружие снимать с себя не торопитесь, не оглядевшись... не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего в отношении церкви: пусть не застает вас солнце в постели...»

Государство и отчий дом тут еще так соединены, а Русь и семья еще так слитны, что правовые и воинские советы перемежаются обиходно-домашними через запятую, не смущаясь соседством. И это, конечно, не от неловкости автора, не умеющего классифицировать наставления «по разрядам», а именно от понимания России как отчего дома, народной семьи. «Поучение» обнаруживает, как хорошо Мономах умел понять и как глубоко переплавил и душе и дедову Ярославову «Правду», и Илларионово «Слово о законе и благодати», и чудно простые, но неукоснительно твердые советы печерских игуменов Антония и Феодосия.

Церковь хорошо помнила свои обязательства перед Богом и умела говорить с князьями, не опуская взора. Митрополит Киевский Никифор в одном только послании Мономаху мог высказать все оттенки отлично вооруженной мысли: была там в нужных местах тонко одетая умелая лесть («...поскольку к тебе слово это обращено, доблестная глава наша и всей земли христолюбивой... которого Бог издалеча поразумел и предопределил...»), и высокий пример («посмотри на Авраама...»), и поучительная схоластика («Узнай же, князь человеколюбивый... что трехчастна душа»), и наконец, бесстрашное прямое назидание («это для благоверия твоего... написал я в напоминание тебе, поскольку великие владыки часто в великих напоминаниях нуждаются»).

Мономах умел выслушать укор с сыновним смирением, совет — с братской благодарностью и принять то и другое чистым сердцем простого смертного человека, долгим опытом жизни узнавшего, что побеждать врага можно не одним оружием, но порою увереннее и надежнее — «покаянием, слезами и милостынею». Сегодня мы мало умеем выслушивать «великие напоминания» и еще менее разуметь правду «покаяния и слез», хотя нам-то они куда потребнее, чем детски невиновному перед Россией и народом Владимиру Мономаху.

«Поучение» поворачивает каждое слово к свету своей чистой молодой стороной, будто оно произносится впервые. Это касается и цитат из псалмов и отцов церкви. Каждое слово цвело новизной и свежестью. Православие было еще не «учением», а правилом совести в порядке жизни. Это теперь мы больше «изучаем» его, чем следуем здоровым законам. Нашего интеллектуального православия едва хватает на картинный разговор да от силы на посещение храма по воскресеньям, и навряд кому даже приходит в голову искать в нем назидание великим владыкам и опоры государству.

Между тем, умей мы слушать уроки старых книг, мы бы и по одному «Поучению» могли заключить, что пути собирания разбегающейся России и ныне мало отличаются от предлагаемых киевским князем и они не в метании меж пропастями и не в экономических заплатах, а в том же едином нравственном усилии, в крестном целовании, державшем Киев и Минск, Чернигов и Ростов, Львов и Новгород — земли, которые нынче изо всех сил стараются скрыть друг от друга вековое родство. Мономах, так много сделавший для канонизации князей-мучеников Бориса и Глеба, знал, что святая кровь может удержать кровь грешную, что церковное напоминание о преступлении может оградить от нового мирского преступления. Мы сегодня с похвальной энергией канонизируем мучеников своей государственности, но при этом не берем святых в союзники в стоянии за единство России. Священная небесная история нашей Родины все необратимее расходится с земной, и мы еще почувствуем свое сиротство, оставив наших святых собирателей Отечества за полосатыми столбами новых южных и западных границ.

* * *

Особенная драгоценность и убедительность «Поучения» в том, что Мономах не только излагает свою духовную конституцию, свод высоких этических правил, в том, что он являет пример прямого применения этих правил. Его пронзительное, подлинно трагическое письмо к Олегу Святославовичу (Гориславичу, как назвал его автор «Слова о полку Игореве», напомнив о горе, принесенном этим безумным честолюбцем Русской зем-

ле) в своей горячей печали и духовной стойкости по-прежнему один из великих и редких в мировой духовной культуре нравственных документов.

Протянуть руку виновнику смерти своего юного сына Изяслава, задавить в себе естественный гнев для того, чтобы не лилась новая кровь, чтобы не страдала и без того измученная Россия, — для этого надо было, чтобы Христос подлинно прошел этой землей из края в край. «Не хочу я зла, но добра хочу братии и Русской земле», — восклицает князь, и одному Богу ведомо, каких усилий ему стоит смирить себя, а нрав его виден хоть в том, как он на диких зверей ходил («не дорожа жизнью своею»), как умел не страшиться смерти в 93-х своих великих походах («а остальных и не упомню меньших»), и в том, что его именем и век спустя половцы пугали своих детей.

Вдвойне велика его нравственная сила тем, что он уже и старшего своего сына в том же понимании взрастил. Это ведь Мстислав, извещая отца о смерти своего младшего брата, пишет Мономаху неслыханные дотоле слова: «А мы с тобой не будем мстителями, но положим то на Бога... а Русскую землю не станем губить». Значит, «Поучение»-то было уже только записью устных уроков, только процальным напоминанием на тот случай, когда сам больше сказать не сможет, а суть детям не только была давно преподана князем, но и усвоена их душой. И, может, поначалу гнев и одолел бы Мономаха, но уже сын вставал перед ним как отражение собственных отцовских наставлений и унимал гнев («И я видел смирение сына моего, смягчился...»).

Терпение и любовь этого документа удивительны. Готовое сорваться досадное слово будет удержано силой и не вырвется, как в этом захлебывающем абзаце: «Если тебе хорошо, то... если тебе плохо, то вот сидит у тебя рядом сын твой крестный с малым братом своим... Если же хочешь их убить, то вот у тебя они оба...». «Если тебе хорошо, то...», — значит, можно и обрывать разговор; слепа и мертва душа и всякое слово падает на камень, но Мономах, страшась самой этой мысли, не продолжает. «Если тебе плохо», то тут все по-человечески, и можно и злое слово сказать и боль выплеснуть, потому что тогда сердце услышит сердце и поймет все как должно.

Девять столетий прошло, а каждое слово дышит живым страданием и учит достоинству перед бедой. Прав Д. С. Лихачев, с любовью и гордостью сказавший: «Письмо Мономаха должно занять одно из первых мест в истории человеческой Совести, если только История Совести будет когда-то написана». Эта История пишется постоянно. И вот это сегодняшнее воспоминание о «Поучении», о живом его значении в истории России — одна из глав этой рассеянной, но оттого не менее последовательной и полной Истории.

* * *

Есть что-то глубоко промыслительное в том, что «Поучение» не сгорело вместе со «Словом о полку Игореве» в московском пожаре 1812 года, что оно было в час пожара у Н. М. Карамзина. Оно уберeглось, чтобы вновь и вновь приходить в смутные часы российской истории для прямой своей работы, обозначенной в самом жанре, — для поучения тех, кто еще способен учиться у минувшего, кто верит, что слова «Бог» и «Россия» долго будут писаться рядом, кто понимает, что для духовной истории нет прошлого, и там Владимир Мономах является живым собеседником Сергия Радонежского, как Сергий — собеседником и братом Амвросия Оптинского, и вместе с иным великим рядом православных властителей, святых наставников и грозных хранителей духовных заветов нашего многотерпеливого христианства они есть совесть России, ее гордость, ее вечно чаемое будущее.

Псков.





Отечественный архив

Пасынок России

Те из наших читателей, кто заметил публикацию в первом номере журнала, посвященную поэту Алексею Ганину, и его тезисы «Мир и свободный труд — народам», с интересом должны прочитать и публикующийся ниже протокол допроса Ганина, произведенный в Московской ЧК 17 ноября 1924 года. Это даже не обычный протокол допроса, а скорее своеобразные тюремные мемуары, полуисповедь, полупризнание, попытка спасти свою жизнь и увести следствие в сторону, но одновременно удивительное по деталям, фактуре и атмосфере воссоздание быта эпохи, ее страшного безбытного воздуха, ее безнадежности и отчаяния, которое давило и иссушало душу каждого мыслящего русского интеллигента «страшных лет России».

Как тут не вспомнить о деятельности русских патриотов 60—70-х годов Игоря Огурцова, Леонида Бородина, Владимира Осипова и созданного ими ВСХСОНа. В сущности, Алексей Ганин и его товарищи были, несомненно, прямыми предшественниками жертвенного поколения патриотов-шестидесятников.

Исповедь Ганина, написанная им в подвалах и камерах ЧК, неожиданно и особым образом как бы продолжает и дополняет многое из того, что было сказано Есениным в знаменитом цикле «Москва кабацкая», или напоминает нам многие страницы трагикомедии Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», или перекликается с горькими, полными той же бездомности и того же отчаяния стихами Николая Клюева двадцатых годов. Суть этой жизни не раз была выражена Сергеем Есениным: «В своей стране я словно иностранец», или из письма Кусикову: «Тошно мне, законному сыну российскому, в своем государстве пасынком быть»... Да, именно «пасынками» сразу же после окончания гражданской войны почувствовали себя Есенин и Клюев, Ганин и Приблудный — все они, находясь под зорким оком дзержинско-аграновско-петерсовского Чека, стали «Иванами бездомными», людьми второго сорта, гонимыми русскими людьми, которым антирусское государство той эпохи не могло позволить и простить русского ума, русского чувства, русского патриотизма. Все они были поставлены в положение национальных диссидентов с предопределенной в будущем трагической судьбой. Нищета, отчаяние, безнадежность существованья русского человека — то есть все то, что нависает над нами сегодня, — выражены в «тюремных мемуарах» Алексея Ганина с откровенной наивностью, но в то же время и с какой-то психологической и бытовой точностью. Ужасно предположить, что нынешнее экономическое положение русского писателя завтра может стать таким же, как у Ганина и его товарищей. Читая эти мемуары, с печалью понимаешь, что традиционное зло, овладевавшее жизнью русского таланта, топившего отчаянье в вине, действительно вызывалось и вызывается историческими условиями бесперспективности жизни в самом глубоком смысле слова.

Плохо было русскому человеку, русскому поэту и во времена Ганина, и во времена Рубцова. А когда «плохо» — тут же появляется Горе-Злосчастье... Встречи, разговоры, знакомства — все достойно внимания в этом необычном протоколе допроса. Вплоть до наивной попытки откреститься от обвинений в создании мифической фашистской организации (1924 год!). Вплоть до попытки изобразить свои беспощадные по отношению к власти «тезисы» как некие черновые заготовки для будущего романа...

Впрочем, читая эти тюремные мемуары, все-таки приходишь к мысли, что никакими организаторами мощного сопротивления режиму, никакими вождями национального движения люди, подобные Ганину, стать не могли.

В первую очередь они были поэтами, художниками, людьми литературного призвания, для которых ничего не было выше и дороже внутренней свободы. Выше которой разве что было лишь одно — судьба Родины, судьба Отечества. Но в таком случае их выбор был сделан, и они были обречены. Да будут их прозрения, их просчеты, их жертвенность жестоким уроком для нового поколения русских людей, вступающих в «вечный бой» за возрождение России.

Станислав КУНЯЕВ.

Протокол допроса гражданина Ганина Алексея Алексеевича

На вопросы, заданные мне, отвечаю.

Собственно, к политической работе я никогда себя не готовил. Я хотел исключительно работать в художественно-литературной области. Мной не написано ни одной социально-политической книги. Ни к какой политической партии я никогда не принадлежал. Но гражданином я был всегда или, по крайней мере, стремился им быть, ибо стремился всегда по мере моих сил и способностей помогать трудовому народу, крестьянам и рабочим вырваться из того социально-экономического гнета, в котором они находились, в котором находился и я. С восьмилетнего возраста, работая с отцом по окрестным деревням, по заводам и фабрикам, расположенным в Сухонском районе Вологодской губернии, я с детства увидел и остро воспринял царившую несправедливость. Для одних — вечный труд, нищета; для других — довольствие и праздность. Но чтоб служить не только словом, но и делом, я в детстве же понял, что необходимо учиться. И вот до сего времени всю жизнь, изнемогая в борьбе за кусок хлеба, я продолжал свое дело учебы и то же время занимался литературной работой. Я приехал сюда, в Москву, как в центр научной и литературной работы. Так как начаты мною работы — ряд художественно-драматических хроник, «Освобождение рабов», «Иосиф» и несколько других из истории эллинского Рима и России. Кроме того, мною начат большой роман, который бы охватывал жизнь России в целом за последние двадцать лет и действие в котором разыгрывается, в отличие от всех существующих романов, не на любовной интриге, а на социально-экономических условиях. Все вышеуказанные работы требовали от меня знаний истории последних лет в целом. Но приезд мой оказался для меня роковым. Все мои работы, особенно последняя, рассчитанная приблизительно на десять лет, требовали еще некоторой, хотя бы минимальной обеспеченности, которой у меня абсолютно не было.

Напротив, я оказался в крайне отчаянном положении: без работы, без комнаты, без денег. И так продолжалось с 1923 года, с сентября месяца, до дня ареста. Питался я большей частью в кафе Союза поэтов «Домино». Позднее — «Альказар» и «Стойло Пегаса». А ночевал — где застигнет ночь.

Таким образом, моя конспиративность есть не более как хроническое безденежье и отсутствие комнаты. Отсюда возникли и те печальные знакомства с известными вам людьми.

По приезде в Москву я оставил вещи свои да пару белья и рукописи в общежитии студентов на Госпитальной улице у земляков, учившихся со мной вместе в Вологде с 1910 по 1914 год. Переночевал, а на другой день ушел и не был там. Приблизительно до конца ноября.

В зачислении меня в вуз Главпрофобр отказал, так как было уже поздно, прием был прекращен. Желая уехать обратно и не имея ни гроша денег, я хлопотал перед Наркомпросом, чтобы уплатили мне гонорар за книгу стихов, принятую еще в 1921 году ЛИТО. Своевременно гонорар мне не был оплачен из-за денежного кризиса, происходившего в то лето 1921 года. Но так как ЛИТО было уже давно ликвидировано, а материалы перешли в архив академии, в уплате гонорара мне было отказано. Я окончательно остался на мели, во власти всяких случайностей. Вечера до глубокой ночи проводил в кафе, в пивных, а ночевать уходил к моему бывшему другу поэту Есенину, в дом «Правды» по Брюсовскому переулку, где познакомился с его тогдашней женой Галей [1], ни фамилии, ни отчества которой я не знаю и до сих пор. Ночевал в то время в той же квартире поэт Клюев. Вот люди, с которыми я общался, если не считать тех десятков людей, которые, как тени, притягиваемые скандальной известностью Есенина, проходили перед нами в пьяном бреду, которые каждый вечер были все новые, которых я не знал и знать не старался.

Поэт Клюев, совсем не пивший или изредка пивший, очень мало, неизменно уводил нас в вышеуказанное место в Брюсовском переулке. Так продолжалось до всем известного печального процесса четырех поэтов [2]. К этому времени я ближе познакомился, приблизительно за день до скандала, в пивной с Орешиным, Клычковым, с которыми я изредка встречался в бывшем Петербурге в период 1916 и 1917 года. В то же время познакомился с Борисом Глубоковским, с Марцеллом Рабиновичем, которые жили вместе, и с Иосифом Аксельродом. У первых после процесса я ночевал одну ночь, они, кажется, и сами вскоре очутились без комнаты. В доме «Правды» после процесса ночевать было нельзя. В это время, до первого января 1924 года, я ночевал то в «Стойле Пегаса», то в общежитии писателей, то у Аксельрода на Рождественском бульваре, дом № 17, где, если не ошибаюсь, часто ночевали и Рабинович, и Глубоковский.

В той же квартире, кажется у Богомильского, останавливался Борис Пильняк и одну-две ночи ночевал Всеволод Иванов.

Все разговоры наши вращались исключительно в области литературы, литературного быта, воспоминаний о годах гражданской войны и вообще о всех вопросах, которые затрагивали и затрагивают мыслящие люди. С Пильняком встречался в то время раза два, и то в обществе Богомильского, почти незнакомого мне человека, который как будто помогал издавать Пильняку его сочинения. В общежитии писателей встречался со всеми, кто там жил. А по вечерам чуть не каждый вечер бывал на тех литературных собраниях, которые там происходят. Таким образом, знаком почти со всем литературно-художественным миром. После собраний неизбежно уходили в «Стойло Пегаса», где был галдеж до двух часов ночи, а оттуда, если в состоянии мы были двигаться, отправлялись, кажется, в «Подвал энтузиастов», ныне закрытый, где было кручение до шести часов утра. Нередко компаниями уезжали в ночные чайные на Триумфальную. Что там были за люди, я не знаю. Какие-то расфранченные дамы, актрисы, артисты, художники, поэты, иностранные представители печати. Все это гудело, вертелось, был пьяный угар и смертельная тоска. Но где же было быть? на улице? пешком уходить в Вологодскую губернию? К тому же многие из всяческих трестов и учреждений обещали устроить на службу. Но все это был миф. Да и в людей я вдруг не поверил. Все больше одолевало черное отчаяние.

В это же время, а может быть несколько раньше, меня познакомил Есенин с Айседорой Дункан, как со своей бывшей женой. У Дункан я был раз пять, где бывало иногда много людей, говорилось на разных языках. Были мы и держались там — Есенин, Клюев, я, Аксельрод, Рабинович. Говорили всегда ни о чем — комплименты Айседоре или обо всем, до тех пор, пока Есенин не начинал с кем-нибудь драку.

Из всех знакомств у Айседоры у меня осталось одно — скульптор Коненков, у которого я был однажды с Есениным, Клюевым и Рабиновичем. Осматривали мастерскую Коненкова, эту необычайную сокровищницу. Разговоры исключительно были о скульптуре. Вскоре он, кажется, уехал в Америку.

В это же время Глубоковский познакомил меня с Зеликом Персицем, где Глубоковский читал свою пьесу «Дон-Жуан». Присутствовали супруги Персицы, артисты студии, кажется, Русской драмы, и Анатолий Васильевич Луначарский, который, как говорили, был заинтересован новой драмой студии. Читал Глубоковский. Все молчали. После прочтения пьесы товарищ Луначарский молча раскланялся и уехал, обронив несколько замечаний по поводу пьесы. Ни с кем из присутствующих, за исключением Глубоковского и Персица, больше не встречался.

Вскоре после процесса Есенина отправили в нервный санаторий. Меня окончательно забрала полусумасшедшая тоска. Время летело. Хотелось работать, но не было стола, чтобы присесть и записать пережитое. К тому же из дома я уехал самое большее на неделю. Устроиться здесь и потом уже перебраться. А проходил третий месяц. Дома осталась ни с чем жена и двухлетняя дочь, перенесшая летом тяжелую дизентерию. А жена все еще тосковала о маленьком сыне, умершем в то же время и тоже от дизентерии.

Днями я не раз обращался к своим приятелям по Вологде — Ковалеву и Ермолаеву: не могут ли они приискать мне службу? Оба они коммунисты. К тому же здесь, в Москве, было в то время много коммунистов, занимавших довольно видные и ответственные посты, с которыми я встречался в Вологде, которые знали меня как человека, работавшего в Губполитпросвете, или как поэта. А с Ермолаевым и Ковалевым я был знаком до революции. Ермолаев устраивал в Вологде профессиональный союз врачей и снабжал нас, учившихся в медицинской школе, нелегальной в то время революционной марксистской литературой.

Что касается Левичева, то мы с ним из одной волости. В одно время учились в сельской школе, ребятишками работали на Беляевском лесопильном заводе. Я работал с отцом по печной, мял глину. Если производилась кладка фундаментов, мешал известь, бил щебень, таскал кирпич, а Левичев на дровянке — так называлась погрузка, обрезка теса в барже.

Позднее, когда я учился в фельдшерской школе, а он в учительской семинарии, встречались по летам. В бытность его вологодским губвоенкомом я встречался с ним как со старым другом. Но вскоре после моего приезда в Вологду он был переведен куда-то на юг, в двадцатых числах после того времени я виделся с ним, если не ошибаюсь, один раз в Вологде после окончания им академии и один раз здесь, в Москве, на Тверской улице. Он спешил по делам, я спешил от безделья в кафе «Альказар». Было это, кажется, что весной. У Ковалева в течение зимы я бывал раз десять, главным образом спросить, нет ли кого знакомых с родины.

Спрашивал о службе. Отдыхал от пьяной богемы, ел человеческий обед, играл в шахматы и уходил после двенадцати часов в «Стойло». Там ночевать было негде. Знакомство с Ковалевым главным образом было благодаря тому, еще с Вологды, что Ковалев, будучи вологодским губкомиссаром, жил с неким коммунистом Калыгиным. Калыгин — из нашей волости, дальний мне родственник, бывший революционный студент, живший без права въезда в города, снабжавший меня литературой, главным образом художественной. К тому же мой первый стихотворный учитель.

---

* Печатается с небольшими сокращениями

[1] Речь идет о Галине Артуровне Бениславской (1897—1926), гражданской жене С. А. Есенина

[2] Имеется в виду пресловутое, спровоцированное ЧК судебное дело «об антисемитизме», по которому в 1923 году проходили С. Есенин, С. Клычков, П. Орешин и А. Ганин.

У Ермолаева бывал тоже раз десять, а может, и значительно больше. К нему я заходил тоже отдохнуть от кричащей богемщины, от хвастливой, размалеванной кофейной, разваленной буржуазии и барства, от кокаинистов и прочих, лишенный своей семьи — я очень любил посидеть в семейной обстановке. К тому же Ермолаев — убежденнейший и просвещеннейший марксист, имеет довольно значительную библиотеку. Там можно есть и читать, попить из самовара чай, погалдеть с ребятишками. У него маленький сын, сверстник моей дочери.

С Ермолаевым мы говорили обо всем, главным образом о литературе. Но интересней всего его рассуждения философско-материалистические. Ни о какой политике, да еще заметно-воинствующей, не было речи. Мне даже пьяному не приходило в голову, ибо трезвый я великолепно понимаю, что какой же человек в полтора раза старше меня, состоящий в партии СД большевиков чуть ли не с самого основания партии, возьмет и будет сразу кем-то другим. Ввиду того, что у Ермолаева я засиживался, долго живал, главным образом по воскресеньям, денег иногда не было на трамвай, поэтому, пользуясь близостью расстояния, я уходил ночевать на Госпитальную, в общежитие студентов. В течение всей зимы был там не более пяти раз, то есть ночевал в общежитии, возвращаясь к началу...

В читальне в целые дни читал газеты, затем читал книги, какие имелись, а ночью писал. Иногда целые дни после просмотра газет играли в шахматы. Иногда я лежал с утра до ночи, обдумывая свои произведения. Довольно часто, особенно в первую неделю знакомства с Никитиным, говорили о поэзии, о построении стиха и прочем. И только иногда подымались те или иные разговоры по поводу дискуссий. Много говорили во время похорон Владимира Ильича Ленина. В это время я собирал газеты, тщательно следил за каждой статьей, за каждой заметкой.

Здесь, в зале, я познакомился с Чиркиным, с Корабельниковым и с Анатолием Розановым, которого за всю зиму видел раз пять—шесть.

Бывали разговоры в стиле газетных дискуссий. За все время приезжал в кафе один раз, напивался раза два, был рад. Чиркин все время обещал мне достать либо работу, либо денег на дорогу в Вологду, но ничего не достал. Я жил в долг у Чиркина и Никитина. С Никитиным иногда вели разговоры на тему: история революции. Я иногда злился за объявленный мне бойкот. Однажды думал написать прокламацию в конце дискуссии, но мысль эту бросил. Я не знаю, делился ли тогдашними мыслями с Никитиным или с Чиркиным, но о терроре и прочих ужасах я никогда не подымал никакой речи. До поселения в читальне, приблизительно дня за три, в одной из пивных, именно на углу Тверской и Садовой, познакомился со мной один человек воинский в малиновой шапке. Вначале обсуждались те вопросы, которые всплывали на знаменитой коммунистической дискуссии. Кроме того, все несчастье наше заключалось в том, что, куда бы мы ни пришли, все спрашивали о деле четырех поэтов. Говорилось и об этом — как шел суд, через несколько дней в читальню явился тот воинский молодой человек, читал газету. Сказал, что он курсант из Кремля. Никаких политических разговоров не вели. Это было в присутствии Чиркина и Никитина. На прощание он говорил, что если нам угодно, то в ближайшее воскресенье по закону он имеет право провести в Кремль двоих — осматривать кремлевские достопримечательности.

Как его имя и фамилия — не знаю. Сидел он минут сорок — тридцать. Больше нигде не встречался. В Кремле я никогда не был.

После суда ко мне часто обращался Александрович с приглашением зайти к нему, да вообще просил заходить. С Александровичем я встретился осенью 1923 года в зале ЦЕКУБУ, где мы читали стихи — Клюев, Есенин и я. Говорил о стихах, хотел написать статью. Я знал его как литературного критика.

В конце января я был у него, у Александровича, вместе с поэтом Никитиным. Кажется, на именинах жены, где познакомился с Головиным и так называемым Мишелем. В своих предыдущих показаниях я уже говорил, что профессор Головин только летом вернулся из-за границы. Рассказывал о Германии, о бытовых сторонах, о прошлом, о настоящем. Высказал суждение, что русские и все долго живущие в России — люди во взаимоотношениях проще и лучше, чем за границей.

Тот же надоевший вопрос о судьбе четырех поэтов. Александрович, бывший в суде, рассказывал свои впечатления. Отсюда речь зашла о национализме. Но в этот раз говорилось много о самом профессоре. Он рассказывал о своей научной карьере, о своей борьбе со своими завистниками. С Головиным и Мишелем я встречался у Александровича раза три, пожалуй, точно — три. Причем с тем и с другим не единовременно. Последний раз встречался с Головиным летом. Тут же был Мишель — я зову его тем именем, каким звали его супруги Александровичи, ни фамилии, ни отчества я не знал. Рассуждения были приблизительно те же — на тему о национальностях. Высказывался взгляд, что необходима какая-то борьба за экономическое улучшение. Одни доказывали, что борьба начнется в России под угрозой с Запада под влиянием нищеты, другие — что только белая эмиграция способна вывести Россию на более высокую ступень благоустройства. Все оказались националистами, но в конечном итоге никаких крепких точек соприкосновения между всеми нами не было.

Не знаю точно, на этой встрече или позже, я встретил Мишеля на Кудринской площади. Он пригласил меня к себе. У него закусывали, пили козье молоко, рас-

суждали на те же социально-экономические темы. Из разговоров, происходивших на квартире Александровича и здесь, он выказал себя убежденным панславистом, сторонником крестьянской диктатуры, вернее, народовольцем.

Что касается Кудрявцева и Кириллова, то я знаю их с двадцатого года. Кириллов познакомил меня с Кудрявцевым в Вологде, где мы устраивали вечер современно-пролетарской поэзии: Кириллов, Родов, Обрадович, Александровский[3] и я. Таким образом, Кудрявцева я знал как коммуниста, прокурора. А Кириллова — как всем известного пролетарского поэта.

У Кудрявцева я жил с февраля месяца в его комнате, составил книжку стихов, которая печаталась в типографии Мосторге, где Кудрявцев был заведующим. У Кириллова бывал часто в 1921 году. Ныне был всю зиму десять раз. Причем все разговоры всегда большей частью литературного характера. Если происходило в жизни СССР или Европы, на основании газетных сообщений, что-нибудь новое. При последней встрече с Кирилловым мы обсуждали наше экономическое состояние, причем и тот и другой в доказательство своих мыслей приводили цифры, опубликованные в официальных газетах, в печатных статьях «Экономической жизни», «Промышленной газеты», «Известий». «Правды», сборника ЦСУ. Разговор возник по поводу предвыборной английской кампании, когда становилось ясно, что верх возьмут консерваторы, которые едва ли ратифицируют заключенный договор. Отсюда возникла мысль о необходимости силами своего государства создать желательное благополучие государства и тем самым избежать зависимости от западных государств, в какую примерно попала Германия.

Такие рассуждения приблизительно велись, по крайней мере в моем присутствии, и у Чекрыгина, и у Александровича, и у Мишеля, и на квартире у Розанова. И незадолго до ареста об этом же были рассуждения и с Кудрявцевым. Об этом же рассуждали и в студенческом общежитии. Причем в общежитии всего-навсего разговоры об этом подымались раза два-три. Так как все студенты торопились сдавать зачеты и готовились к государственным экзаменам. За исключением земляков-вологжан Тихомирова, Круглова и Серкова, был еще в приятельских отношениях с Воеводиным и с Сахно. Все они — с последнего курса.

Главная причина моего частого посещения та, что Лефортовский парк и пруды служили мне все лето дачей. К тому же за весь год я имел здесь возможность спать на койке раздевшись, по-человечески. Думал ходить на работу, но ходил только раз. При проводах Сахно я был там и встретил Сахно случайно на дороге, собравшегося уезжать. Я шел за бельем, с тем чтобы вымыться в бане. По дороге я рассказал ему прочитанное в газете о признании Францией Союза ССР и о той газетной шумихе, которая происходила во Франции. По словам газеты «Известия ВЦИК». На прощанье просил писать, как и что жизнь на Урале, среди крестьян, рабочих и так далее. То есть что пишется в обыкновенных неглупых письмах. Просил сообщать бытовые особенности.

С Петром и Николаем Чекрыгиными я познакомился весной, в «Альказаре», во время обеда они читали мне свои стихи. Через некоторое время, по-моему, в мае, встречает меня Петр Чекрыгин на Тверской и предлагает вступить в Орден русских фашистов, говоря мне при этом несколько комплиментов о моем уме. Я говорил, что я — поэт, занимаюсь исключительно литературой, но, заинтересованный личностью Чекрыгина, в первый раз произведшего впечатление святошечки, стоящего на краю могилы, я сказал — хорошо, подумаю. Вскоре мне пришлось у него ночевать. Но, по-моему, это уже в июне, в конце, когда я начал устраиваться на службу в Хлебопродукты, ходить на Госпитальную не мог.

Приблизительно в это же время меня познакомили Чекрыгины с Олегом Поляриным, поэтом и художником, который рисовал с меня портреты, то и другое у которого выходит крайне скверно.

Между прочим, при вторичном предложении вступить в Орден фашистов я попросил указать мне двух членов ЦК. И вот однажды после ночевки, или перед ночевкой, вечером, Чекрыгин указал мне на Полярного и на брата — Николая Чекрыгина, и на себя. На мой вопрос — «все?» — они отвечали, что все. Я сказал — ладно, вступлю. В это время Чекрыгин настаивал писать протокол. На вопрос — «что у вас имеется?» — они ответили — ничего. Но Полярный утверждал, что он достанет у какого-то купца-виноторговца денег. Имя его — секрет. С веселым добавлением: по крайней мере, хоть брюки купить. Причем вид у Полярного, особенно брюки, был действительно до крайности плох. Чекрыгин Петр мрачно рычал брату: «Довольно!» — и развивал такую мрачную теорию о взрыве всех и вся, даже о взрыве всей Земли, ибо он — космический анархист, что всем нужно иметь знаки. И тут же приблизительно наметил стрелы, круги, кружки и прочее. Кому что досталось — я не помню. Тут же говорилось о шифре, после чего я предложил нелепый шифр — читать третью букву в каждом слове. Причем это происходило после ночевки в кафе «Стойло Пегаса». Из кафе было взято в этот день две бутылки вина на квартиру Чекрыгиных.

[3] В. Кириллов, С. Обрадович, В. Александровский, М. Герасимов, С. Родов — известные пролетарские поэты той эпохи.

После изображения космических знаков Чекрыгин хотел погасить свет. С этой целью высунулся в окно, выходящее на Тверскую, и орал во все горло: «Эй, сволочи, буржуазия проклятая! Кто не знает Ордена русских фашистов!» [4].

Если не ошибаюсь, было еще одно собрание, где снова произносилась речь, которую он неизменно произносит, куда бы он ни пришел,— «всё взорвать, погасить, умертвить», потому что он призван творить великие дела. Он сейчас погасит свет, а завтра или скоро отравится. «Все — сволочи!». Причем всегда показывал в сторону довольно разодетых людей.

После такой речи своей заставлял писать протокол, потому что, добавлял неизменно Олег Полярный, — без протоколов никто не поверит, что есть Орден русских фашистов, и никто не даст денег.

Не знаю, в какое время, во всяком случае после того, как были прекращены разговоры о фашизме и ни Чекрыгин, ни Полярный не требовали больше протоколов, терроров и прочих ужастей, кажется, Полярный познакомил меня в «Альказаре» с гражданином Вяземским [5], называя его князем. Каждую неделю, раза два-три, и приблизительно за неделю до отъезда Вяземского, последний заходил в «Альказар», обедал и уходил слушать малороссийский хор в пивной против памятника Тимирязева. Пили бутылки две пива, иногда по три, не больше. Сидели, слушали хор. В перерывах толковали о фашистах, о прошлой гражданской войне, о кутежах, о женщинах. Из разговоров с ними я узнал — он показывал документы, — что он бывший буденновец, но в данный момент служит в Центральном управлении статистики. Между прочим, говорил, что у него есть брат, живущий в Ницце, что он хочет уехать к брату, так как здесь трудно и скучно жить.

Брат имеет связи в Париже и среди всей русской белогвардейской эмиграции, только нужно что-нибудь, какую-нибудь бумажку, которая бы показывала, что существует кто-то и что-то. Мы составили «тезисы» из заметок, выписанных мною из газеты «Известия» ВЦИК, иностранной хроники, особенно вопросы «Морнинг пост» тред-юнионам, некоторые наспех вспомянутые вопросы, возникшие в период ножниц, некоторые фразы из белогвардейских воззвений с гражданской войны, вроде о секте антихристов, и прочее. Весь материал (он, я повторяю, у меня имелся до знакомства с Вяземским) я собирал для характеристики белогвардейских и черносотенных типов задуманного мною романа. О том, что Вяземский наверняка поедет за границу, он говорил — если удастся. Если удастся, приедет ли он из-за границы обратно, отвечал, что, может быть, не приеду. Если достанет денег, то во всяком случае вышлет.

Спешность Петерса [6] объясняется еще и тем, что, куда бы, повторяю я, ни приходил, всюду вспоминается прошлогодний злосчастный инцидент, лишивший меня заработка моей прямой литературной работой, обрекший на год невероятной нищеты. Москва сделала нас окончательно юдофобами, насовала в уши что было и не было. При составлении из моих заметок, из разных входящих фраз, имеющихся у вас так называемых тезисов, конечно, я проявил максимум не злой воли, а легкомыслия, выразившегося не в том, что я их написал, а в том, что дал переписать и помогал сам. Во-первых, тогда руководила мною мысль, что во всей этой истории нет кроме всей известной болтовни ничего. Во-вторых, если удастся князю попасть за границу и, паче чаяния, получить деньги, то это было бы совсем не худо. Напротив, к тому же говорилось, что если он, Вяземский, получит много, например, рублей (миллионы!), то по его приезде с деньгами обдумает, как быть. Если он проберется и не приедет, то постарается по крайней мере выслать на мое имя тысяч пятьдесят для издательства.

Последнее обстоятельство: собрание на квартире у Анатолия Розанова было созвано не мной, а товарищем Чекрыгиным, для того чтобы обсудить возможности легальной литературной газеты или журнала.

Вначале обсуждали газеты, потом порешили философствовать о классах, о капитализме, о земле, о промышленности. Затем решили — с газетами едва ли что выйдет, а вот создать бы какую-нибудь боевую организацию, чтоб всё вверх тормашками. Это, пожалуй, легче, чем издать газету. Победит тот, у кого сильнее техника и совершеннее. Значит, надо всех перещеголять не только в теоретических изысканиях, в области экономики, но и в небывалых тонкостях конспирации — в смысле печати агитационок и их распространения, изобретения необычайных крыльев безмоторных, летучих мин, наподобие, скажем, грача или там птицы, чтоб ни одно ГПУ, никто на свете не узнали до тех пор, пока все не будет в руках тонких конспираторов и изобретателей. Политики есть. Есть и изобретатель — вон тот Алеша. Что он из себя представляет, я не знаю. Один раз я видел его в продолжение десяти минут. На меня он произвел впечатление идиота, потому что кто-то из братьев Розановых давал ему использованный трамвайный билет. Он рассмотрел его, свернул и положил в карман. Причем все его звали «великий изобретатель». При второй встрече я

[4] Вспоминается аналогичная ситуация с «фашистским погромом» в ЦДЛ. Однако как изменились времена в либеральную сторону! Агранов и Ко расстреляли семерых русских людей и шестерых сослали на Соловки. Черниченко и нынешним литературным чекистам удалось принести в жертву по похожему обвинению лишь одного Осташвили.

[5] Вяземский — литератор, по всей вероятности, сыгравший роль провокатора в деле А. Ганина и его товарищей, предложивший им привезти деньги из-за границы, куда он якобы собирался поехать.

[6] Я. Х. Петерс — зам. председателя ЧК — ОГПУ.

спросил Никитина и Розанова Анатолия, что это за человек. Розанов ответил, что будто это очень способный человек, поразительный математик, который в уме решает сложнейшие задачи. Никитин говорил, что бывший студент. Голодает по целым дням. На днях хотел удавиться. В чем заключается его изобретение, я не понял, какие-то крылья. Есть ли у него чертежи или модель? Он ответил, что есть. Принцип кондора. Для меня это непонятно. И математический расчет. При расспросе Чиркиным, какой формы аппарат должен быть, как должен двигаться, как в нем будет сидеть человек, он отвечал что-то путаное. Серьезный он человек или нет, я не знаю. Я, по крайней мере, почти все время после выпитого вина лежал на кровати.

Я говорил в начале беседы о грозящей нам опасности с Запада, поэтому надо быть готовыми — в Англии побеждают консерваторы, Америка праведт. К тому же с Запада превосходство техники, радиоуправляемые аэропланы, в Англии — лучи смерти. Говорилось о нашей низкой заработной плате. Пили вино. Вся беседа и о газете, и о политике, и о машинах продолжалась не более полутора часов. С собрания мы с Чиркиным пошли домой. И мечтали уже не о миллионе, который надеялись получить через Вяземского.

В день ареста, так как накануне ареста я получил семьдесят рублей в Хлебопродукте (жалованье), я уходил покупать пальто на Смоленский рынок. Пальто не купил. На квартире у Карпова в общежитии писателей я одел пальто, вот то, что на мне, и пошел просто обедать где подешевле, то есть в «Рабочую газету». По пути на Тверской улице я встретил Соловьева.

В тот вечер денег у него не было. Он хотел продать золотые часы. А я как раз получил деньги. Я предложил пойти пообедать. И он вернулся со мной в столовку. В тот вечер я получил записку Чиркина, оставленную у швейцара «Стойла Пегаса», а ныне «Таверна муз», что я обещался Чиркину переговорить с Сытиным, со стариком, о стоимости такой газеты, и не примет ли он в издании какое-либо участие или, по крайней мере, не окажет ли кредит за типографские работы. Чиркину я сказал еще в столовке, что никуда не ходил. Я хотел купить себе белье и поехать на Госпитальную в баню.

Где я еще бывал? Несколько раз летом и раза два-три в конце лета у поэта Шенгелии. Я до средины лета был знаком шапочно, с Галановым — тоже. Но с шахматного турнира в Союзе поэтов я ближе сошелся с двумя вышеуказанными поэтами. Галанов меня проводил к Шенгелия в первый раз. Шенгелия в настоящее время среди поэтов считается одним из лучших теоретиков стиха, а я в этом отношении отстал. Среди наших бесед однажды возникла мысль основать общество, которое бы боролось с невежеством, со спекуляцией на искусстве, с безграмотной халтурщиной. И в то же время чтобы это общество поддерживало друг друга не только духовно, но и материально, могло сохранить молодые творческие силы от тупоумщины, халтурщины и прочих разлагающих прелестей. Не знаю, присутствовал ли тут Галанов или нет, но мы рассуждали о выпуске этико-философского манифеста, который бы охватил все бытие человека, но в котором в печати же заявить, что от так называемой политики мы отрекаемся.

Более или менее часто я встречался с Иваном Сергеевичем Рукавишниковым, ночевал у него один раз. А встречались всегда за выпивкой. Не помню, в какое время, кажется, осенью в 1923 году, во время суда, познакомил меня Герасимов Михаил с Берзиной Анной Абрамовной, а она в свою очередь — с Лобановым на Тверской улице, дом, кажется, двадцать. У этого художника Лобанова я встречался раза два с Вардиным.

Итак, все мои знакомые разделяются приблизительно так.

Первое. Люди, которых я знаю давно как революционно настроенных, работавших в гражданскую с народом, или определенно партийные коммунисты — Ермолаев, Ковалев, Кириллов, Кудрявцев, Левичев, студенты-земляки Тихомиров, Круглов, Серков, Быков, с которыми я говорил обо всем и которые знают меня давно. Все указанные люди великолепно знают прелести былого мира, ибо все они, как и я, по происхождению крестьяне, во время учебы сами добывавшие себе пропитание. Отсюда ясно — их в какие заговоры не только я, но и сам Господь их не затащит. Я ходил к ним отдыхать душой, посмотреть на здоровых людей, наконец, очухаться от кабака. Сюда же отношу Сахно и Воеводина.

Второе. Вторая группа. Это литераторы, для которых, конечно, все человеческое не чуждо, но которые прежде всего по природе своей деятельности слишком далеки от всякой политики — Рукавишников, Грузинов, Ивнев, Есенин, Клычков, Орешин, Карпов, Кузько, Шепеленко, Иванов, Пильняк, Шенгелия, Кириллов, Герасимов, Марьянова и другие члены ВСП и многие члены Союза писателей.

Я также знаком со всей группой «Кузница» и другими пролетарскими поэтами.

Третья группа — люди, с которыми я встречался в этот год и виделся с которыми либо очень часто, либо очень редко, но лица и имена которых знаю. Ни социального происхождения, ни прошлого, особенно в гражданскую войну, ни их убеждений не знаю. С ними я знаком исключительно по кафе «Стойло» и «Альказар». Это так называемая богема. Глубоковский — театральный критик, Марцелл Рабинович, кажется, коммунист. Сокол — поэт, Чекрыгины братья тоже — Петр и Николай, Дурново, Догурно, Полярный, Персиц, которого, впрочем, до сего один или два раза видел, кажется, поэт. Все это любители понюхать. По разговорам это

все боевые люди во время понюшки, но боевые по-абсурдному или по-смешному. В силу своей расхлябанности не способные не только кого-нибудь объединить для заговора и в какой-нибудь мере вести за собой хоть одну минуту, но не способные и сами-то себе тридцать минут пробыть в ладу, в ровном настроении, не имеющие сплошь и рядом на махорку. Нередко мечтали о делах, которые действительно требуют миллионных денег. Дела казались возможными. Но разве кто верил через пять минут в возможность их воплощения? Если судить по разговорам, то всю эту компанию можно с таким же успехом обвинить, например, в бандитизме или принять за членов какого-нибудь филантропического братства.

Четвертое. Это группа людей, с которыми я знаком, но познакомился в разное время. В 1924 году и в конце 1923 года. Сюда относятся люди, ни по своим убеждениям, ни по социальным признакам абсолютно не совместимые ни со мной, ни между собой. Встречал всех их в разных местах, в домашней обстановке. Лица эти, с одной стороны — Вардин, Берзина, Лобанов, Галина, жена Есенина, с другой — Мейерхольд, Дункан, с третьей — профессор Головин, критик Александрович и известный мне друг Александровича Мишель. С каждым из указанных лиц встречался по два-три раза.

И, наконец, Вяземский, историю встречи с ним я рассказывал.

Итак, вот те люди, с которыми я встречался. Где, с кем я говорил и о чем, вам уже рассказано при показаниях вышеозначенных лиц, наверное, больше и страшней, чем следует.

Тут вы меня спрашиваете и о фашизме, и о национальном комитете, и о заговоре к вооруженному захвату власти, и о терроре, и просто об агитации и об агитации посредством печатных прокламаций. И, наконец, о выдаче государственных тайн врагам Союза ССР. Отсюда и то недоверие к моим словам, отсюда и то грозное обвинение, предъявленное мне по статьям 60, 64 и 66, которое грозит мне смертью, ибо я, выходит по-вашему, смертельный враг власти рабочих, крестьян. Я — противник завоеваний Октябрьской революции. Я — предатель интересов трудящихся, и так далее, и тому подобное.

Да, задавленный, с одной стороны, нищетой, с другой стороны — под необоримым влиянием моих творческих сил, живущих во мне величайших образов я, отчаявшийся получить какую бы то ни было поддержку, здесь рискнул добыть необходимые мне средства, безразлично где и каким путем. Мне тридцать лет. В тридцать лет упорная работа за кусок хлеба. Тридцать лет непрерывного внутреннего горения. Я вышел в жизнь из хижины, восьмилетним мальчиком, с киркой и фартуком печника, чтобы под руководством моего отца, лучшего мастера нашей округи Алексея Степановича Ганина, научиться класть русские печи. И вот к тридцати годам я вышел на путь истории, чтобы из страданий и радости любимого мною трудового народа, из всего ужаса и всей радости тысячелетий построить памятник нашей эпохе. Я не стремился к дешевой славе, не искал личного благополучия. Я всю жизнь горел и работал. И вот в тот момент, когда я сделался мастером, когда мне нужно было начинать свою новую творческую работу, я очутился в том положении, о котором я уже говорил. У меня не было комнаты, у меня не было стола, где бы я мог работать. А сама работа требовала хоть минимум обеспеченности. Все те люди, с которыми я общался в этот год, — либо мои старые друзья и уже испытанные в огне революции друзья трудового народа, либо люди, которые с нами хотят творить и работать, либо те, которые нужны были мне как материал. И нужны были не как политику, а как созидателю, как художнику, поэту. Моя фантастика была настолько жива, что даже нефантастам показалась реальностью. То есть когда я, отчаявшись где-нибудь в редакции получить червонец аванса, я хотел из рук тех, против кого я боролся, вырвать необходимые средства, нужные мне для работы. Объединяя случайный материал, повторяя собранные мной из официальных изданий, из случайных фраз и белогвардейских листовок для моей работы «тезисы», я полагал, что не делаю особых преступлений. В этих «тезисах» я не выразил никакой государственной тайны, потому что никакой тайны я не знаю. Это то, что изо дня в день обсуждается и официальной прессой, и то, что повторяет и образованная и необразованная чернь России и Европы.

С наступлением зимы в тот момент, когда мне казалось, что я еще на неопределенное время остаюсь без крова и без всякой возможности жить и работать, мне встретился Вяземский. Я рискнул. Тем более он сам легко согласился. Сознаюсь, что у меня в душе вскипало не раз возмущение и острая боль против некоторых сторон современной жизни. Особенно в те моменты, когда я в тягчайшее время борьбы трудящихся за свое освобождение, я, переносивший с народом как его составная органическая часть те бесчисленные лишения, голод, холод и прочее, в настоящий момент нахожусь еще в худшем положении. Тогда, в эти моменты, глядя на тех нэпманов и карьеристов, которые не знают, как и куда измотать свои червонцы, не возмущаться не мог. А в литературе — вот я, с детства воспринявший жизнь трудового народа, вынесший путешествие на крышах вагонов, евший одну восьмую хлеба, по мере своих сил и способностей помогавший в борьбе в тяжелые времена 18, 19 и 20-го годов, не имею теперь стола, где бы писать, тогда как такие, как граф А. Толстой (я говорю это не из злобы, а просто указываю как на факт), просидевший тяжелое время за границей, имеют и постоянный ночлег, и своей халтурой зарабатывают сотни червонцев. Я халтурить не мог. А серьезные

вещи, да еще в таком необычайном историческом времени, как наше, конечно, требуют десятка лет работы и наблюдений.

Но моя вина — что до революции я не успел прославиться как писатель, поэт. Но те работы, которые я уже отделал, всякий, кто захочет серьезно и добросовестно посмотреть их, дадут гарантию искренности моих слов. Да и в нормальное это время, то есть в мирное, и при той обеспеченности, в какой жили писатели прошлого, ни один к моему возрасту не успевал выполнить какую-либо большую работу. Возьмите Достоевского, Толстого и прочих.

С теми людьми, с которыми я встречался, я говорил иногда чересчур много. Но от разговоров до заговора, до организации, враждебной и угрожающей власти Советов, мне кажется, слишком большая пропасть.

Профессора Головина я очень уважаю как ученого. Но я ни разу не предпринял ни одного шага идейной согласованности с монархическими целями. Во всех тех кружках и кругах, где я бывал как человек, которому иногда хочется просто стакан горячего чая, которому негде жить в данный момент, а по улице бродить скучно, холодно, все мои разговоры носили характер скорее чисто философский. Все встречи со всеми людьми и у Александровича, и у Шенгелии, и в кафе «Альказар», «Стойло Пегаса», за исключением последней беседы на квартире Анатолия Розанова и последних трех посещений Вяземского, были всегда случайны. А отсюда все возникавшие разговоры были непреднамеренны.

Всякий высказывал что он хотел. И как в данный момент думал. Никто не отступал от своих воззрений, нигде ни разу ни одна беседа не прошла организованно, то есть так, чтобы крайности суждений были сглажены, чтобы все сошлись на каком-либо одном в принципе, что прежде всего, по-моему, необходимо для всякой организации. Так по крайней мере было всюду в моем присутствии. Я не знаю ни одного случая, где бы было принято то или иное решение — общее и обязательное, по крайней мере, для присутствующих. Это мне давало повод думать, что я имею дело не с политическими организациями, ни даже с отдельными официальными представителями таковых, а, говорю, с людьми частного порядка. Правда, иногда были рискованные разговоры, но всегда возникавшие случайно, протекавшие хаотически. Единственный случай, когда Чекрыгин предложил мне вступить в фашистскую организацию как уже существующую. Но разве я мог хоть на секунду серьезно мыслить, что за Чекрыгиным и Полярным есть организация фашистов? Заранее условленное собрание у Розанова было созвано, повторяю, для создания легальной литературной газеты. Все последние разговоры были хаотичны, никаких решений не принималось. К тому же если бы в то время зашел принципиальный и конкретный вопрос о машинах, то я не верил тогда, да не верю и теперь, ни в изобретения, ни в изобретателя.

О существовании национального комитета, о существовании типографского шрифта или оружия или взрывчатых веществ я не знаю. И никто мне об этом не говорил.

Что касается лично меня, то в этом направлении я не предпринимал ни одного делово-конкретного и вообще никакого шага. Даже ни разу не вносил каких-либо конкретных предложений, опять-таки кроме литературных машин — где и как достать таковые. Об изобретении крыльев я узнал, когда спросил. Спросили меня Розанов и Никитин, не могу ли я где достать несколько пудов каучука для того, чтобы дать этому изобретателю. Если не ошибаюсь, он хотел приготовить непромокаемую ткань домашним способом для крыльев своего аппарата. Никаких конкретных предложений насчет приобретений денежных средств я ни от кого, кроме Полярного и Мишеля, не слыхал. Фальшивую монету, то есть выделку таковых, я отверг.

Приписываемый мне план экспроприации я ни разу не предлагал осуществить или серьезно думать об этом не думал.

Предложение Вяземского, которое было мне сделано за несколько дней до его отъезда, я принял один, ни с кем не советовался. Во-первых, советоваться было не с кем, а во-вторых, я не вполне верил ему, да и сам Вяземский даже в том случае, если он уедет за границу, обещал достать денег не наверное.

Вопрос о деньгах у меня бывал еще с Шенгелия. Но здесь деньги нужны были для издательства, которое было бы при Союзе. О том, что мне предложено достать для меня же деньги, я как будто бы ему говорил, но это было после предложения Вяземского, кажется, в присутствии Ситницкого, которого я видел раз у Шенгелия и раз в «Альказаре». Кстати, Ситницкий говорил мне, что он пишет научно-экономическую работу и по частям эту работу где-то печатает. Где — не знаю.

Рассуждая серьезно с Ситницким — он произвел на меня серьезное впечатление, — мы говорили о том, что, если не будет тех или иных реформ, может случиться, что года через три, но не раньше, может вспыхнуть стихийное недовольство. И вот, чтобы не допустить господство реакции и монархическую диктатуру, нужно всем честным, мыслящим людям быть к этому готовыми. Всем нам, это было мое убеждение, за исключением фашистов, о которых я уже говорил, деньги нужны были не на контрреволюцию и прочие штуки, а исключительно для того, чтобы иметь возможность работать.

Как мыслил профессор Головин, я не знаю. Он был крайне сдержан. Ни о каких деньгах я от него не слыхал. На мою фразу приблизительно такого смысла — «если вы считаете монархию лучшей системой государственного управления, почему вы не сохранили ее?» — он отвечал, что он занят научной работой в НИИ у Макла-

кова, от которого подвергался преследованиям. А теперь он уже стар, его время прошло.

Итак, если у ГПУ имеются данные о существовании каких-либо организаций как таковых — с программой, с дисциплиной, со средствами, — то я, честным словом поэта, гражданина, говорю, что никто из указанных выше лиц, где я бывал, мне ни разу ничего не говорил об этом. А сам я увидеть какие-либо признаки единомысленной организованности не мог. Людей, которых я видел за весь год несколько раз, естественно, знать не мог. Из 365 дней я видел их в продолжение трех, пяти дней. И если высчитать все наши встречи, что из них делал каждый, как думали остальные триста шестьдесят дней, конечно, судить мне трудно и строить догадки было бы с моей стороны нечестно.

Те люди, среди которых я большую часть года прожил,— студенты, поэты и писатели — действительно крайне нуждаются, сплошь и рядом не имеют ни жилья, ни одежды. Речь о деньгах вели постоянно. Постоянно делали всевозможные предположения. Предлагались всяческие фантастические предложения, но прошел год — и никто никого не убил, не ограбил, не экспроприировал. Пройдет и еще сто лет. И, живи из них каждый, можно с уверенностью сказать, что все будет так, пока они не сопьются и не женятся, а другие не сделаются знаменитостями, а третьи кончат свою учебу и станут тихими, работящими гражданами...».

Все что угодно, только не организация, только не политическая. Хитро-деловитый Кудрявцев и наивно-простоватый Дурново, и все прочие. Конечно, если взглянуть на всех этих людей серьезно, то, принимая каждого в отдельности за что угодно, никому, я думаю, вполне серьезно не представится угодным думать, что из этого состоит или хотя бы могла состоять политическая или безразлично какая организация.

Мне неудобно сознаваться, но это — так. Это — литературный, живой материал, притом великолепный по многообразию характеров для нашего времени в целом. Материал для романа. К тому же у меня, повторяю, ни пищи, ни крова, ни знакомых, кроме вышеуказанных лиц, и нет, и не было. Я у них и пил, и ел, и, наконец, одевался и спал.

Я не знаю, это вам виднее, насколько я, взятый вместе со всеми этими людьми, а без них я давно бы сдох с голоду или стал хитрованцем, представляю опасность для государства трудящихся. Я не боюсь смерти. Но мне не хочется умирать как врагу власти рабочих и крестьян, с которыми связана вся моя жизнь, все, все лучшее, что есть у меня в душе, для которого я берег мои лучшие чувства и мысли. Я не хочу быть белогвардейским святым. Ни по опыту всей моей жизни, ни по роду всей моей прошлой работы я органически не могу быть контрреволюционером. Не был и не буду! Если вы подарите мне жизнь, буду тем, чем я был. А я был всегда честным гражданином, и потом: история с Вяземским и с теми разговорами — это был только крик отчаяния. А мой национализм совсем не тот погромный, и я уже открыто заявлял — он покоится на великом принципе Ильича — самоопределении наций, советской власти, за которую я все же боролся и считаю единственной и никакой другой не мыслю.

Примите мое раскаяние и, если можно, оставьте мне жизнь.

17 ноября, А. Ганин.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО СЛЕДСТВЕННОМУ ДЕЛУ, ПОДПИСАННОМУ НАЧ. 7-го ОТДЕЛА СО ОГПУ СЛАВОТИНСКИМ И СЛЕДОВАТЕЛЕМ ВРАЧЕВЫМ

«Обстоятельства дела. В июле месяце прошлого, 1924 года в СО ОГПУ поступили сведения о том, что в Москве группа литераторов с целью борьбы с соввластью приступает к образованию террористической организации. Выясняя сущность и направление данной организации, выявляя участников ее, СО ОГПУ в конце июля месяца установил, что наиболее активно проявляющие свою деятельность были поэты — Ганин Алексей Алексеевич, Чекрыгин Петр Николаевич, Дворяшин Виктор Иванович, Галанов Владимир Михайлович. Эти лица, сугубо осторожно действуя в направлении вербовки новых членов из своего круга поэтов, литераторов, артистов и студенческой среды, вскоре вокруг себя сгруппировали исключительно «русских» людей, имевших за собой контрреволюционное прошлое. Последнее обстоятельство побудило СО ОГПУ рассматривать зарождающуюся организацию как ярко выраженную национальную с явно фашистским уклоном».

«Цель Ордена русских фашистов — организация противников марксистской идеологии или уничтожение в государстве российском марксизма, свержение власти и замена ее властью неограниченной диктатуры русских фашистов с тем, чтобы:

а) восстановить в России ее права и титулы дворян;

б) возвратить владельцам все конфискованные, движимые и недвижимые собственности, как-то — земли, имения, фабрики, заводы, торгово-промышленные предприятия, дома, ценности и тому подобное;

в) разрешение возвращения эмигрантов;

г) полная амнистия, освобождение из всех тюрем и концлагерей лиц, осужденных советской властью за политические преступления;

д) объявление православной религии господствующей церковью, возглавляемой патриархом, святейшим синодом и находящейся под покровительством государства».

«Необходимо отметить, что, имея перед собой задачу произвести террор над членами совправительства, организация наметила в первую очередь жертвами Калинина, Рыкова, Дзержинского, Луначарского, К. Радека и Зиновьева. В то время, когда организация вырабатывала план действий, в Москве происходил V конгресс «Коминтерна». И члены организации решили взорвать здание Коминтерна в момент происходящего заседания. Вскоре организация сделала первые шаги в направлении выполнения поставленной цели. Было приступлено к вербовке новых членов организации. К указанным выше лицам примкнул поэт Никитин Григорий Петрович. Десятого августа Никитина посетили Ганин и Дворяшин. И первый предложил последним произвести экс над бывшим председателем ЧК неким Драгомерецким, который якобы хранит у себя много ценностей. В этот же день Ганин в присутствии Дворяшина и Никитина в комнате, занимаемой последним, написал текст предназначенной к выпуску прокламации. Воззвание было обращено к гражданам великой России, а в тексте указывалось — «неужели вы ослепли или потеряли разум? Оглянитесь кругом, размыслите по совести, спросите сами себя, куда мы идем, на что надеемся. Малая кучка людей — пройдох и авантюристов, воров и мошенников слетелась со всех сторон мира и царствует безотчетно над великой страной. Эта банда располагает судьбами миллионов людей, распоряжается трудом и покоем миллионного»... и так далее.

В одной не так устаревшей рукописи Короткова*, относящейся примерно к 1923, а возможно, к 24-му году, трактуется национальный вопрос в сопоставлении с вопросом о признании Союза совреспублик иностранными державами. Здесь автор пишет: «на глазах всего мира происходит фальсификация самоопределения. Весь мир молча созерцает эту комедию, делая вид, что не понимает, не замечает ее истинной сути. Ломают копья — признать или не признать. Кого, что? Россию, государство, которое не признает право собственности, долгов, обязательств чести. Такой России нет. Она померкла. Та, прежняя, Россия молчит. Она дожидается, когда пелена спадет с глаз честного человека. Если эта новая Россия признает долги и права частной собственности, — разве этим она превратится в прежнюю, старую, которую нужно и можно признать». Этим не только определяется взгляд Короткова на признание иностранных держав СССР как государства, но в этом месте тенденция к подрыву международных отношений.

Ниже в этом же документе есть следующее: «нас без нашего участия самоопределяют по-своему. В случае, если бы мы пожелали определиться без их помощи, нас будут расстреливать, мучить голодом. Все мыслящее подверглось разгрому, все честное уничтожено. Все талантливое искажено. Расстреливают даже за одну мысль о протесте, не говоря уже о самом протесте. Истязания и пытки — как в средние века».

Такими словами расценивается автором отношение советской власти к национальному вопросу и такими словами описывается положение «здравомыслящих» в Советском Союзе.

В конце рассматриваемого вышеуказанного документа говорится: «...доколе же нам терпеть это иго. Своими представителями мы избираем Польшу, Чехословакию, Югославию и Болгарию. Они — наши братья. Мы их просим и уполномачиваем в лице их представителей просить народы в лице их правительств обсудить вопрос о самоопределении наций. Мы просим их возбудить перед Лигой наций и еврейский вопрос; ибо не может первое разрешиться без последнего. Своевременное решение этих вопросов не в наших только интересах, но и в интересах народов всего мира. Поэтому то, что казалось невозможным, — захват России осуществлен. А теперь они, развивая свою ударность, приступают к захвату Азии, чтобы бросить ее на Европу и обеспечить себе гегемонию».

Несомненно, вышеприведенные документы представляют большую ценность для следствия. Во-первых, потому что они неоспоримы, а во-вторых, надо заметить, что указанные ниже приведенные документы имеют даже схожественность с тезисами Ганина, из чего следует, что в составлении тезисов участвовал не только один Ганин, но и Коротков.

Подводя итоги результатов ликвидации организации, необходимо полностью привести здесь один из документов, также обнаруженных при обыске у Короткова.

«Демократический организационный комитет крестьян-великороссов с единомышленной, единородной ему национальной интеллигенцией и части рабочего класса.

Мы, крестьяне-великороссы, бурлаки, лапотники, идейно и кровно объединенные составом нашей национальной интеллигенции, преступно и по неразумению преступно уничтоженные рабочим классом, спровоцированные на это посторонней ему силой и имеющей свои особые задания и цели, а также из части этого класса, который в общей своей массе поддался на провокацию, направленную на захват его психологии, провокацию, организованную посторонней ему силой, ничего общего с ним не имеющий и сделавший его лишь орудием своих достижений. Мы на исходе седьмого года захвата власти пролетариатом шлем всем вам, французские крестьяне из тех, кто не отрекся от солидарности с нами, свой дружеский, сердечный и горячий привет».

«После нашумевшего процесса четырех поэтов — Ганина, Есенина, Орешина, Клычкова, обвинявшихся в антисемитской агитации, Ганин, как один из проходивших по этому делу, в кругах националистически настроенной интеллигенции приобретает авторитет русофила».

Второй обвиняемый — Петр Чекрыгин при допросе от 6 ноября указал, что к деятельности организации он имел косвенное отношение, что лишь однажды кто-то ему дал прочесть программу Ордена русских фашистов, в которой было тринадцать пунктов. «На последней странице листа, — заявляет Чекрыгин, — собственноручно добавил два пункта — переселение евреев на свою родину в Палестину и эмансипация индивидуальности в порабощенном русском человеке».

«Заслуживает также внимания следующий случай, имевший место в день ликвидации организации 1 ноября прошлого года. Ответственные сотрудники ОГПУ товарищи Бельский, Агранов, Славотинский, Якубенко и другие, законно явившись на квартиру Чекрыгиных, застали там пьяную компанию поэтов, литераторов, проституток. Был предъявлен ордер на право ареста Чекрыгиных и у присутствующих спросили документы. В ответ на предложение сотрудников некоторые из пьяной компании бросились в драку, нанеся трем сотрудникам побои. Этот характерный случай лишний раз наглядно вскрыл картину вышеописанного и доказал способность этих лиц на любое преступление».

«Считая следствие по настоящему делу законченным и находя, что в силу некоторых обстоятельств передать дело для гласного разбирательства в суд невозможно, полагали бы войти с ходатайством в Президиум ВЦИК СССР о вынесении по делу Ганина, Чекрыгина, Чекрыгина, Дворяшина, Галанова, Никитина, Кудрявцева, Александровича-Потеряхина, Короткова, Головина, Глубоковского, Колобова, Сахно и Заугольникова внесудебного приговора.

Уполномоченный 7 отдела СО ОГПУ *Врачев* — согласный
Нач. 7 отдела СО ОГПУ *Славотинский*».

* Коротков — один из участников группы А. Ганина.



Из-под глыб

Предваряя знакомство читателей с материалами нашей новой рубрики, мы хотели бы сказать несколько слов о том, как она задумывалась и какие цели преследует. Обращаясь в ней к истории самого новейшего времени, нашего вчера, — мы ставим перед собой задачу познакомить нашего читателя с тем путем «из-под глыб» к свету, которым шло национальное сознание в пролетарскую эру. Здесь было всё — и упование на либеральные «свободы» и «гуманизм», и упорные постановки «еврейского вопроса», и «бердяевский соблазн», и утопические надежды на перерождение коммунистической партии в духе державности и даже — Православия. И здесь были все — и математик Игорь Шафаревич, и директор средней школы Леонид Бородин, и литературоведы Евгений Вагин, Вадим Кожинов, Михаил Лобанов, и священник отец Дмитрий Дудко, и Владимир Осипов, и прочие. прочие. Каждый в силу своих сил и способностей вносил толику в этот опыт.

Русская Новая Правая

Что за явление может скрываться за таким названием? В двух словах, сама Новая Правая (название это неудачная русская калька) — это направление современной мысли в Европе, оформившееся в кругах интеллектуалов, около университетов и журналов, в послевоенные годы, а особенно, — в два последние десятилетия. Современный историк культуры и политолог Александр Дугин считает, что европейские новые правые внесли в европейскую культуру за последние 20 лет активной и интенсивной деятельности чрезвычайно много. Благодаря им сегодня в европейских университетах изучают геополитику Хаусхофера и труды Карла Шмидта, экономические теории Вернера Зомбарта и произведения Кнута Гамсуна. Основные их политические лозунги — «Ни коммунизма, ни капитализма, но третий путь», «Нет мондиализму, нет космополитическому Новому Мировому Порядку», «Да — Европе этносов, Европе ста флагов». Но самое интересное это то, что одновременно с европейскими новыми правыми в 60-е годы, в Советском Союзе, конечно, на несколько ином уровне, разрабатываются идеи, весьма близкие по духу. И разрабатывают их молодые интеллектуалы, объединившиеся в организацию с загадочной аббревиатурой ВСХСОН. На сегодня о Всероссийском социал-христианском союзе освобождения народа известно очень немного, хотя живы многие из всхсоновцев, хотя общепризнано, что это была самая крупная подпольная организация за всю послевоенную историю советской власти.

Второго февраля 1964 года в СССР возникла новая политическая организация. Первоначально она состояла из четырех человек, четырех выпускников Ленинградского Университета. Это были Игорь Огурцов, Михаил Садо, Евгений Вагин и Борис Аверичкин. Уже летом 1964 года организация пополнилась пятым членом: им стал Сергей Устинович, окончивший вместе с Огурцовым восточный факультет ЛГУ. Осенью вступил инженер Миклешевич, в декабре — Георгий Бочеваров. Последний был сыном видного болгарского коммуниста, приговоренного фашистским судом к смертной казни и бежавшего в Советский Союз. Здесь Бочеваров-старший был казнен как «враг народа». В январе 1965 года членом ВСХСОН стал химик Анатолий Ивлев, в апреле — востоковед Вячеслав Платонов, в мае — поэт Михаил Коносов, в октябре — Владимир Ивойлов и Леонид Бородин. По принятой на вооружение идее «троек», в каждой из троек, состоящей из командира, идеолога и контрразведчика, лишь командира знали оба других члена, незнакомые между собой. В уставе ВСХСОНа предусматривалось, что каждый член организации должен вовлечь в организацию не менее одного человека. Так возникали новые тройки в которых командиром становился тот, кто рекомендовал новых членов. Итак, во исполнение этого, Устинович в мае 1965 года вовлек Константинова, Миклашевич — своего сослуживца Бузина. В 1966 году Коносов вовлек Баранова, а также своего двоюродного брата Нагорного. В ноябре 1966 года Коносов вместе с Нагорным (по рекомендации Валерия Нагорного) принял в ряды организации будущего предателя Владимира Петрова, сотрудника Института оптики, чуть позже — Забака и Шувалова. Леонид Бородин тем временем вовлек Казичева, затем Гончарова и, в мае 1966 году, — литовца Иовайша. Друг Бородина экономист Владимир Ивойлов привлек к нелегальной деятельности своего коллегу Владимира Веретенова, Ивлев принял филолога Сударева. В июне 1966 года в ВСХСОН вступил искусствовед Николай Иванов, приведший с собой студента Театрального института Шестакова. Таким образом, к февралю 1967 года в рядах Всероссийского социал-христианского союза находилось 28 человек. Еще три десятка человек готовились стать членами ВСХСОНа. Среди кандидатов в члены были: студент истфака Абрамов, смотритель музея в Соловках Осипов, переводчик Балоян, сын ленинградского вице-адмирала Кулаков, экономист Елькин, аспирант ЛГУ Паевский, студент-экономист ЛГУ Андреев, внук министра двора при Николае II Фридерикс, аспирант Лисин, учитель Онуфриев, слесарь Статеев, студент Якимов и другие. Так реконструирует возникновение и становление организации в своей статье «Бердяевский кружок в Ленинграде»[1] организатор и редактор нелегального русского журнала «Вече» Владимир Осипов. Сама организация оказалась настолько фантастична в то время, что даже теперь ее участники смахивают на персонажей «Молодой гвардии». А тогда в госбезопасности просто не поверили провокатору Александру Гидони, который пытался провалить Союз, но просто был не в силах привести каких-либо доказательств. Провал все же произошел во взводе Коносова. Владимир Федорович Петров, сотрудник Ленинградского государственного института оптики (ГОИ), в заявлении от 4 февраля 1967 года на имя председателя УКГБ по ЛО генерал-майора Шумилова донес о существовании ВСХСОН, о своем членстве в Союзе, назвал тех, кого знал. После этого последовал немедленный разгром организации. Были арестованы около 30 членов ВСХСОН и 30 кандидатов, в основном это были молодые люди до 30 лет. В конце ноября и в начале декабря 1967 года 4 «главаря» были судимы при закрытых дверях. Игорь Вячеславович Огурцов, «глава организации», получил 15 лет заключения, Михаил Юханович Садо, «начальник личного состава», — 13 лет, Евгений Александрович Вагин («начальник идеологического отдела») и Борис Анатольевич Аверичкин («хранитель материалов организации») получили по 8 лет каждый. С 14-го марта по 5 апреля 1968 года были судимы рядовые члены. Из них 17 человек получили от 10 месяцев до 7 лет. Самые тяжелые сроки получили четверо, не пожелавшие раскаяться: Платонов (7 лет), Иванов, Бородин и Ивойлов (по 6 лет каждый). Финал этой истории Леонид Иванович Бородин изложил в стихах:

Вагоны прорешечены
Летят,
Ползут.
Куда везут?
За что везут?
Кого везут?
Глаза синей подснежниное
С враждой,
С любовью..
Кого везут?
— Мятежников!
Куда везут?
— В Мордовию!
. . . .
И глухо откликается:
— Предписано. Приказано
За дело, что не сделано,
За слово, что не сказано.
А в межколесной завязи
Горит мазут:
За что
Кого
Всегда везли, —
За что везут?

Каков же был круг идей Русской Новой Правой? Прежде всего, это решительный антикоммунизм. Раздел 1-й первой части Программы так и был озаглавлен — «Марксизм-ленинизм — тотальная идеология коммунистической бюрократии». Опираясь на идеи Милована Джиласа о «новом классе» коммунистической бюрократии, интеллектуалы из ВСХСОНа считали, что это учение враждебно человечеству. При этом они утверждали, что во всех социалистических опытах повсюду — от ГДР до Китая — определяющим является то общее, что присутствует везде: «Собственно марксизм, ленинизм, сталинизм, маоизм — все это последовательные звенья одной цепи. Все учение логически взаимосвязано и не поддается частичной ревизии. Оно может быть после признания его основных предпосылок ложными отвергнуто только целиком». Однако наряду с этим, во-первых, ясно сознавалось, что коммунизм является лишь болезненной реакцией на капитализм Запада, закрепившей все вредные тенденции капиталистического общества в сфере экономики, идеологии, политики, а главное — «Коммунизм довел до предела начатую капитализмом пролетаризацию масс». А во-вторых, революционное движение русских рабочих, предшествовавшее революции, принималось как объективная данность без серьезных попыток далеко отступить от казенного объяснения. И более того, свои собственные действия идеологи Союза представляли как продолжение этой традиции. Анализируя историю XX века, они провели параллель между национал-социализмом (подразумевая его германский вариант) и социализмом, находя их поразительно похожими, но оговариваясь, что фашизм — это, в свою очередь, реакция на коммунизм. Анализируя противоборство времен 2-й мировой войны, всхсоновцы отмечали: «В борьбе с Германией народ защищал свою Родину, а не коммунистический класс... Германия, начавшая войну за мировое господство и проводившая политику истребления покоренных народов, восстановила против себя могучий союз народов и была разгромлена как государство-агрессор».

Далее нужно отметить безусловное преклонение всхсоновцев перед традицией,

[1] «Вестник РСХД». № 104—105. 1972 г.; «Посев». № 11. 1972 г.

ценностями почвы. Исходя из этих ценностей и мыслилось будущее обустройство России, освобожденной в результате широких выступлений масс. И вот здесь-то и нашли себе применение идеи, усвоенные из ряда работ Николая Бердяева и прежде всего — «Нового средневековья»: «Социальная жизнь должна <...> сделаться более природной, менее искусственной. Люди, вероятно, будут группироваться и соединяться не по политическим признакам, а по хозяйственным, непосредственно жизненным, профессиональным, по сферам творчества и труда. <...> Будущее принадлежит синдикалистскому типу общества, конечно, не в смысле революционного синдикализма»[1]. В документах ВСХСОН как раз и предпринимается попытка предложить модель устройства такого корпоративного общества.

Михаил РЫЖАКИН.

[1] Николай Бердяев. «Новое средневековье: размышление о судьбе России и Европы». Цит. по Джон Данлоп. «ВСХСОН». YMCA—PRESS, 1975.

ЕВГЕНИЙ ВАГИН

БЕРДЯЕВСКИЙ СОБЛАЗН

(«ПРАВЫЕ» В ОППОЗИЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ 60—70-х ГОДОВ)

«НОВОЙ русской правой» назвал нас А. Янов в одноименной своей книге на английском языке, написанной для западного читателя и перепечатанной недавно в журнале «Октябрь».

Да, нас — участников социал-христианского движения, и примкнувших к нам впоследствии, уже в лагерях, «русских националистов» — можно называть правыми, но при корректном пользовании этим термином.

Своими духовными учителями мы признали, уже в конце 50-х годов,— славянофилов и Достоевского, Вл. Соловьева и К. Леонтьева, Н. Бердяева (без его «советского патриотизма») и С. Франка, как автора книги «Духовные основы общества». В «правизне» названных мыслителей сомневаться как будто не приходится (особенно если исходить из критериев, которыми пользуются авторы, подобные А. Янову); обратились же мы к ним в то время, когда они еще не «вошли в моду», не были «канонизированы» конформистским интеллигентским сознанием. Наши духовные ориентиры на Западе тоже, как правило, были традиционалистскими, «правыми»,— будь то Х. Ортега-и-Гассет или Ж. Маритэн, Т. С. Эллиот или О. Хаксли. В «левизне» Э. Мунье, как и «уклонениях» того же Н. Бердяева мы разобрались значительно позже, углубляясь в русскую идею и православную традицию, оформляя более строго наше мировоззрение. Это было уже не чисто интеллектуальное обращение к запретным и зовущим именам в духовном вакууме советского университета, а переживание живой реальности, плод приобщения к духовному опыту нашего страдающего народа. Здесь уже не оставалось ничего «левого» в смысле идеологическом; правость же следовало понимать как верность Традиции — национальной и религиозной. Но не такими, повторяю, мы были вначале...

Когда 1956 год (докладом ли Хрущева на XX съезде, или венгерской антикоммунистической революцией) «открыл глаза» людям, способным мыслить и жаждавшим справедливости, образовалась дилемма, выход стали искать в двух направлениях. Одни (казалось, что их большинство, так как голос их был громче) защищали чистоту первоначальных идеалов — «чистые ленинцы»; или же стремились как-то приспособить эти идеалы к изменившейся обстановке — отсюда всяческие «ревизии» марксизма, подновленные социалистические утопии, вплоть до 1968 года и «социализма с человеческим лицом». Но все это было продолжением левых настроений, идей, левого мировосприятия. Так казалось нам.

Но уже тогда обозначился, менее заметно, совсем негромко, и другой выход, в совершенно ином направлении. Он диктовался тотальным отрицанием всей системы и породивших ее идеологических «корней». Это вовсе не был традиционный российский нигилизм в какой-то новой ипостаси, ибо отрицание базировалось на положительных ценностях, извлеченных из прошлого, сохраненных от прошлого.

Оказались еще и живые носители таких ценностей, чудом уцелевшие после планомерного и систематического уничтожения «царской России» коммунистическим режимом: отдельные личности, нередко сами прошедшие лагеря и тюрьмы или потерявшие своих близких в кровавой мясорубке 20-х, 30-х, 40-х годов. Эти люди, каждый из них, невольно становились естественными центрами, вокруг которых собиралась ищущая молодежь; живые носители Традиции, эти люди хотели передать ее в надежные руки. Все делалось без шума и рекламы; наученные горьким опытом, они хотели передать своим молодым друзьям и завет максимальной осторожности и сдержанности. Их духовный максимализм не искал выражения в какой-либо внешней активности, напротив, они стремились удерживать слишком горячие головы, в то же время постоянно подбрасывая «материал», воспламенявший умы и сердца...

Будущий историк идей и общественных движений нашей эпохи непременно должен будет учесть эту ушедшую далеко в глубину живую струю национально-религиозной традиции.

С тем, что вышло на поверхность или было раскрыто, можно было встретиться в тюрьмах и лагерях. Так подтвердилась, например, реальность Катакомбной Церкви, в самом существовании которой (или — в ее масштабах) сомневались многие. Но выше имелось в виду другое: заставленные книгами каморки петербургских или московских интеллигентов, родившихся еще в прошлом веке, истинные ценности сохранивших в своих душах. К ним, естественно, тянулись ищущие и вопрошавшие, ощутившие уже свою чуждость Системе.

Многие из нас свято хранят память о духовных наставниках, встреченных в решающий момент жизни и определивших ее дальнейшее наполнение и направление. Это можно назвать — поворотом вправо, постепенным открыванием той истины, что «Церковь есть не только корень русской культуры.., но она есть и вершина культуры» (В. Розанов).

Такое убеждение крепло не только под формирующим духовным влиянием наших наставников, но и в процессе углубления в русскую литературу. В. Розанов где-то говорит о том, как много может дать для образования личности одно лишь продумывание всего Л. Толстого или Достоевского. Правда, такая работа «продумывания» была страшно затруднена — всей системой университетского образования, всей атмосферой, спертой, удушливой, которая искусственно поддерживалась в обществе. То, что мы узнали о классиках в средней школе, многих оттолкнуло от них на всю жизнь. Но, с другой стороны, постоянное и настойчивое повторение навязших в зубах сентенций всех этих Белинских, Чернышевских и Добролюбовых рождало такую степень отвращения к ним, что в поисках противоядия побуждало обращаться к тем, кого с такой же унылой настойчивостью шельмовали «реакционерами», «мракобесами» и «черносотенцами». Перекормленные атеизмом, мы рвались — уже из одного только «интеллектуального любопытства» — заглянуть, а что же такое «церковники» и Церковь.

Не следует преувеличивать значение этого психологического отталкивания от принудительно-навязываемого, многие этим стереотипам поддавались — по умственной лени или из соображений карьеристских,— но и не отметить его нельзя.

В таких ненормальных условиях «правым» становилось все запретное, ибо оно оказывалось неизмеримо интереснее, сложнее и разнообразнее тех эрзацев духовной пищи, которая не могла напитать. Вкус «запретного плода» придавал всему дополнительную остроту: обращение к запрещенным или замалчивавшимся именам и книгам несло в себе привкус оппозиционности, глубокий смысл которой осознавался лишь постепенно.

И еще один момент, существенно важный, не книжный, а жизненный. Тонкий наблюдатель современной русской жизни, проведший десять лет в Советском Союзе, итальянский посол в Москве Ф. Сенси указал в своей книге на исключительную роль, какую продолжают играть в этой жизни — бабушки, православные старые бабушки. «В действительности именно эти бабушки безграничной России и правят страной, — пишет итальянский дипломат, — правят, пользуясь одним проверенным способом — любовью. В этих пределах их власть неоспорима; она превышает даже власть Политбюро, которое всегда право, — но члены Политбюро в конце концов уходят, а бабушки остаются». Ф. Сенси они представляются «самым глубоким выражением русской души».

Еще до того, как мы познакомились с осколками былой петербургской интеллигенции, до того, как начали осваивать жадно богатства русской духовности в старых дореволюционных книгах,— наши старые, «дореволюционные» бабушки своими ежевечерними молитвами, своими иконками, своими ненавязчивыми поучениями (которые по крайнему тогдашнему нашему неразумению, подогревавшемуся школьным безбожием, казались скучными и бесполезными) воспитывали наши души, стремясь уберечь их «от лукавого», готовя их к сознательному приятию духовного наследства, завещанного нам предками. Это наше национальное достояние, сильно упрощая, можно назвать «правым» — для окончательного размежевания со всеми видами и формами левого беснования.

Мы — это все те, чьи судьбы так или иначе оказались связанными с историей ВСХСОН, нелегальной антикоммунистической организации начала 60-х годов, известной также под неточным названием «Бердяевский кружок в Ленинграде».

Хотя на двух судебных процессах (в ноябре — декабре 1967 года и в марте — апреле 1968-го) предстали 28 обвиняемых, в процессе долгого следствия было опрошено более трехсот свидетелей, так или иначе причастных к движению. Уже в

О СЕБЕ. Родился в Ленинграде 12.4.1936 г., среднюю школу окончил в Пскове (1955), после чего снова оказался на берегах Невы, в Университете, где учился на филологическом факультете. Затем был принят в аспирантуру Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), по окончании которой (1966) начал работать в Институте научным сотрудником. Был ученым секретарем группы, готовившей издание полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского. Одновременно был одним из организаторов нелегального Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа (ВСХСОН). Как один из руководителей, был судим по статье 64 УК РСФСР за «измену родине». Срок отбывал в мордовских лагерях. Спустя 8 лет, в 1975, освободившись, работал кочегаром и подсобным рабочим, пока осенью 1976 не выехал с женой и дочерью на Запад. С 1979 года преподаю в итальянских университетах — в Венеции, Перудже, Риме — русский язык и литературу. Принимал и принимаю участие в издании журнала «Русское возрождение» (с 1978) и альманаха «Вече» (с 1981). Сейчас работаю на радио. Живу в Риме, что не мешает мне чувствовать себя вполне русским человеком.

процессе формирования первоначального ядра будущей организации только мне лично пришлось иметь дело с несколькими десятками лиц — самого разного возраста и социального положения, — которые идеологически и духовно эволюционировали в «нашем» направлении, которым были близки наши идеи, но которые по разным причинам отклонили приглашение вступить в нелегальную организацию. Некоторые из них были признаны нами потенциальным «резервом» на будущее. Дело в том, что предполагалось — помимо строго законспирированного организационного «ядра» — создать широкое легальное движение, участники которого открыто стремились бы к преобразованиям в стране в направлении христианской реконструкции общества.

Так мысливших людей, повторяю, уже в то время было достаточное количество (как о том свидетельствуют и некоторые участники Демократического движения, с которыми у нас контакта практически не было), — и не только в двух столицах, но и в провинции. Наши выводы, наша уверенность, нашедшие отражение в Программе ВСХСОН, не были просто контаминацией «книжных» идей, но во многом явились плодом личного знакомства с людьми одного с нами настроения, сходной духовной направленности. В этом смысле Социал-христианский союз никак не был изолированным явлением, несмотря на свою подпольность. В концентрированном виде он заключал в себе те духовные потенции, которые нашли выражение — одновременно или несколько позже — в самых разнообразных (преимущественно легальных, открытых) формах того, что называют Религиозным (или Христианским, или Православным) Возрождением в современной России 60—70-х годов.

Оставаясь в рамках предложенной мне темы, я ограничусь исключительно духовно-идеологической стороной деятельности социал-христиан, не останавливаясь собственно на «истории» организации. Мне представляется это важным и интересным, как отражение более широкого круга настроений, имевших тогда место, но о которых фактически еще ничего не написано.

Руководителей ВСХСОН обвинили в подготовке заговора с целью «вооруженного свержения советского государственного и общественного строя и установления в СССР буржуазного режима» (ст. 64 УК РСФСР); рядовых членов организации на следствии и во время суда стремились уличить в совершении (или по крайней мере подготовке) разного рода «подрывных акций». Но фактически главной и чуть ли не исключительной формой деятельности социал-христиан за все время существования Союза было распространение литературы и Самиздата (в которых, разумеется, были найдены все признаки «антисоветчины»). Преобладали же во всей этой литературе материалы религиозно-философского характера.

Следует подчеркнуть особо, что распространение этих материалов было строго выборочным: в первую очередь среди членов организации (для которых были составлены списки «обязательной литературы») и лишь затем — среди потенциальных «кандидатов». Можно сказать, что литература «обращалась» в духовно однородной среде за время существования ВСХСОН, — пока мы могли контролировать распространение.

В этом плане участников социал-христианского движения можно рассматривать как особого рода «самиздатчиков». Именно в те годы Самиздат начинал широкую циркуляцию в кругах интеллигенции, захватывая все новые и новые слои. Наш Семиздат был особого рода (помимо «общего», которым мы охотно пользовались по мере возможностей); его материалы составляли не только сюжеты острого политического и общественного звучания, но и источники религиозно-философского свойства. Впоследствии и в «общем» Самиздате стали заметно превалировать именно такие материалы — с постепенным переносом центра тяжести с «политики» на «религию». В этом можно усмотреть некоторую закономерность, которую мы как бы «предугадали».

Можно утверждать, что в каком-то смысле социал-христиане положили начало такого рода религиозному Самиздату, — в те годы, когда только зарождалась идея организации и едва начали оформляться основные положения ее Программы.

Выше я уже сказал, что наименование (Вл. Осиповым) ВСХСОН «бердяевским кружком» представляется мне неполным и неточным. И все же в таком наименовании есть свой резон. Не весьма корректная реплика В. Буковского по адресу ВСХСОН — «как будто без всяких организаций полстраны не прочитало Бердяева» — в данном случае бьет мимо цели. Ясно, что организация была создана не для того, чтобы всем вместе «читать Бердяева», но если говорить о широком интересе к этому мыслителю в «стране», — он вырос именно после нашего нашумевшего дела.

Увлечение Н. Бердяевым — страстным и противоречивым, бурно увлекающим (но порой — на ложные пути) — я бы назвал сегодня бердяевским соблазном.

Основной мотив жизненной, человеческой судьбы Н. Бердяева, центральная интенция всего его философско-публицистического творчества — искушение свободой. «Пленником свободы» назвал его один западный автор. В контексте нашей эпохи, на фоне грандиозного «восстания масс» — тоталитарных движений и режимов XX века — его личность, его «учение» приобретают смысл не только глубоко актуальный, но и остро трагический. Ощущение какой-то изначальной трагичности усугубляет явные противоречия этой исключительно одаренной личности: аристократ в революции, интеллигент в богословии, персоналист, превыше всего ставивший категории человеческого достоинства и свободы, — и увлекавшийся, пусть до известной степени, то итальянским фашизмом, то послевоенным «русским» коммунизмом. Но и при самом строгом подходе к Бердяеву от него останется много такого, что необходимо продумать и прочувствовать нам его ближайшим потомкам.

Мыслящим меньшинством в современной России безусловно разделяется и ныне убеждение Бердяева, высказанное со всей свойственной ему категоричностью: «Творческие проблемы в нашу эпоху суть прежде всего проблемы религиозные и духовно-культурные; потом проблемы социальные, проблемы новой организации труда и хозяйства. Проблема политической власти разрешима лишь при создании духовных и социальных условий. Тогда будет установлена правильная иерархия ценностей, которая сейчас нарушена» (Н. Бердяев, «Новое средневековье»).

В сущности, это — манифест и нынешних представителей духовной оппозиции в Советском Союзе, с их преимущественным, подчеркнутым вниманием к проблемам культурным и религиозным, с их защитой человеческой личности, ее достоинства и ее прав. Персоналистическим, по сути своей, видением гражданина будущей свободной России.

Для этих людей, мужественных борцов за восстановление попранного в тоталитарном коммунистическом государстве достоинства человеческой личности, сохраняют всю свою силу слова мыслителя, для которого свобода была — высшей ценностью:

«Не новые идеологические цели нужно ставить политике, а новые духовные основы и истоки для нее найти, — то есть исходить из духовного возрождения, из нового духа жизни. Это предполагает ограничение сферы политики, недопущение ее главенства над жизнью и ее вампирического развития. Нужны не новой идеологии люди, а нового духа люди... Подлинное реальное соединение людей никогда не может быть основано на идеологиях и отвлеченных целях; подлинное реальное соединение людей есть соединение по духу, по тому, кто люди, из какого источника пьют они воду жизни» (Н. Бердяев, «Дневник философа»).

В такой духовной перспективе ВСХСОН можно рассматривать как «бердяевский кружок»...

«Прагматически» Н. Бердяев представлял для нас интерес прежде всего как историк «русской идеи». Его работы «Русская религиозная идея» (в сборнике «Проблемы русского религиозного сознания» 1924 года), «О характере русской религиозной мысли 19-го века» (в журнале «Современные Записки» 1930 года), книги о Хомякове, Достоевском, К. Леонтьеве и, конечно, особенно «Русская идея» (1946) знакомили с богатым разнообразием проблем русской духовной истории. Многие впервые из сочинений Бердяева узнавали о существовании таких русских мыслителей, как Н. Федоров, Ф. Бухарев, Несмелов. Всеми нами безусловно принимался бердяевский тезис о преобладающем религиозном характере русской мысли вообще. Но протест и недоумение вызвали утверждения философского свойства в самом конце «Русской идеи». В книге его «Истоки и смысл русского коммунизма» абсолютно неприемлемым для нас был тезис о «русских корнях» коммунизма. Отсюда началось разочарование в Бердяеве и постепенный отход от него.

Но и до сих пор для многих из нас сохраняют все свое значение лучшие, самые глубокие и блестящие книги Н. Бердяева — «Новое Средневековье» и «Философия неравенства». Первую удалось фотокопировать с экземпляра, который я выпросил на одну ночь у одного знакомого библиофила *; из второй книги тогда были только выписки, сделанные мною в спецхране одной из больших московских библиотек, где я был в «научной командировке». То, за что Бердяева сильно критиковали в русской эмиграции (даже в одном некрологе!), оказалось нам тогда особенно близким духовно и идейно. Именно здесь, в «Новом Средневековье», Бердяев высказал — едва ли не в первый (и последний) раз — конструктивную идею в плане «социального христианства», которая горячо обсуждалась нами и определенным образом отразилась в Программе.

Вот как сжато резюмировал содержание этой замечательной книги Ф. Степун в своей полемической статье против Бердяева: «Новое Средневековье» будет в высшей степени народно... в судьбах государства будут играть большую роль трудящиеся массы, народные слои... в России господствующую роль будет играть крестьянство; ...массы эти сами будут стремиться к профессиональному, корпоративному представительству и самоуправлению, к «советскому принципу», в истинном, реальном смысле этого слова... возможно, что единство общества и государства выльется в формы монархические, но принудить народ к монархии нельзя... монархия и для монархиста не есть конкретная задача... будущие общества будут, конечно, трудовыми обществами... праздность привилегированного слоя новой истории прекратится... аристократия сохранится навеки, но будет скорее психической, чем социологической категорией... будет поставлена проблема о религиозном освящении труда... выработается особое монашество в миру... центр тяжести будет перенесен со средств жизни на цели жизни... большую роль будет играть женщина...».

Замечу попутно, что критика Ф. Степуна значительна и серьезна. Он справедливо говорит о «сверхполитическом идеале» «Нового Средневековья», который непременно нуждается в уточнении, как всякая общественно-политическая формула; уточнении главным образом путей, ведущих к его осуществлению. Если бы мы в своей Программе ограничились лишь переложением идей Бердяева (или кого-то другого), если бы просто сконструировали некую идеальную модель (идеальную — не в смысле совершенства), — все справедливые упреки критиков Бердяева можно было бы обратить и против нас. Но нами был выбран и путь, вполне определенный. Мы не

* Теперь можно назвать и его фамилию. Это был М. А. Сергеев, революционер в молодости, впоследствии видный исследователь Сибири, директор издательства «Прибой» в Ленинграде в 20-е годы. Я был знаком с ним в последние годы жизни, когда он совершенно избавился от ранних социал-демократических иллюзий я был острым критиком режима. Его богатая библиотека после смерти была распродана; кому достался экземпляр «Нового Средневековья» — не знаю.

просто обозначили идеи, мы искали возможностей их реализации. Но до этой стадии дело просто не дошло...

Отмечу, что у Бердяева было заимствовано и обозначение коммунистического режима как «сатанократии» (вошло в Программу ВСХСОН) — что так взволновало оппозиционеров-либералов, критиков нашей организации.

Особенно важным считали мы распространение небольших по объему работ Н. Бердяева религиозно-публицистического характера; с ними мы были согласны почти целиком. Эти его статьи служили как бы подготовкой к восприятию нашей Программы; с нею мы знакомили только тех, кому затем предлагали вступить в организацию. Но бердяевские работы было разрешено распространять и шире, его подход к проблемам политическим и общественным представлялся нам безусловно правильным.

Это — следующие статьи и брошюры русского мыслителя: «О достоинстве христианства и недостоинстве христиан» (1928), «Христианство и активность человека» (1929), «Судьба человека в современном мире» (1934) — особенно ценная, пользовавшаяся большим «спросом», «Христианство и опасность материалистического коммунизма» (в сборнике статей «Православное Дело», 1939).

Как философ Н. Бердяев был для нас прежде всего выдающимся представителем русского (и европейского вместе с тем) персонализма, противопоставлявшегося марксистскому отрицанию личности. «Пропагандистски» были важны, и всячески рекомендовались, тоже небольшие его статьи из эмигрантских журналов (переписанные, перепечатанные и фотокопированные): «Персонализм и марксизм» («Путь», 1935), «Неогуманизм, марксизм и духовные ценности» («Современные Записки», 1936).

В этой последней статье Бердяева очень многое нисколько не устарело и сегодня. Никак не лишне напомнить слова философа: «Социальный вопрос есть также вопрос духовный, вопрос о судьбе человека и полноте человечности. Полнота человечности предполагает духовные ценности и духовную жизнь, независимую от социальной среды. Но также ошибочно было бы стремиться к полноте человечности, игнорируя социальную сторону и социальную борьбу. Духовность внедрена и в социальную борьбу. Люди духа должны делать выбор в борьбе и должны возлагать на себя ответственность за судьбы человеческие. Совершенно ясно, что в выборе они должны быть на стороне свободы, справедливости и милосердия».

С немецкого языка была переведена мною брошюра Н. Бердяева «Человеческая личность и сверхличные ценности» — основной источник для знакомства с бердяевским персонализмом. «Опыт эсхатологической метафизики», имевшийся в нескольких фотокопиях (и французском переводе), особенным успехом не пользовался.

Кажется, И. Огурцову очень пригодилось исследование Н. Бердяева «Проблема христианского государства» («Современные Записки», 1927), когда он работал над своей статьей «Проблема государства в коммунистической и социал-христианской революции» (изъята при обыске и приобщена к делу). Насколько мне помнится, пафос у Огурцова был совершенно бердяевский, как и подход к некоторым принципиально важным вопросам.

Вот несколько цитат из названной работы Н. Бердяева, которые могут передать до некоторой степени атмосферу наших дискуссий.

«Для христиан неприемлема формула отделения Церкви от государства, как его понимают не верящие в Церковь, ибо неприемлемо вообще отделение Церкви от чего бы то ни было в жизни. Если Церковь есть носительница Истины, то она должна воздействовать на все стороны жизни... Мы, христиане, никак не примиримся с тем, что религия есть частное дело».

«Я хочу, — писал Н. Бердяев в 1927 году, — чтобы повсюду на земле люди свободно исповедовали свою веру и неверие, я не хочу принуждения в делах веры, преследования инаковерующих и ограничения их прав; но я также хочу, чтобы не земле торжествовала вера христианская, чтобы Истине подчинялась вся жизнь мира. Я не хочу формально вероисповедного государства, ибо знаю связанную с ним ложь, но я не могу не хотеть максимальной христианизации государства, максимального подчинения его христианским началам жизни».

Таковы были наши убеждения в этом жизненно важном вопросе. В приведенных словах Н. Бердяева — ответ на опасения тех, кто считает, будто ВСХСОН стремился к созданию нового типа «вероисповедного» государства. Нет. Так вопрос никогда не ставился; никто об этом не мечтал. Но мы могли с полной искренностью повторить вслед за Бердяевым: «Мы принципиально не можем быть равнодушны к тому, истина или ложь, правда или неправда торжествуют в жизни государства. Но значит ли это, что можно и должно желать возвращения к старому вероисповедному государству? Нет. Вопрос этот должен быть разрешен на другом пути, на пути реальной христианизации человеческих обществ».

Мыслившийся нами идеал будущей государственной и социальной организации мы именовали для краткости «свободной теократией». В Программе ВСХСОН встречается выражение «теократическое государство» (но оно дополняется сразу же рядом других определений: «социальное, представительное и народное»). Понимать это следует в той перспективе, которая намечается приведенными текстами Бердяева и которая еще до него была намечена Вл. Соловьевым.

В пункте 33 раздела «Религия и Церковь» нашего программного документа декларируется совершенно недвусмысленно: «Все известные религии должны пользоваться правом беспрепятственной проповеди и свободой публичного отправления культа». И вместе с тем мы, как христиане, были совершенно убеждены, что «Христианская Церковь, проповедующая религию Любви, Милосердия и Спасения, служит единению людей в делах Добра и в Великой Надежде». Тем более что «в течение полувекового господства коммунистической диктатуры, стремившейся к уничтожению Церкви и к искоренению религиозного сознания, христианские народы Великой России совершили подвиг, сохранив свою Церковь».

Как бы ни эволюционировали впоследствии отдельные участники социал-христианского движения (в сторону монархизма, например), тогда всем нам были свойственны эти, зафиксированные в Программе идеи, которые во многом были вдохновлены переживанием работ Н. Бердяева.

«Правыми» мы были не в большей степени, чем был таковым (или представлялся его критиками) Н. Бердяев, влияние которого в тот момент было доминирующим в вопросах о свободе совести, отношениях между Церковью и Государством.

Об этом свидетельствует и вся остальная литература, которой мы активно пользовались (в том числе и при подготовке Программы) и которую «запускали» в Самиздат.

И. Огурцов высоко ценил книгу С. Франке «Духовные основы общества», которая также сыграла определенную роль в становлении нашего мировоззрения. В этой книге, имевшей подзаголовок — «Введение в социальную философию», автор исходил из аксиомы о «двуединстве традиции и творчества» в общественной жизни. «Начало героической активности, созидания нового должно быть пропитано заботой о сохранении жизненности и прочности самой духовной непрерывности общественного бытия, должно быть раскрытием, усовершенствованием старого, — писал С. Франк, подобно Н. Бердяеву совершивший знаменательную эволюцию «от марксизма к идеализму». — Истинная, онтологически обоснованная политика по самому существу своему есть политика духовно свободного, не скованного предубеждениями и омертвевшими привычками консерватизма».

Таково было глубокое убеждение видного мыслителя начала века, названная книга которого входила в «ядро» библиотеки ВСХСОН и была приобщена к делу в качестве «вещественного доказательства» наших «преступных намерений». Близость к этому несомненно «правому» философу, видимо, компрометирует нас сегодня в глазах строгих ревнителей либеральных традиций, подобных А. Янову.

Обязательным для членов организации и желательным для более широкого круга наших единомышленников считалось чтение и изучение книги И. А. Ильина «Путь духовного обновления». (У нас было второе, мюнхенское издание 1962 года, с которого было сделано несколько фотокопий.)

Современный исследователь Н. П. Полторацкий, переиздавший несколько книг И. Ильина, называет его «одним из самых религиозно, философски и научно компетентных и ответственных мыслителей XX века». Признаться, мы не знали тогда о столь высокой оценке этого философа, но сумели оценить по достоинству названную его книгу. «Направив» ее в Самиздат, мы тем самым способствовали более широкому знакомству с идеями И. Ильина в оппозиционной среде.

Можно сказать, что мы учились у автора «Пути духовного обновления» правильному пониманию патриотизма и национализма. «Нам, ищущим путей духовного обновления,— писал он в своей книге,— не может быть безразлично, какой патриотизм мы утверждаем и какой национализм мы насаждаем». Наша позиция по этому вопросу сформировалась в значительной степени под влиянием И. Ильина, к которому, помимо всего прочего, нас привлек и его столь явно выраженный и «научно обоснованный» антикоммунизм.

«Проблема истинного национализма разрешима только в связи с духовным пониманием родины: ибо национализм есть любовь к духу своего народа, и притом именно к его духовному своеобразию»,—читали мы в этой книге. Естественно, что так понимаемая любовь к своей родине не имеет ничего общего с официозным «совпатриотизмом», от которого мы отходили все дальше и дальше. Не надо забывать, что четверо руководителей ВСХСОНа были осуждены по статье 64 УК РСФСР — за «измену родине», и прокурор на нашем процессе затратил немало казенного красноречия, обличая «изменников» советской родины.

Что же касается всех нынешних обвинений нас в «национализме», уже в среде эмигрантской, — на подобные обвинения уже ответил И. Ильин все в той же своей книге: «Напрасно было бы указывать на то, что национализм ведет к взаимной ненависти народов, к обособлению, к «провинциализму», самомнению и культурному застою. Все это относится к больному, уродливому, извращенному национализму и совершенно не касается духовно здоровой любви к своему народу».

Мы знали о существовании и другой книги И. А. Ильина, название которой очень интриговало, — «О сопротивлении злу силой», но достать ее нам не смогли даже наши друзья-иностранцы...

Зато через них попал к нам сборник статей Г. П. Федотова «Христианин в революции» (на котором в значительной части базировалось обвинение нас в подготовке «вооруженного свержения советской власти» — вкупе с почти беллетристической книгой Курцио Малапарте «Техника государственного переворота»).

Идейное наследие этого плодовитого публициста в последнее время снова приобретает актуальное значение — достаточно назвать переизданный под редакцией священника Михаила Меерсона-Аксенова сборник его статей «Россия и свобода». Правда, центральное убеждение Г. П. Федотова, взятое составителями названного выше сборника в качестве эпиграфа — «Спасти правду социализма правдою духа и правдой социализма спасти мир», — оживленно дискутировалось и уже в то время принималось далеко не всеми в организации.

Считаю необходимым еще раз пояснить, что ВСХСОН — Социал-Христианский Союз

— к социализму отношения не имеет. Фраза в показаниях И. Огурцова, будто бы он к 1963 году «пришел к христианскому социализму», представляется мне некоторой уступкой следствию (как и надуманная хронология). Во всяком случае, совершенно ошибочно утверждение, будто «христианский социализм (или социал-христианская доктрина) ВСХСОНа является вариантом «социализма с человеческим лицом».

И тем не менее что-то в аргументации Г. П. Федотова казалось нам достаточно убедительным. Особенно в центральной статье (из «Нового Града»), давшей заглавие всему сборнику: «Христианин в революции». Особенно важными были слова, которые впоследствии И. Огурцов процитировал на судебном процессе:

«В выборе средств мы должны руководствоваться голосом христианской совести. Не считать, что нравственный критерий неприменим к государственному делу, но и не мечтать, что, берясь за него, мы можем сохранить себя в полной чистоте от греха. Все, что мы можем, это стремиться (не серьезно) к минимализации греха. Насилие есть грех. Насилие революции, даже в ее ограниченной форме, как восстания, переворота, есть тоже грех. Решаться на него следует лишь в том случае, когда можно сказать себе с чистой совестью, что все мирные, законные средства исчерпаны; что тираническая и слепая власть не уйдет, пока не погубит вместе с собой свой народ. Тогда христианин обнажает меч. Но всегда для определенной, ограниченной цели, и притом политической. Мечом не преображают мир, не строят новое общество. Мечом освобождаются от тиранов — и только».

Мы вообще исходили из веры в то, что не только возможна, но и необходима **христианская политика**. Это выражение Вл. Соловьева приобрело для нас особый смысл и конкретную убедительность после знакомства со сборником «богословско-политических» статей известного французского философа-персоналиста Жака Маритэна. Здесь были такие его известные работы, как «Интегральный гуманизм», «Христианство и демократия», «Человек и государство». Мы их перевели (с английского) и тоже пустили в Самиздат.

Значительно позже, уже на Западе, в одной из последних книг Ж. Маритэна я нашел эти слова, в которых он излагал идеалы своей молодости: «Готовить пути к политической деятельности «подлинно и жизненно христианской»; другими словами, политике, которая — вдохновляясь христианским духом и христианскими принципами — мобилизует начинания и ответственность граждан, ее осуществляющих,— не будучи вместе с тем политикой, диктуемой Церковью и не пытаясь присущую Церкви ответственность возложить на себя».

В приведенных словах последнего, быть может, великого мыслителя XX века очень точно сформулировано то понимание участия христиан в политической и общественной деятельности, которое представлялось нам идеальным в период существования Социал-Христианского Союза.



ДНЕВНИК СОВРЕМЕННИКА



АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

Россия: уроки сопротивления

СТАТЬЯ III

ЕДИНА ВСКОРЕ ПРЕДСТАТЕЛЬСТВУЮЩАЯ

Хлеб привезли только в конце дня, за несколько часов до Нового года. И объявили, что продавать не будут. «Всё, всё, граждане, закрыто!» — парень в грязном халате напирал на рвущуюся в приоткрытую дверь толпу. Люди, как водится, возмущались, ехидничали: да когда же работают в этом магазине, апеллировали к собратьям по несчастью. И вдруг какая-то старушка, сдавленная со всех сторон, застенчиво проговорила: «Да ведь 31 декабря, у них тоже Новый год, им домой надо...»

Не древняя еще, лет шестидесяти пяти, круглолицая, «из простых». Она явно стеснялась противоречить толпе, но и шумной озверелости окружающих тоже стеснялась. Ухватилась как за соломинку за фразу о Новом годе и все повторяла ее...

Я даже опешил. Подумал с досадой: да ведь ты же, голубушка, и останешься без хлеба к празднику (а другой еды много ли припасено? быть может, свежая, аппетитно пахнущая на морозе буханка и стала бы главным «деликатесом»?). А потом слезы навернулись на глаза — как благородно и красиво (на уровне художественного жеста!) стремление подарить другому праздник, пожертвовав ради этого хлебом, поистине насущным в наши голодные дни.

Наверное, таким вот старушкам и поклонились в Троице-Сергиевой лавре привезенные туда с помпой, на черных лимузинах, иерархи зарубежных церквей. Об этом случае я услышал от Михаила Антонова. Привезли, мол, епископов в Лавру, встречают торжественно, простых прихожанок, как водится, оттеснили с дороги, и вдруг — замерла процессия. Приехавшие архиереи вгляделись в морщинистые лица и низко, до земли, поклонились! Повернулись к тем, что сзади, и вновь поклонились... Поняли, сердцем почувствовали: эти женщины сохранили в России всё. Отчую землю, веру, древние храмы и нечто более ценное, чем храмовое великолепие, — русскую Церковь, Дом Пресвятой Богородицы.

Сегодня никто и не думает склоняться перед ними. Простые люди, миллионы и миллионы соотечественников преданы всеми. Теми, кому они служили верой и правдой, теми, кто призван по долгу защищать их.

Преданы правительством. 22 декабря 1991 года С. Шушкевич, один из беловежской тройки, проникновенно глядя в телекамеру, растолковывал непонятливому населению: раньше считалось — честно работай, и государство тебя не забудет, а теперь думать своей головой надо...

Не знаю, как это назвать — безответственностью, безнравственностью, низостью, в любом случае тут какой-то предел, спуститься ниже невозможно!

Рекомендуются: рыночники. Полно, честные работяги нужны при всяком рынке. Те, кто глумится над совестливым трудом, именуются по-другому... Развалили страну, распродали созданное народом богатство, теперь воркуют: ничего нёма. Хихикают: головой надо думать.

Вслед за правительством предала армия. Оставила русских без оружия и защиты, лицом к лицу со сплоченными и вооруженными республиканскими формированиями.

Я был в прибалтийском городе в тот августовский день, когда навечно сняли караул у памятника Освобождения. Он высился в центре — постамент с пушкой на вершине: ее расчет погиб в боях с фашистами. У подножья — караул. Двое русских ребят с автоматами. Всего двое! Но как изменился город, когда их отозвали в часть. Вдруг выяснилось, что толпа на центральной улице идет как бы в двух ритмах. Одни непроизвольно ускоряли шаг — сбивчивый, нервный поток стал

ручейками растекаться в боковые улицы: скорее в подъезды, в квартиры, добежать и обессиленно прильнуть телом к спасительной двери. Я видел ужас в глазах киоскерши — она не могла броситься вместе со всеми. О чем думала эта женщина? Быть может, о сынишке, который, не подозревая о свершившемся в центре предательстве, беззаботно играет во дворе, быть может, о том, как вечером пройти домой...

Другой поток мерно двигался к площади. Тяжелым шагом хозяев жизни. Полицейские, активисты народного фронта, просто «представители коренной нации». Они текли, как при «замедленной» съемке, в такт музыке, ревущей из всех репродукторов, и ее глухой, десятками динамиков искаженный вой казался древним, звериным зовом. Зовом крови.

Тогда обошлось. Лишь сдернутое наземь, оскверненное орудие увезли с площади.

Не обошлось — несколько месяцев спустя — в Дубоссарах. Армия безучастно наблюдала гибель людей, по которым стреляли сотни обученных, вооруженных, одетых в форму бандитов. Так же, как безучастно следила два года назад за тем, как убивают и насилуют русских в Душанбе.

Газетчики в упоении: армия проявила сдержанность! Другое слово рвется с языка, когда бронированная сила отступается от безоружного, слабого, обрекая его на гибель. А между тем разве не руками этих несчастных женщин созданы, разве не их рублями (миллионами недоданных им рублей!) оплачены трусливо забившиеся в ангар бронированные чудовища — гордость генералов и генеральных конструкторов?

Но если все официальные структуры отвернулись от нас, мы еще не потеряны, не беспризорны. У нас есть путь и прибежище. Церковь. Когда рушились государственные опоры и на землю, лишенную защиты, устремлялись насильники — татары, поляки, литва, — Православная Церковь вставала на пути дикого потока последним оплотом. Давала защиту, кров, пищу, ободряла и вдохновляла на борьбу.

Я пошел к известному в Москве проповеднику в твердой уверенности, что услышу ответ на вопрос, как спасти русский народ, как «обустроить Россию».

Первое, что я услышал, — это не дело Церкви и не ее задача. Полицейский отвечает за свой участок. Мэр за свой город. Правительство — за страну. Священник отвечает за свой приход.

Я был поражен. Возмущаться? Обличать? Но я знал, что отец Димитрий по-своему прав. В приходе он сделал удивительно много. За год восстановил два храма, открыл школы — воскресные и среднюю, детские сады, больницу.

И все-таки я спросил: не жалко? тех миллионов, что живут за пределами прихода? тех, кто, быть может, не нашел еще пути в церковь (естественная преемственность от отца к сыну была грубо порвана)?

— Жалко. Всех жалко, — отвечал проповедник. — И арабов, и буддистов, и советских людей жалко. За то, что поклоняются ложным богам. Русских среди прочих не выделяем. Для нас есть только православные, остальные чужды, как люди, которых не знаем.

— Так ведь исчезнут, вымрет народ. И приход опустеет. Некому будет свечки ставить, на храм жертвовать.

— На храм, — возразил почти весело, — давно не старушки жертвуют — тресты!

Видимо, собеседник особенно гордился размахом пожертвований, даже показал мне список заводов и фирм с указанием перечисленных сумм: сто, семьдесят пять, пятьдесят тысяч. Конечно, куда там старухам с их отложенным от пенсии рублем!

Вообще я заметил, что возрождение храмового строительства, столь замечательное и долгожданное, невольно поставило в центр церковной жизни материальное начало. Священник подчас превращается в хозяйственника. На первом плане оказывается умение найти спонсора, решить проблему стройматериалов. Слышал — как высшую похвалу, — у нас батюшка замечательный, за Урал эшелоны за лесом гоняет...

Показав листок с цифрами, отец Димитрий возобновил спор (было уже ясно, что вышел у нас именно спор): в насчет того, что народ исчезнет, это вы преувеличиваете.

Опять замечу: сколько раз потом слышал это «преувеличиваете» — и от священников, и от журналистов церковных изданий. Если бы преувеличивал — сам бы первый обрадовался. Так ведь американец М. Бернштрам высчитал: к 2200 году в России останется 23 миллиона русских. Считал задолго до того, как политики и экономисты сделали невыносимой человеческую жизнь на территории бывшего Союза. Рожают сегодня самые отчаянные. Слышали материнский вопль со страниц «Советской России» — вы убиваете наших неродившихся детей? Хотя политикам это как роса... Но священнику!..

«На 27 территориях фактически началось вымирание населения», — пытается растолковать обществу грозящую опасность Н. Павлов, председатель подкомитета по демографической политике ВС России («Федерация», 1991, № 1). С тех пор, всего за год, число их возросло до 40. Пустеют элитные земли: Краснодарский край, Ростовская, Воронежская, Липецкая области. Даже сверхдинамичные и предприимчивые Москва и Петербург со своими областями.

Беседуя с отцом Димитрием, я понял, что полемичная неуступчивость его ответов обусловлена (во всяком случае, отчасти) растерянностью и даже обидой. Проскользнуло (в ответ на слова: так идите к народу, сегодня как никогда Вы нужны ему) обезоруживающе-горькое: а как я к ним приду? Посмотрят и скажут: «Вот, поп пришел». И тут будто прорвало завесу сдержанности — сколько печальных историй, свидетельствующих о страшном духовном растлении русского человека, поведал мне собеседник. «Застал мужика — мочится на алтарь (храм только начали

реставрировать). Говорю ему: да ты что, это же святое место! А он в ответ: что же я сделаю, подперло...»

Что было спорить? Кому, как не писателю, понятна боль от столкновения с нравственной очерствелостью. Кому лучше известна степень падения общества и человека!

И все-таки, возвращаясь домой по неосвещенной, заваленной сугробами улице (еще одно свидетельство всеобщего развала), я мысленно продолжал спор. Душевная грубость оскорбляет, соглашался я, — но кто дал мне это драгоценное, ранимое чувство красоты, справедливости? Кто открыл душе высоту идеала, дивный строй ценностей нравственности и культуры? Наделил языком, способным выразить необозримое богатство впечатлений, самые изощренные оттенки мысли? Вдохнул веру, чей отчеканенный веками символ: «Верую во единого Бога Отца» повторяю каждое утро? Разве не тот же русский народ, о падении которого я скорблю, глядя на пьяного хама? Значит, и скорбеть мне пристало по-сыновьи, сознавая, скольким обязан народу, стремясь деятельно помочь ему. Отстоять и спасти.

Этими мыслями я поспешил поделиться с другим священником. Тоже отцом Димитрием, церковным писателем, которого знают подписчики нашего журнала. Не утерпел, сразу же, как пришел, позвонил по телефону. И с радостью услышал, как задрожал от волнения голос: «Да как же он так вам сказал. Ведь и последний человек, тот же пьяница, — это часть народа, за который отвечаешь перед Богом. С которым призван работать».

Две позиции. Оказалось, достаточно характерные. В Церкви, как и в обществе в целом, есть свои «почвенники» и «универсалисты», патриоты и обличители народа. Взгляды тех и других наиболее обстоятельно представлены в церковной прессе (к счастью, она стремительно развивается). Прежде всего в наиболее массовом издании Патриархии «Московском церковном вестнике».

Редакция с видимой доброжелательностью предоставляет слово обеим сторонам. И это, бесспорно, лучшее решение. Плодотворное и для формирования церковного сознания, и для профессионального становления газеты. Не навязывая читателям линию редакции, она дает панораму взглядов, господствующих сегодня в церковной среде.

Впрочем, иной раз кажется, что редакция стремится как-то механически уравновесить высказывания. Получается не живой спор, где выясняется и число сторонников тех или иных взглядов, и сила их доводов, не духовное состязание, где возможна и желанна победа одного из воззрений, ближайшего к истине, а игра на счетах: одно суждение сюда — другое туда.

Возьмем комплект газеты за 1991 год. Выступление лидера христианских демократов В. Аксючица (№ 1) — прекрасно, что «Вестник» стал предоставлять слово общественным движениям, близким к Церкви, — уравновешено беседой с главой монархического Союза христианского возрождения В. Осиповым (№ 11). Владимир Осипов — стойкий патриот, годами тюремных мытарств заплативший за убеждения. Виктор Аксючиц в значительно большей мере политик. Он искусно лавирует между различными фракциями демократического фронта. С пафосом провозглашает: «Приобщиться в своей стране к истинной духовности мы можем не в утопическом интернациональном вакууме, а в лоне российской православной культуры. Патриотизм есть любовь к своему народу, его трагической судьбе, его культуре». И тут же спешит с оговоркой: «Как всякая истинная любовь, он исключает националистическую гордыню, шовинистическую ненависть и вражду». И чтобы уж совсем отмежеваться от «национализма», публично радуется: «Известные культурные и общественные деятели крайнего толка потерпели сокрушительное поражение» (речь о российских выборах 1990 года; видимо, подразумеваются И. Глазунов, В. Клыков, С. Куняев).

Та же «симметрия» в статьях священнослужителей. Из большого числа материалов определенностью, резкой очерченностью позиций выделяются выступления о. Кирилла Фотиева (№ 12) и архиепископа Вологодского Михаила (№ 6). Первый — заядлый европеист (во вступлении к статье его и рекомендуют соответственно: из режиссерской семьи, высшее образование получил на Западе). Вернувшись из зарубежных странствий, отец Кирилл поспешил предостеречь: «Велика и опасность разгула националистических страстей у народов, традиционно исповедующих Православие. «Родное», проявляющееся в мощном голосе «плоти и крови», явственно застилает собой «вселенское».

Из Вологды, с высоких российских широт, проблема видится по-другому. К сожалению, редакция не представила владыку Михаила. А между тем его позиция, как и у о. Кирилла Фотиева, во многом предопределена его жизненным опытом. Причем это опыт, давшийся не в зарубежном колледже, а в суровых испытаниях жизни. Молодой интеллектуал, ученый довоенной поры, Михаил Мудьюгин прошел фронт, обратился к Церкви. Душа утончилась до молитвы. И до самобытного художественного творчества. Вот что открылось ей с вершины жизненного пути: «Патриотизм, любовь к «своим», то есть к своей семье, родным, к своему народу, получает в Священном писании, а следовательно, и в учении Церкви, глубочайшее обоснование, благословение, рассматривается как добродетель, как заповеданная Богом жизнедеятельность».

Наверное, опыт беды умудряет душу, обостряет внутреннее зрение. Позволяет постичь всю глубину смысла, заключенного в слове «Отчизна». «Родина — место святое», — озаглавлена проповедь одного из новомучеников российских — митрополита Владимира (Богоявленского), убитого в 1918 году в Киеве приверженцами «утопического интернационального вакуума». «Самым дорогим и вожделенным местом для нас должно быть наше

Отечество, — убеждал митрополит. — Страна, где жили, трудились и молились наши отцы и где они сложили на вечный покой свои кости, страна, где рождены мы для вечной жизни, где наша мать носила нас у груди, вознося о нас свои теплые молитвы к Богу, должна быть для нас священным местом» (№ 5).

Святитель призывает — и кровью своей подтверждает призыв, — «пламенея любовью к своему Отечеству, поддержать этот огонь и в себе самих, передавать его другим. Поставив девизом на своем знамени те основные начала, которыми живет русский народ...»

В том же ряду слово другого мученика — митрополита Серафима (Чичагова), убитого в сталинской тюрьме. «...Могущественный народ русский, — сокрушался владыка, — стал в положение, подначальное инородцам, а вера православная потеряла свою свободу и первенство». Митрополит Серафим называет патриотизм рядом с «дарами Святого Духа», которых многие лишились в эпоху страха, упоминая тут же дар разумения, истинной любви, воодушевления. Во времена несравненно более жестокие, чем наше, он мужественно призывал к «возрождению России» (№ 3).

Высказывания мучеников — венценосцев Церкви торжествующей могли бы стать нравственным ядром православной газеты. Более того, основой программы Русской Православной Церкви, программы, столь нужной и священникам и мирянам. Ибо, наслаждаясь многообразием индивидуальных воззрений, отдавая должное плюрализму церковной прессы, все мы стремимся услышать открытое и недвусмысленное слово Церкви о самом насущном сегодня вопросе. Как выжить русскому человеку? Как сохранить великий народ, давший православному миру благочестивых владык от Владимира Святого до императора-мученика, великих подвижников веры от Феодосия Печерского до Серафима Саровского, глубочайших религиозных мыслителей от Илариона Киевского до Ивана Ильина, тончайших художников от преподобного Андрея Рублева до Михаила Нестерова, — поистине Божий народ?

Россия ждет слова Церкви. К сожалению, материалы «Вестника» заставляют думать, что мы не скоро услышим его.

Центральной по значимости публикацией минувшего года стала статья диакона Андрея Кураева «Патриарх и политики» (№ 7). В ней сделана попытка сформулировать церковную позицию. Характеризуя расстановку политических сил в стране, автор прозорливо выделяет демократов и патриотов. Прозорливо, ибо статья опубликована за несколько месяцев до того, как влиятельнейшая третья сила — компартия — сошла с политической арены.

Кураев справедливо определяет отношение демпрессы к Церкви как «войну» (подробнее об этом пишет на страницах «Вестника» В. Капинский в статье «После выборов» — № 12). Кураев упоминает о «партийной одержимости» демократов, говорит о «невежественности интеллигенции в сфере духовной жизни». Определяя позицию по отношению к демдвижению, он пишет: «Патриарх не намерен, судя по всему, поступаться независимостью даже перед лицом раздражения демократов, вызванного аполитичностью Церкви».

А далее в действие вступает все тот же принцип «симметрии». Отношениям с патриотами посвящена особая глава, названная показательно: «Односторонняя любовь (Патриарх и патриотические движения)». Автор признает, что тяга «почвенников» к Церкви прямо противоположна агрессивности демократического лагеря: «Здесь ситуация обратная: одной из сторон декларируется неразрывный органический союз с другой». Но любовь эта односторонняя — с самого начала предупредил Кураев. Он считает необходимым примерами доказать, что Церковь не разделяет воззрений патриотов. «Характерно для пастырской политики Патриарха, что в тех своих публикациях, что предназначены для патриотической прессы, он подчеркнуто сторонится отождествления Православия с национальным мышлением. Так, в его пасхальном обращении к читателям «Нашего современника» (№ 4 за 1991 год. — А. К.) речь идет исключительно о смысле Воскресения Христова и ни разу не употребляются слова «Россия» и «русский». А в интервью «Комсомольской правде», газете, будто бы стесняющейся того, что она выходит на русском языке, Патриарх, напротив, говорит о духовном своеобразии России. Связь Церкви и России он также подчеркивает в своем выступлении в «Российской газете», которая обычно сторонится любых выражений солидарности с «патриотами».

К сожалению, тут же автор счел нужным упомянуть об отношении Патриарха к «антисемитизму». Неужели даже в столь серьезном разговоре упоминание о патриотизме неотвратимо влечет за собой рассуждение об «антисемитизме». (Почему от американцев или французов, не скрывающих любви к с в о е й родине, не требуют декларации об отношении к «еврейскому вопросу»?).

Как бы то ни было, в финале принцип «симметрии» получает идеологическое обоснование и нарекается независимой позицией. Правда, независимость, если следовать логике рассуждений автора, оказывается добровольной лишь наполовину. Отстраняются не в меру пылкие патриоты. «Смысл позиции Патриарха,— по словам Кураева,— заключается... в отказе от однозначной ассоциации с ними...» Что касается демократов, они и не думают ассоциировать себя с Православием.

Хочу надеяться, что диакон Андрей Кураев не вполне адекватно понял и истолковал позицию Патриарха, несмотря на то, что является его ближайшим помощником. История показывает, как трудно даже близким людям понять во всей глубине мысли тех, на кого возложена ответственность за судьбу Православия. Вспомним необычную горячность, с которой преподобный Серафим запретил своему служке растолковывать его слова и от его имени наставлять приходящих в Саровскую обитель.

Стремление утвердить высоту духовной позиции, позволяющую Церкви стоять над политической сварой наших дней, понятно,

думается, всем патриотам. Более того — желанно. Ибо спасти народ и страну может лишь сила, не замешанная в сегодняшние дрязги.

Но вдумаемся, справедливо ли подозрение, будто бы патриоты, заявляя о приверженности Церкви, обуреваемы тайным стремлением втянуть ее в партийную борьбу? Отбросим пока вопрос о побуждениях — здесь всегда возможны различные истолкования. Рассмотрим ситуацию, в какой пасхальное послание Патриарха (коли уж Кураев упомянул именно его) появилось на страницах «Нашего современника».

Весна 1991 года. Давно отшумели выборы в парламенты Союза и России. О президентских гонках не было еще и речи. Кстати, патриоты — как политическая сила — не принимали в них участия. Лишь некоторые их лидеры (Распутин, например) помогали тем кандидатам, чью победу рассматривали как наименьшее зло (позднейшие события показали, как правы были они, борясь против торжества зла наибольшего).

Итак, никаких политических акций весною 1991 года патриотические силы не предпринимали. Более того, в это время они не были оформлены в какие-либо союзы, способные вести активную работу. После выборов 1990 года непрочные коалиции «почвенников» распались и до сих пор — говорю об этом с величайшим сожалением! — не сформировались на более четкой основе, обеспечивающей долговременную и активную деятельность.

Патриоты не могли «втянуть» Патриарха в политическую борьбу по той простой причине, что сами оказались выключенными из нее. И не стоило с бухгалтерской скрупулезностью рассчитывать, сколько раз и где можно употребить слово «Россия». Кстати, я убежден, что в данном случае мы имеем дело с личной арифметикой А. Кураева *.

Патриоты России заявляют о своей солидарности с Церковью не в чаянии выгод. Они единятся с нею по обычаю предков. Потому что русский человек, по слову Достоевского, является русским постольку, поскольку он православный. Потому что Церковь стояла у колыбели нашей культуры и государственности. Потому что сама Россия была сохранена Православием. Единство веры, единство духа теплилось в храмах даже в те мрачные времена, когда тело страны разрывали захватчики и удельные властители. И это единство всякий раз дивно воплощалось в могучую державу, широко распростертую с континента на континент.

Мы приходим к Церкви как верные чада — с благодарностью и с надеждой. И именно эти чувства не позволяют согласиться со статьей диакона Андрея Кураева. И дерзновенно сказать: если это только статья, то она неудачна. Если программа газеты Московской Патриархии, — она бесплодна. Если здесь выражена позиция пастырей, то это трагедия.

Ибо, признавая независимость Церкви от политиканстве, невозможно согласиться с ее «независимостью» от борьбы русского народа за свою жизнь, достоинство, духовное возрождение. Она сама отвергла такую «независимость» тысячу лет назад, крестив Киевскую Русь и приняв на себя ответственность за огромную страну.

Для православного человека немыслима формулировка: втянули в дело защиты России. Для него великая честь — принять посильное участие в этом святом деле.

Было бы безумным заблуждением утверждать, что Православие — наша этническая религия. Но то, что Русская Православная Церковь — это Церковь р у с с к о г о народа, самоочевидно. Ее первосвященник является предстателем за русский народ перед самим Спасителем.

«...Мы приставлены от Бога к Русской земле...» — слова выдающегося ревнителя Православия киевского митрополита Никифора II. Эта клятва верности нашей земле прозвучала в эпоху Владимира Мономаха. В те далекие времена вселенские патриархи, ставя на киевскую кафедру митрополита, недвусмысленно определяли его задачу: «...Вести христианский народ России к пастбищам спасения» (патриарх Филофей).

Изначально, по свидетельству историков Православия, «единство нации в значительной степени поддерживалось благодаря Церкви». Приведенные слова взяты мной из книги декана Свято-Владимирской семинарии протоиерея Иоанна Мейендорфа «Византия и Московская Русь» (Париж, 1990). Автор утверждает, что уже в Византии Православная Церковь «становилась стражем ойкумены и скрепляющей ее идеологии». Эту важнейшую функцию гаранта государственной и национальной стабильности переняла у своих цареградских учителей Русская Церковь.

И смело, неустанно участвовала в становлении Русского государства. У истоков собирания земель вокруг Москвы — святители Петр и Алексий. Историки называют святого Петра «первым виновником ее (Москвы.— А. К.) нравственного возвышения» и даже «крестным отцом» и «основоположником московской державы».

Особо подчеркну для читателей, мало знакомых с историей,— эта деятельность ничего общего не имела с местничеством, корыстным стремлением возвысить свой город за счет чужого. Св. Петр был родом из Южной России. Получил сан митрополита хлопотами галицкого князя, стремившегося перенести митрополию в свой город. Но святитель провидчески выбрал малую и неизвестную Москву в качестве центра будущей державы и сознательно способствовал возвышению города и собиранию вокруг него русских земель.

Это не было и служением Церкви земным владыкам, что не раз, к сожалению, имело место в последующие эпохи. Мос-

* К сожалению, памятны случаи, когда тексты, подготовленные для Патриарха помощниками, возбуждали споры в среде православной общественности. Пример — выступление перед нью-йоркскими раввинами, опубликованное позднее в «Московских новостях» (№ 4, 1992). Там проводилась мысль о «теснейшем родстве между ветхозаветной и новозаветной религиями». Бесспорно, это родство существовало при жизни Спасителя, но разве тень Распятия не легла между религиями?

ковское княжество было слабо и незначительно, а авторитет митрополита слишком весом, чтобы можно было говорить о подчинении Церкви чуждым для нее задачам. Служение Петра и Алексия — поистине пастырское попечение о народе, нуждавшемся в крепком государстве для защиты от иноплеменных завоевателей.

Сознавая правоту своего пути, первые святители московские смело шли на шаги, крайне рискованные с формальной точки зрения. Вот уж кто безбоязненно давал «втянуть» себя в дело возрождения России. Вплоть до принятия на себя прямых государственных обязанностей — в 1359 году митрополит Алексий стал регентом при девятилетием князе Дмитрии (будущем Дмитрии Донском) и в течение многих лет фактически управлял Московским княжеством. При этом митрополит следовал не только голосу собственной совести, но и давней традиции Православной Церкви. Прот. Иоанн Мейендорф, основываясь на многочисленных примерах из византийской истории, утверждает, что «*глава Церкви автоматически становился ответственным за судьбу государства в тех случаях, когда государственная власть не могла более отправляться обычным порядком*» (разрядка моя.— А. К.).

Впрочем, сегодня, видимо, еще не время подвигу святителя Алексия. Но очевидна необходимость подвижнической деятельности, пример которой дан святителем Гермогеном. Церковь призвана вдохнуть дух в измученное народное тело. Поднять народ в едином порыве и повести «к пажитям спасения».

Первое, что необходимо,— Программа. Не те жалкие и лживые листки, которые всучивают на каждом перекрестке активисты всевозможных партий. Не те лукавые рецепты, которые предлагают сегодня, чтобы завтра заменить новыми, столь же «действенными». Нужна программа, осмысляющая крестный путь России. Указывающая перспективу. Программа национальная и социальная.

И нашей ли Церкви беспомощно стоять, опустив руки, не зная, как приняться за великое начинание? Россия в XX веке обогатила христианский мир выдающимися трудами во всех областях знания. Экономика, государственное право, собственно философские дисциплины, методология науки — во всех этих ключевых сферах работали и добивались замечательных достижений люди, нелицемерно преданные христианской идее. Достаточно назвать имена о. Сергия Булгакова, о. Павла Флоренского, Ивана Ильина, Георгия Федотова, Вышеславцева, Карсавина.

Я знаю, далеко не все их взгляды принимаются современной Церковью. Что же — ее право выбирать. Главное, нам в руки дан бесценный клад человеческой мысли, необходимый для построения Православной программы возрождения России.

Эта программа спасет не только наш народ, но и поддержит саму Церковь. Сейчас исключительно благоприятный момент для выведения ее из «фараонова пленения» и утверждения на прежней, от века данной, высоте. Не спрашивайте, почему народ в искреннем стремлении к справедливой и осмысленной жизни идет где-то под красным флагом. Дайте ему хоругвь — и он всем сердцем потянется к святыне и пойдет за вами. Не сетуйте, подобно диакону А. Кураеву: «Ни одна стороне не оставит Церковь в покое». Разве для покоя призывает Христос на пастырское служение? Для действия, для борьбы духовной! Вы призваны повести за собой народ, тогда исчезнут и та сторона, и эте, слившись в едином потоке под хоругвью.

Однако нынешняя ситуация таит и страшные опасности для Православия. Первая — подмена Духа ритуалом и, как следствие, разочарование народа. Духа, как видим по церковной прессе, пока немного, а ритуал утверждается на телеэкране, сменив парады и официальные съезды. Явит себя Дух Животворящий — эти трансляции привлекут к вере миллионы людей. Останется лишь буква, чин ритуала — отношение к нему будет то же, что и к парадам, и к съездам.

Вторая опасность — увязнуть в спорах с теми, кто обвиняет Церковь в сотрудничестве с коммунистическим режимом. Открытая и последовательная защита народа была бы лучшим ответом, лишающим такие обвинения всякой актуальности в глазах общества.

Наконец, агрессия католицизма. Нет смысла жаловаться: власти попускают. Власти столь же безбожны, как и десять лет назад (сколько бы ни позировали со свечечкой). Недоразвратив народ атеизмом, они охотно отдадут его иезуитам.

С чем идут к нам католики? С разработанной до тонкости национальной и социальной программой! Пока на материале других стран и народов. Преимущественно латиноамериканских. Заметьте — превращая нас в страну третьего мира, Запад и методы духовной обработки предлагает соответствующие.

«Полное отождествление с чаяниями народа,— архиепископ Парагвая рекламирует позицию католической церкви почему-то на страницах «Московского церковного вестника».— Не с правительством... не с институтами власти, а именно с простыми людьми. И мы постоянно были рядом с беднотой, с теми, кто становился объектом преследования, угнетения. Церковь стала голосом тех, кто такого голоса не имел» (№ 2). Со страниц академического журнала «Вопросы философии» архиепископу вторит глава доминиканского ордена: «Возникает ощущение, что бедные ничего не могут сделать, возникает состояние совершенной безнадежности и беспомощности. Дело церкви — быть с людьми»... (№ 12, 1991).

И ведь это католические проповедники скажут всем русским людям. Уже говорят — с кафедры (как в Новосибирском университете, где курс истории Церкви читает почему-то католический священник) и в толчуке подземных переходов московского метро, где разбитные девчушки предлагают прохожим изданные в Польше католические брошюрки. Дело Церкви — скажут прелаты — быть с людьми. А чем привлечет православный священник? Добро, если просто промолчит, а не заявит, подобно моему московскому собеседнику: «Далеки, как люди, которых не знаем».

Глава римской церкви в специальной энциклике предложил свое осмысление глобальных перемен в Восточной Европе и бывшем СССР. Дал нравственную оценку социализме и капитализма (между прочим, заявив, что «капитализм не может быть высшим регулятором жизни человека»). А как отреагировала на эти перемены, затрагивающие нас все-таки больше, чем Ватикан, Русская Православная Церковь?

Как оценивает распад Союза? Какое участие примет в судьбе русских беженцев, которых уже сейчас полтора миллиона (Россия огромна, вот и не бросается в глаза это множество, да и власти стыдливо прячут беженцев по углам, рассовывая в казармы и пионерские лагеря)? Возьмет ли под свою защиту православных, внезапно оказавшихся в рассеянии среди иноплеменных и иноверцев? Осудит ли гонения от «безбожных агарян» — ведь притеснения русских едва ли не во всех республиках бывшего Союза секрет полишинеля? Каждый мирянин, все русское общество не должно оставаться в соблазнительном неведении относительно ответов на эти самые жгучие сегодня вопросы.

«Нельзя подрывать веру русских людей в Русскую Православную Церковь... Кто им поможет, кто услышит, как не Русская Православная Церковь. Тем более что она во все тяжелые времена была со своим народом»,— цитата из редакционной почты «Нашего современника». Письмо из Ташкента с просьбой донести до Патриарха боль людей, нуждающихся в действенной защите.

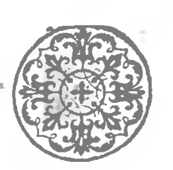
Подобные письма поступают, конечно же, и в Патриархию. Некоторые попадают в «Московский церковный вестник»: «Слово и дело за вами, наши пастыри. Хочется верить, что судьба наша пред Богом для вас не безразлична, как и судьба России, возрождение которой, конечно же, немыслимо без Господнего благословения» (№ 6).

Когда-то основоположник русского монашества преподобный Феодосий на глазах всего Киева обличал богатых за то, что обижают и притесняют бедных. Когда-то святитель Филипп публично укорял самого Иоанна Грозного. Когда-то патриарх Никон язвил царя Алексея Михайловича: «Ты всем проповедуешь поститься, а теперь и неведомо, кто не постится ради скудости хлебной; во многих местах и до смерти постятся, потому что есть нечего».

Неужели времена заступничества Церкви за «малых сих», за обидимых и гонимых ушли в прошлое?

Иван Ильин в книге «Основы христианской культуры» (Мюнхен, 1990) писал о Церкви: «...Задача политики не есть ее задача, средства политики не суть ее средства, ранг политики не есть ее ранг. Но означает ли это, что Церковь не должна стоять в живом и творческом отношении ко всей культуре народа, к бытию Родины и нации и к государственному строительству? Отнюдь нет... Церкви есть дело до *всего*, чем живут или не живут люди на земле. Ибо живая религия есть не «одна сторона жизни», а *сама* жизнь и *вся* жизнь. Все, чем живут или не живут люди, или уводит их от Царствия Божия, или ведет их к нему; и Церковь может и должна *иметь свое суждение* обо всем этом — открытое, авторитетное, ободряющее или осуждающее». Разумеется, никто не дерзнет указывать нашим пастырям, как выразить это суждение. Думаю, еще и до появления каких-либо официальных документов многое могут сделать простые батюшки, заботясь о бедствующих, поддерживая и ободряя людей.

По преданию, Пресвятая Дева избрала Русскую Церковь Своим Домом. Призвание Церкви — стремиться подражать небесному идеалу: «скоро предстательствовать» за свой народ перед князьями мира сего и перед Царем Небесным.



КРИТИКА

ОЛЕГ МИХАЙЛОВ

РОССИЯ НА ГОЛГОФЕ

1

«Разъезды авангарда армии Уборевича входили во Владивосток, а последние суда белой армады только еще проходили мимо Русского острова (в нескольких милях от Владивостока). Куда направлялась флотилия, где конечный пункт этой одиссеи, вряд ли в тот момент кто-либо отдавал ясный отчет. Уходили, потому что нельзя было оставаться, а там дальше... как будет угодно Провидению» [1].

В истории гражданской войны для русского зарубежья особенно памятны две даты: 1—3 ноября 1920 года и 22 октября 1922 года. Первая — оставление Крымского полуострова, последнего оплота российской государственности на европейском континенте; вторая — эвакуация последнего клочка российской территории на Дальнем Востоке.

«От этих же двух дат, — пишет историк, — ведет свое летоисчисление Зарубежная Русь — страна великая, необъятная, своеобразная страна, не имеющая своего государственного аппарата, а свою разбросанность по земному шару преодолевающая лишь силой своей воли к бытию и общностью единого для всех языка» [2].

Первые пореволюционные эмигранты, впрочем, появились гораздо раньше. Это были осторожные и дальновидные люди, которые не приняли Февральской революции и предугадывали в начавшейся дезорганизации и хаосе близкое будущее России, которую очень скоро советский писатель назовет «кровью умытая». Повальное же бегство началось после прихода к власти представителей большевистского подполья и начавшегося всероссийского «красного террора». Покидали страну массы не только «классических» беженцев, которые, как известно, бежали при всех обстоятельствах и во все смутные времена во имя инстинкта самосохранения. Уходили сознательные враги советской власти, все те, кому грозили чрезвычайка, расстрел или в лучшем случае мобилизация в Красную армию.

Однако стихийный исход из России особенно явственно обозначился к концу гражданской войны, когда уходили за кордон не только белые воины, но и сотни тысяч гражданского населения, не пожелавшего остаться и уповать на милость большевиков.

Вспомним наиболее яркие эпизоды «конца».

Исход русских достигает своей высшей точки к 1920 году— поистине роковому для Белого движения. Неудачи и катастрофы каждого фронта влекли за собой всякий раз неудержимый людской поток беженцев. В самом начале этого года гибель предательски выданного чехословацкими «союзниками» верховного правителя России адмирала А. В. Колчака нанесла непоправимый урон Восточному фронту. Остатки сибирских армий начали отход к Тихому океану. Бесконечные ленты поездов увозили в теплушках и «классных» вагонах по колеям великого сибирского пути десятки тысяч беженцев. В лютую стужу, через замерзший Байкал, перенесли белые воины тело своего вождя — генерал-лейтенанта В. О. Каппеля. Когда в ноябре 1920 года под напором красных пала Чита, каппелевцы транзитом через Маньчжурию по КВЖД ринулись в Приморье. Одно-

[1] Линдин Н. Русская эмиграция на Д/альнем/ В/остоке/. — «Русские записки», Париж, 1937, № 1, с. 312.

[2] Абданк-Коссовский Вл. Русская эмиграция. Итоги за тридцать пять лет. — «Возрождение», Париж, 1956, т. 51, с. 127.

МИХАЙЛОВ Олег Николаевич родился в 1932 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного университета. Автор книг «Суворов» (1973), «Верность» (1974), «Строгий талант» (1976), «Державин» (1977), «Генерал Ермолов» (1983), «Кутузов» (1988), а также многих публикаций в периодической печати.
Живет в Москве.

временно уральские казаки во главе с атаманом Толстовым совершили поход через закаспийские степи в Месопотамию, откуда их впоследствии перевезли англичане в Австралию.

Оренбургские казаки уходили в Среднюю Азию двумя отрядами: одна часть кинулись в киргизские степи, предводимая генералом Акулининым, другая, во главе с атаманом Дутовым, рассеялась в Китайском Туркестане. К числу наиболее отважных деяний историки относят так называемый «Небесный поход», часть которого пролегла по заоблачным высотам предгорий Памира. Его участники, ташкентские офицеры, в труднейших условиях осуществили переход из Ташкента в Бухару и дальше, через Персию, Каспийское море и Кавказ — в Крым, на соединение с армией генерала П. Н. Врангеля. Одним из главных организаторов похода был гвардии ротмистр князь А. Н. Искандер, сын великого князя Николая Константиновича.

В январе 1920 года в лесах Эстонии гибнут остатки северо-западного фронта генерала от инфантерии Н. Н. Юденича, под власть красных окончательно переходит Одесса, а в следующем месяце осколки армии генерал-лейтенанта Е. К. Миллера покидают Архангельск и Мурманск и оказываются на положении беженцев в Финляндии и Норвегии. К середине марта завершается эвакуация Новороссийска. Держится только Крымский полуостров.

Эта последняя пядь русской земли в Европе была оставлена глубокой осенью. В начале ноября из портов Крымского полуострова вышло 126 судов военного и торгового флота, имея на борту около 150 тысяч человек: свыше ста тысяч воинских чинов и около пятидесяти тысяч гражданских лиц, в их числе более двадцати тысяч женщин и около семи тысяч детей.

Согласно договору Главнокомандующего генерала П. Н. Врангеля с верховным комиссаром Франции на юге России графом де Мартелем все эвакуированные из Крыма поступали под покровительство Французской республики, взамен чего правительство Франции брало в залог русский тоннаж.

По прибытии в Константинополь около 60 тысяч чинов армии были отправлены, с сохранением военной организации и части оружия, в особые военные лагеря. Регулярные войска — свыше 25 тысяч — под начальством генерала от инфантерии А. П. Кутепова («Кутеп-паши», как с боязливым уважением нарекли его турки) расположились в Галлиполи. Около 15 тысяч донцов, под начальством генерал-лейтенанта Абрамова, разместились в районе Чаталджи и 15 тысяч кубанцев, под командой генерал-лейтенанта Фостикова, были сосредоточены на острове Лемнос. 30 судов русского военного флота, с личным составом до шести тысяч человек, в том числе и морской кадетский корпус, по указанию правительства Франции пошли в Бизерту.

Однако и после падения белого Крыма борьба за Россию не закончилась. Еще целых два года остатки сибирских армий оказывали упорное сопротивление большевикам. Лишь осенью 1922 года они отошли в Монголию, Маньчжурию и Китай. Из Владивостока в порты Гензань, Фузан, Дайрен, Шанхай, на Филиппинские острова ушла эскадра адмирала Старка и многочисленные транспорты с войсками генерала Дитерихса. Последний день белого Приморья наступил, как уже говорилось, 22 октября, когда транспорты «Ларистан» и «У-Гун» покинули Владивосток и, обогнув Русский остров, направились в открытое море.

Еще продолжали существовать очаги белого сопротивления. Еще боролась на далекой восточной окраине небольшая Сибирская добровольческая дружина. Организованная в 1921 году в Якутском крае, она лишь в октябре 1923 года покинула Россию на японских шаландах.

«Так, — заключал Вл. Абданк-Коссовский, — в течение пяти лет из недр России извергнута была огромная людская масса, около трех миллионов человек, которые еще недавно создавали русскую мощь, русскую культуру, русскую науку, русское искусство, русскую промышленность и богатство. Здесь была русская армия, духовенство, цвет русской интеллигенции, корифеи русской науки, литературы, искусства, промышленности, фабриканты, учащаяся молодежь, рабочие, крестьяне, казаки, горцы, калмыки. Они уходили со своими семьями, скарбом, учреждениями, организациями, архивами, обозами, флотом, — и с твердым намерением остаться русскими, сохранить свою культуру, вернуться после уничтожения советской власти в Россию и служить только ей» [3].

Феномен первой русской эмиграции уникален — он не имеет аналогов в мировой истории.

С уважительным удивлением взирали на итоги этого великого исхода иностранцы. «Россия вне России» — так назвал нашу эмиграцию американец В. Чепин-Хентингтон.

«Эта нация, — писал он, — насчитывает около миллиона человек, самых, вероятно, культурных в мире... У этой нации нет правительства. Столица ее — Париж, ее дипломатический центр — Женева... Нет у нее и парламента, но у народа этого имеются все оттенки политической мысли — от монархизма до социализма включительно. Только коммунистов, которым объявлена анафема, нет. Половина ее населения состоит из бывших военных, но она не имеет постоянной армии. Граждане этой нации имеют свои школы, дабы дети их не забывали благородного своего языка и блистательной традиции предков. На каждых шесть мужчин в этой нации приходится один с высшим образованием. Талантливейшие ее музыканты, актеры и художники творят неустанно, причем

[3] Там же, с. 129.

творчество их предназначено не только для своих сограждан, но и для всего мира, и такова в ней жажда знаний, таков интерес к мировой политике, что число издающихся в ней печатных органов прямо-таки невообразимо» [4].

Впрочем, когда русские, сойдя с корабля, переплыв реку или залив, пересекши пограничный кордон, появились за чертой советских границ, в сопредельной или далекой от России стране, они оказались предоставленными сами себе. Иностранцам просто было не до них. «Для одних государств, — отмечал Вл. Абданк-Коссовский, — русские беженцы явились докучливым осложнением, от которого они не знали, как отделаться. Другие смотрели на русских, как на залетевшую беспокойную политическую саранчу. Для третьих они были помехой для заключения выгодных сделок с советской властью. В этой враждебной обстановке не было ни одного «за», но бесконечное количество всевозможных «против»...»

Особое значение приобрел вопрос: как быть с Белой армией, которая составляла костяк русской эмиграции?

Одним из временных центров ее размещения, о чем уже упоминалось, был Галлиполи — дикий берег Дарданелл. Уныние поражения, нищета и вынужденность жить за счет «благодарного населения», казалось, обрекали воинство на неизбежное нравственное падение. Этого не случилось лишь благодаря нечеловеческой энергии, которую проявил командующий 1-й армией Александр Павлович Кутепов. Он опирался на таких верных сподвижников, как генерал-майор Антон Васильевич Туркул со своими «дроздами» (воинами 3-й — Дроздовской дивизии). Кутепов верил, что падение большевиков неизбежно и что необходимо во что бы то ни стало сохранить армию.

В Галлиполи он застал безрадостную картину.

«Люди — грязные, ободранные, голодные — лежали под ледяным норд-остом, на голой земле. Дисциплина пошатнулась, на всех лицах читалось угрюмое безразличие.

Ген. Кутепов обошел полки — все замерло под его твердым взглядом, — вспоминал галлиполиец, поэт и критик Н. В. Станюкович. — Среди когда-то боевых генералов люди безошибочно отделили одного — *начальника*.

Немедленно последовал приказ «построить кровати»; инструмент — шашки, лес — колючий кустарник. Руки были изодраны в кровь, кровати-сороконожки проваливались, сучки впивались в бока, но приказ был выполнен, а с ним возвратилось самоуважение.

Только полная уверенность командира в незыблемости своей власти эту власть обеспечила, и она передалась, по иерархической лестнице, от генерала до ефрейтора.

Со сказочной быстротой вырос образцовый лагерь, роты приступили к учению, кресты поднялись над походными церквами, в землю врыли амфитеатр театра, спортивные площадки огласились восторженными криками зрителей, открылись мастерские, школы, гимназия, военные училища — у нас нет места даже для перечисления всех начинаний, нашедших блестящее выполнение в русском Галлиполи. И все это учреждал, проверял, улучшал страшный для нерадивых и деловито-дружественный к исполнительным — «Кутеп-Паша».

Вся дальнейшая судьба эмиграции в Европе вышла так или иначе из чистилища «галлиполийского сидения»...» [5].

Если литературные «отцы» по своему возрасту и уже сложившемуся положению не принимали прямого участия в Белом движении (исключая разве что писателей-генералов, каким был, к примеру, П. Н. Краснов, автор эпопеи «От двуглавого Орла к красному знамени» и нескольких десятков других романов, повешенный Сталиным в 1947 году), то большинство литературных «детей» вышло, за редким исключением (вроде Набокова-Сирина), из рядов Добровольческой армии. Впрочем, и «старики» так или иначе в ходе гражданской войны определяли свое место: Куприн стал редактировать армейскую газету Юденича «Приневский край» (где частым автором, под псевдонимом Гр.Ад. — Град было имя его любимой лошади, — выступал П. Н. Краснов); Бунин, вместе с академиком Кондаковым, стал соредактором одесской газеты белой, «добровольческой» ориентации «Южное слово»; П. Б. Струве редактировал в Ростове газету «Великая Россия» и т. д. Но «дети», «мальчики» — воевали.

Восемнадцатилетние Владимир Смоленский и Анатолий Величковский, шестнадцатилетний Гайто Газданов, пятнадцатилетний кадет Полтавского корпуса Михаил Каратеев и тысячи их сверстников прошли (или не прошли, пали) через огненную реку гражданской, испили чашу борьбы, поражения и изгнания:

И ангел планал над мертвым ангелом,
Мы уходили за моря с Врангелем...

В. Смоленский.

Воевали и их старшие братья — участник Ледяного похода Роман Гуль, Иван Лукаш, Анатолий Ладинский, Николай Рощин, Леонид Зуров, Иван Савин. Плечом к плечу с ними, с тяжелыми мосинскими винтовками, дрались «мальчики». И роль их, вклад в борьбу был огромен.

Так, Одессу защищали мальчики-кадеты. «Если бы не они, — писал капитан английского королевского флота И. Камерон в книге «Прощай, Россия» (Лондон, 1935), — мы не смогли бы спасти никого. Мальчики отважно дрались с большевиками до конца, зная, что никакой надежды на спасение нет». Их ротой командовал капитан Билетов. 14 мая

[4] W. Chapin-Huntington, «Russia — off Russia». Boston, 1933. Цит. по изданию: «Возрождение», 1958, т. 60, с. 33.

[5] Станюкович Н. В. Двадцатипятилетие гибели ген. Кутепова. — «Возрождение», 1955, т. 38, с. 133—134.

1920 года в Панчеве священник поминал на панихиде имена 86 мальчиков-кадетов, «за отечество свой живот положивших». А через несколько дней одесские кадеты снова ехали в Крым, в армию генерала Врангеля. Бывший кадет Одесского корпуса В. Скалон вспоминал на страницах газеты «Возрождение» (март 1935 года):

«30 июля под деревней Великая Полтавка я был ранен. В комнате вместе со мною лежал кадет Полоцкого корпуса Тарашкевич, раненный двумя пулями в живот. Последние слова мальчика были:

— Мамочка, милая... Россия... Россия...»

Баронесса Боде, дочь русского генерала, молоденькая красивая девушка в мундире прапорщика, погибла в конной атаке в садах Екатеринодара. Рядом с ней в той же конной атаке пал юный князь Туркестанский. Ему едва минуло 16 лет.

...В память о погибших воинах Белого движения в 1921 году в Галлиполи был воздвигнут величественный монумент. Для его постройки каждый галлиполиец должен был принести камень. Первым сделал это генерал Кутепов. Так на галлиполийском кладбище появился памятник, увенчанный греческим крестом (форма «галлиполийского» креста).

«К сожалению, память не сохранила в точности выбитой на нем надписи, — вспоминал галлиполиец Иг. Опишня. — Но если не ошибаюсь, написано было, что воздвигнут он в память умерших на чужой земле, в смуте убиенных Русских воинов, а также в неволе скончавшихся — в том же Галлиполи — запорожцев (триста лет тому назад)» [6].

Белая армия окончательно оказалась «армией без территории».

Позднее памятник в честь умерших воинов Галлиполи был установлен в Сан-Женевьев-де-Буа, на знаменитом русском кладбище под Парижем. На освящении этого памятника корпусной священник отец Ф. Миляновский сказал:

— Вы — поэты, писатели, баяны-гусляры серебристые, вы запечатлевайте в ваших творениях образы почивших и поведайте миру об их подвигах славных...

Немало о Белом движении и его участниках мы найдем у Бунина, Куприна, А. Толстого, Газданова, Лукаша, Краснова, в стихах Смоленского, Туроверова, Ивана Савина...

«Это чудо духа не перестает волновать и восхищать меня! Будет день, когда все мы с гордостью и благодарностью вспомним о галлиполийских днях», — так отозвался А. И. Куприн на освящение памятника Русским воинам в Галлиполи.

2

Исход интеллигенции стал естественным следствием катастрофы Белого движения.

Уходили за кордон те, в ком так нуждалась — немедленно, сейчас же — истерзанная, обескровленная германской и гражданской войнами и разрухой огромная страна.

«Бежали под ружейным и пулеметным огнем, пролезали под колючей проволокой, преодолевали вплавь реки, добирались до берегов Финляндии по льду или на утлых ладьях. Ни сибирская пурга, ни обледенелая тундра, ни тайга, ни безводные пустыни Закаспия и Монголии не могли остановить исхода.

Отделение от России Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Армении, Азербайджана сразу привело на положение эмигрантов огромное число российских граждан, не уроженцев этих новых государственных образований. Последующие войны окраинных государств с большевиками, продвижение их армий по русской территории также увеличили число эмигрантов, пробиравшихся в порядке эвакуации или самовольного перехода государственных границ за пределы Совдепии. Аннексия Бессарабии румынами, территориальные приобретения Польши, оккупация немцами Украины и северо-западной окраины России принесли новые толпы измученных, обездоленных русских людей, которые в большинстве случаев даже не знали, куда они попадут и что их ждет на чужбине» [7].

Уходили экономисты, инженеры, геологи, металлурги, нефтяники, электротехники, почвоведы, агрономы, ботаники, биологи, зоологи, ветеринары, архитекторы, конструкторы, корабелы, строители-путейцы и мостовики, специалисты по пищевой, деревообрабатывающей, бумагоделательной промышленности, статистики, коммерсанты, финансисты, юристы, врачи, медицинские сестры — «сестры милосердия».

Уходили ученые, академики, профессора, приват-доценты, теоретики науки.

Уходили и те, кто давал и мог дать пищу духовную, остановить начавшуюся деградацию, неуклонное падение культуры, — писатели, философы, историки, живописцы, скульпторы, композиторы, музыканты, артисты.

Уходили, понимая неизбежную гибель в беспощадном атеистическом государстве, священники и князья православной Церкви.

Родину покидал цвет нации, чьим умом, духом и талантом, чьими руками был обеспечен невиданный экономический, промышленный и хозяйственный взлет России в конце XIX и в начале XX столетий.

А прогресс этот в начале нового, двадцатого — нашего! — столетия (при наличии феноменально огромных природных богатств и умелого государственного руководства со стороны таких выдающихся деятелей, как, например, министр внутренних дел и председатель совета министров П. А. Столыпин) был очевиден. В этом убеждают сухие цифры статистики.

[6] «Возрождение», 1959, т. 89, с. 146.

[7] Абданк-Коссовский Вл. Русская эмиграция. Итоги за тридцать пять лет. — «Возрождение», 1956, т. 51, с. 127—128.

1894 г.	1914 г.
Население: 122 миллиона	182 миллиона
Крестьянского землевладения: 132 млн. десятин	240 млн. десятин
Урожай хлебов: 2 ½ миллиарда пудов	5 ½ миллиарда пудов
Средняя урожайность с десятины: 38 пудов	58 пудов
Добыча каменного угля: соответственно 470 миллионов и 2 миллиарда пудов. (Увеличение в 5 раз, тогда как в Англии за тот же срок — всего в полтора раза, в Германии — в 3 раза, в США — в 4 раза.)	
Протяженность железных дорог: 32 тыс. верст	67 тыс. верст
В 1902 году было открыто прямое железнодорожное сообщение через всю Россию и Сибирь с Китаем и Дальним Востоком.	
Государственный бюджет: 950 млн. руб.	3.500 млн. руб.
В сберегательных кассах: 400 млн. руб.	1.600 млн. руб.
Вклады в акционные банки: 350 млн. руб.	4 300 млн. руб.
Расходы на народн. образ.: 75 млн. руб.	390 млн. руб.
Золотой запас: 650 млн. руб.	1.600 млн. руб.

КОЛИЧЕСТВО СКОТА (в млн. голов)

	1895	1914	Увеличение
Лошади	25,6	35,0	37%
Рогатый скот	31,6	52,0	63,5%

НЕФТЬ (в миллионах пудов)

	1891—1895	1911—1914	Увеличение
Средняя добыча:	338	560	85%

В 1918 году было добыто нефти 802 миллиона пудов.

САХАР (в среднем за годы)

1891—1894	1911—1914	Увеличение
Площадь посева свекловицы		
289 тыс. десятин	721 тыс.	150%
Выработка сахара		
30,5 млн. пуд.	104,5 млн. пуд.	245%

ХЛОПОК

1894	1914	Увеличение
Площадь посева:		
150 тыс. десятин	675 тыс.	350%
Сбор волокна		
3,2 млн. пудов	15,6 млн.	388%

Добыча золота с 1891—1895 гг. по 1911—1914 гг. увеличилась на 43%.

Выплавка меди (в пудах) — на 375%.

Выплавка чугуна (в пудах) — на 250%.

Железа и стали — на 224%.

Добыча марганца — на 364%.

ТОРГОВЫЙ ФЛОТ (в тоннах):

в 1894-м — 492 тыс.;
в 1914-м — 783 тыс.
(увеличение на 49%).

«Из вышеприведенных цифр, — заключает статистик-историк, — с несомненностью выясняется, что экономическое благосостояние России и национальный годовой доход, так же, как и накопленный капитал страны, не только возросли абсолютно, но и в своем росте опередили прирост населения: в то время, как оно увеличилось на 40%, все главные отрасли народного хозяйства, все виды капитала страны возросли в большей пропорции; некоторые — во много раз больше».

Вспоминая об этой поре, Б. К. Зайцев писал: «Материально Россия неслась все вперед, но моральной устойчивости никакой, дух смятения и уныния овладевал...

Тяжело вспоминать. Дорого мы заплатили, но уж значит достаточно набрались грехов. Революция — всегда расплата. Прежнюю Россию упрекать нечего: лучше на себя оборотиться. Какие мы были граждане, какие сыны России, Родины?» [8].

Россия, благополучная, сытая, шла к неотвратимой гибели. Ее, эту катастрофу, предчувствовали «избранные»: Блок и Бунин, Розанов и Мережковский.

Однако действительность превзошла самые радикальные предсказания. Ни в каких страшных снах и кошмарах не могли привидеться апокалиптические ужасы гражданской войны.

3

Очень скоро после Октябрьского переворота выяснилось, что существуют только две силы, могущие реально противостоять друг другу. От исхода их поединка зависела судьба России. Этими силами, конечно, были, с одной стороны, большевики во главе с В. И. Лениным и Л. Д. Троцким, а с другой — Белое движение, которое стало формироваться сразу после захвата власти большевиками: к декабрю 1917 года генерал-адъютант М. В. Алексеев создал общероссийские вооруженные силы под названием «Алексеевской организации», которая 7 января 1918 года была переименована в Добровольческую армию. К Белому движению так или иначе примыкали все промежуточные фигуры — и эсер-боевик Борис Савинков, и бежавший на Дон лидер кадетов П. Н. Милюков, и ставший управляющим внешними сношениями в Южно-Русском правительстве бывший легальный марксист П. Б. Струве.

Многие из беженцев не разделяли взглядов русских военных вождей — А. В. Колчака, А. И. Деникина, П. Н. Врангеля, Н. Н. Юденича, Е. К. Миллера (тоже, впрочем, не имевших единомыслия относительно будущего России). Среди ученых или писателей последовательных монархистов было, конечно, не в пример меньше, чем в Добровольческой армии. Однако и в Белом движении участвовали тысячи офицеров, юнкеров, солдат, казаков, которые боролись не *за* монархию, а *против* большевизма. Показателен пример участника знаменитого 1-го Кубанского — «Ледяного похода» Романа Гуля, который после гибели генерала Корнилова и победы монархических настроений покинул Добровольческую армию. Его отвратила не столько монархическая идея, сколько «белый террор».

Но необходимо с очевидностью признать, что «белый террор» по своим масштабам не шел в сравнение с часто бессмысленным, почти зоологическим террором красных, который начался сразу же, с декабря 1917 года, еще до активизации Белого движения.

Огромным и инфернальным для всей несчастной России событием явился расстрел большевиками по приказу Я. М. Свердлова 17 июля 1918 года Царской Семьи.

1 ноября 1981 года русская Православная Церковь за границей возвестила миру о причислении к лику святых Новомучеников Российских, и в их числе Царской Семьи. «Это событие, — отмечает протопресвитер Александр Киселев, — так велико, так небывало, что с большим трудом вмещается в наше сознание. Если избранные из избранных — апостолы Христовы — не могли сразу постичь и вместить весть о Воскресении Сына Божия, то можно ли удивляться тому, что мы, хилые современные христиане, не можем вместить, осознать шествия Новомучеников Российских ко святому дню всероссийского восстания от сна греховного, нашего всенародного полного обновления» [9].

Здесь Голгофа России и здесь ее покаяние.

«Красному террору» посвящена целая литература (сошлюсь хотя бы на выдержавшую четыре издания работу С. П. Мельгунова «Красный террор» в России», ныне переизданную и у нас в стране). Я же приведу лишь свидетельство И. С. Шмелева, пережившего ужасы этого террора в Крыму в 1920—22-х годах. Писатель-демократ, восторженно встретивший Февральскую революцию, он после пережитых потрясений пришел к идеям православия и монархии. Когда в 1923 году в Лозанне русским офицером Конради был убит торговый представитель Советского Союза в Италии литератор В. В. Воровский, Шмелев обратился с письмом к защитнику Конради Оберу. В письме он по пунктам перечислил совершенные красными преступления против человечности, которым сам стал свидетелем, начиная с расстрела его единственного сына:

«1. — Мой сын, артиллерийский офицер 25 лет, Сергей Шмелев — участник Великой войны, затем — офицер Добровольческой армии Деникина в Туркестане. После, больной туберкулезом, служил в армии Врангеля в Крыму, в городе Алуште, при управлении коменданта, не принимая участия в боях. При отступлении добровольцем остался в Крыму. Был арестован большевиками и увезен в Феодосию «для некоторых формальностей», как на мои просьбы и протесты ответили чекисты. Там его держали в подвале на каменном полу, с массой таких же офицеров, священников, чиновников. Морили голодом. Продержав с месяц, больного, погнали ночью за город и расстреляли. Я тогда этого не знал (...)

2. — Во всех городах Крыма были расстреляны б е з с у д а все служившие в милиции Крыма и все бывшие полицейские чины прежних правительств, тысячи простых солдат, служивших из-за куска хлеба и не разбиравшихся в политике.

3. — Все солдаты Врангеля, взятые по мобилизации и оставшиеся в Крыму, были брошены в подвалы. Я видел в городе Алуште, как большевики гнали их зимой за горы, раздев до подштанников, босых и голодных. Народ, глядя на это, плакал. Они кутались в мешки, а рваные одеяла, что подавали добрые люди. Многих из них убили, прочих послали в шахты[10].

4. — Всех, кто прибыл в Крым после октября 17 года без разрешения властей, арестовывали. Многих расстреляли. Убили московского фабриканта Прохорова и его сына 17 лет, лично мне известных, — за то, что они приехали в Крым из Москвы, — бежали.

5. — В Ялте расстреляли в декабре 1920 года престарелую княгиню Барятинскую. Слабая, она не могла идти — ее толкали прикладами. Убили неизвестно за что, без суда, как и всех.

6. — В г(ороде) Алуште арестовали молодого писателя Бориса Шишкина и его брата Дмитрия, лично мне известных. Первый служил писарем при команде города. Их обвинили в разбое, без всякого основания, и, несмотря на ручательство рабочих города, которые их знали, расстреляли в г. Ялте без суда. Это происходило в ноябре 1921 года.

7. — Расстреляли в декабре 1920 года в Симферополе семерых морских офицеров, не уехавших в Европу и потом явившихся на регистрацию. Их арестовали в Алуште.

8. — Всех бывших офицеров, как принимавших участие, так и не участвовавших в гражданской войне, явившихся на регистрацию по требованию властей, арестовали и расстреляли, среди них — инвалидов Великой войны и глубоких стариков.

9. — Двенадцать офицеров русской армии, вернувшихся на барках из Болгарии в январе—феврале 1922 года и открыто заявивших, что приехали добро-

---

[8] З а й ц е в Б о р и с. В пути, Париж, 1951, с. 24.

[9] Протопресвитер А л е к с а н д р К и с е л е в. Пути России, Нью-Йорк, 1990, с. 132.

[10] Лютовавшие в Крыму в 1941—1943 гг. гитлеровцы выглядят здесь — как оккупанты-иноземцы — предпочтительнее (О. М.).

вольно с тоски по родным в России и что они желают остаться в России, — расстреляли в Ялте в январе—феврале 1922 года.

10. — По словам доктора, заключенного с моим сыном в Феодосии в подвале Чеки и потом выпущенного, служившего у большевиков и бежавшего от них за границу, за время терроров за 2—3 месяца, конец 1920 года и начало 1921 года, в городах Крыма: Севастополе, Евпатории, Ялте, Феодосии, Алупке, Алуште, Судаке, Старом Крыму и проч. местах — было убито без суда и следствия до ста двадцати тысяч человек — мужчин и женщин, от стариков до детей. Сведения эти собраны были по материалам бывших союзов врачей Крыма. По его словам, официальные данные указывают цифру в 58 тысяч. Но нужно считать в два раза больше. По Феодосии официальные данные дают 7—8 тысяч расстрелянных, по данным врачей — свыше 13 тысяч.

11. — Террор проводили по Крыму — председатель Крымского военно-революционного комитета — венгерский коммунист *Бела Кун*. В Феодосии — начальник Особого отдела 3-й Стрелковой дивизии 4-й армии тов. Зотов и его помощник тов. Островский, известный на юге своей необычайной жестокостью. Он же расстрелял и моего сына.

Свидетельствую, что в редкой русской семье в Крыму не было одного или нескольких расстрелянных. Было много расстреляно татар. Одного учителя-татарина, б(ывшего) офицера, забили насмерть шомполами и отдали его тело татарам.

(...) Свидетельствую: я видел и испытал все ужасы, выжив в Крыму с ноября 1920 года по февраль 1922 года. Если бы случайное чудо и властная Международная комиссия могла бы получить право произвести следствие на местах, она собрала бы такой материал, который с избытком поглотил бы все преступления и все ужасы избиений, когда-либо бывших на земле»[11].

Ты кровь их соберешь по капле, мама,
И, зарыдав у Богоматери в ногах,
Расскажешь, как зияла эта яма,
Сынами вырытая в проклятых песках,

Как пулемет на камне ждал угрюмо,
И тот, в бушлате, звонко крикнул:
«Что, начнем?»
Как голый мальчик, чтоб уже не думать,
Над ямой стал и горло проколол гвоздем.

Как вырвал пьяный конвоир лопату
Из рук сестры в косынке и сказал:
«Ложись»,
Как сын твой старший гладил руки брату,
Как стыла под ногами глинистая слизь.

И плыл рассвет ноябрьский над туманом,
И тополь чуть желтел в невидимом луче,
И старый прапорщик во френче рваном,
С чернильной звездочкой на сломанном
плече,

Вдруг начал петь — и эти бредовые
Мольбы бросал свинцовой брызжущей
струе:
Всех убиенных помяни, Россия,
Егда приидеши во царствие Твое...

Эти стихи Иван Савин посвятил двум братьям — Михаилу и Павлу, расстрелянным в Крыму, во время проведения большевиками геноцида. Но символический смысл их, конечно, гораздо шире: Россия взошла на Голгофу.

---

[11] Кутырина Ю. А. Трагедия Шмелева. — «Возрождение». т. 59. 1956. с. 133—135.

